ОТ АВТОРА

В задачу настоящей работы входит выяснение тех общих исторических условий, которые вызвали появление литературы древней Руси. Книга предполагает у читателя знакомство с основным материалом древнейшей истории русской литературы, с ее основными произведениями и исторической обстановкой.

В книге сделана попытка проследить, откуда и как возникли древнейшие литературные явления, вскрыть движущие исторические силы, приведшие к возникновению русской литературы. Сделать это нелегко, но это необходимо, если мы хотим уяснить себе многие стороны самобытности русской литературы, корни ее народности и ее последующего величия.

Под русской литературой X—XIII вв. мы подразумеваем ту литературу древней Руси, которая впоследствии породила три литературы трех братских народов — русскую литературу, литературу украинскую и белорусскую литературу. Мы сохраняем слово «русский» для периода, когда все эти три литературы находились еще в первоначальном единстве и когда слово это было единственно принятым в жизни и в письменности для обозначения восточнославянской народности.

Развитие и углубление И. В. Сталиным марксистского учения о базисе и надстройке в его основополагающей работе «Марксизм и вопросы языкознания» впервые позволило поставить вопрос об исторических предпосылках возникновения русской литературы в раннефеодальном обществе Руси.

Настоящая книга — это только один из первых шагов по этому пути. Шаг этот, может быть, не совсем точный и очень незначительный, но автор твердо надеется, что тем, кто впоследствии вновь более глубоко займется этой темой — темой возникновения русской литературы в недрах раннефеодального общества Руси, — он принесет некоторую пользу. Само собой разумеется, что книга столь небольшого объема не может претендовать на исчерпывающее решение всех вопросов возникно-

вения русской литературы. В ней делается попытка раскрыть только наиболее важные стороны того процесса возникновения русской литературы, который занимает не одно столетие и исключительно труден для изучения.

*

Отдельные выводы данной работы основываются на предшествующих, более полных исследованиях автора и отчасти уже освещались им в печати. Это в первую очередь касается тех глав, где говорится о летописи, о «Слове о полку Игореве», о русской ораторской речи как основе русского литературного языка и о начале письменности. Обобщение отдельных наблюдений в единую концепцию происхождения русской литературы представлялось автору существенно необходимым.

ВВЕДЕНИЕ

Богатую и сложную литературу древней Руси мы знаем далеко не полно. Такие произведения, как «Слово о полку Игореве», «Поучение» Владимира Мономаха, «Слово о погибели Русской земли» и некоторые другие случайно дошли до нас в единственных списках. Только недавно стал известен второй список «Слова о погибели Русской земли»,[1] а в 1812 г. сгорел и единственный список «Слова о полку Игореве». По случайным упоминаниям мы знаем также, что существовало, например, Житие Антония Печерского, до нас не дошедшее, что существовали не дошедшие до нас летописи: «Летописец великий русский» (он упоминался в сгоревшей Троицкой летописи),[2] «Владимирский полихрон» (он упоминается в так называемом «Тверском сборнике»), различные хронографы и т. д.

Книги гибли во время нашествий половцев, во время страшного разгрома русских городов ордами Батыя,[3] во время набегов золотоордынских ханов и «крымчаков».

Характерные события разыгрались во время нашествия на Москву хана Тохтамыша в 1382 г. Жители Москвы, «загородья» (пригородов) и окрестных сел снесли книги в московские каменные церкви, где думали уберечь их от пожаров и разграбления. Книг было так много, что они были навалены до самых сводов. Но татары разбили церковные двери, разграбили и уничтожили все, что в церквах было; книги же «все без вести сътвориша».

Много книг погибло в начале XVII в. в результате польско-шведской интервенции. В 1869 г. в Академию Наук были при-

---

[1] В. И. Малышев. Житие Александра Невского по рукописи середины XVII в. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, т. V, М.—Л., 1947.

[2] Летопись эта ныне восстановлена М. Д. Приселковым по различным источникам: М. Д. Приселков. Троицкая летопись. М.—Л., 1950.

[3] Гибель книг при захвате г. Владимира Залесского ордами Батыя особо отмечена в летописи (Лаврентьевская летопись под 1237 г.).

сланы из Финляндии 166 полуобгорелых и оборванных листов. Как оказалось, они принадлежали 48 книгам, унесенным шведами из 12 разграбленных ими церквей, лишившихся при этом всего около 200 книг.

Неудивительно, что уже в конце XIV в. некоторые русские произведения XI—XIII вв. сохранились только в библиотеках Царьграда и здесь переписывались русскими переписчиками для того, чтобы быть возвращенными на Русь: случай, который, может быть, ярче всего характеризует последствия татаро-монгольского нашествия для русской литературы.

Истребляли книги и постоянные пожары. В 1124 г. пожар истребил почти весь Киев: «бысть пожар велик Кыеве городе, яко погоревшю ему мало не всему по два дни по Подолью и по Горе, яко церквий единех изгоре близь 6 сот».[1] В 1134 г. пожар истребил Торговую сторону Новгорода.[2] В 1185 г. во Владимире Залесском в пожаре сгорел «мало не весь город и церквий 32», в том числе собор Успения. Драгоценные вещи и книги были вынесены из собора на двор, но «огонь взя все без утеча».[3]

Было бы слишком долго перечислять все те пожары, отмеченные летописью, в которых гибли книги.

Пожары уничтожали книжные собрания не только в XI—XVII вв., но и в новое время. Особенно памятен в этом отношении 1737 год, когда сгорел старый кремлевский дворец с остатками библиотеки московских царей, и 1812 год, когда в большом московском пожаре погибли собрания А. И. Мусина-Пушкина, графа Бутурлина, Баузе, Демидова, Московского общества любителей словесности и др. В 1777 г. пожар в Киеве истребил библиотеку.[4]

Гибли книги не только от бесчисленных войн и пожаров, но и от собственного небрежения хранителей рукописных собраний — особенно в XVIII и XIX вв. Характерен случай с митрополитом Евгением Болховитиновым, который однажды, направляясь в Юрьев монастырь под Новгородом, встретил по дороге воз с монастырскими книгами, предназначенными к уничтожению. Евгений вернул воз в монастырь, немедленно присту-

[1] Лаврентьевская летопись под 1124 г.
[2] Новгородская I летопись под 1134 г.
[3] Лаврентьевская летопись под 1185 г.
[4] Подробные данные о числе сохранившихся книг, о причинах их гибели см. в интересном исследовании Н. В. Волкова: Статистические сведения о сохранившихся древнерусских книгах XI—XIV вв. и их указатель. Памятники древней письменности, вып. CXXIII, СПб., 1897.

пил к разбору книг и нашел там ценнейшие рукописи — в числе их рукописи XI века.[1]

Наконец больше, чем от врагов, пожаров и невежества нерадивых к русской старине хранителей рукописей, страдали памятники древней русской литературы вследствие специального подбора монастырских библиотек и менявшихся литературных вкусов, сказывавшихся и в работе переписчиков, перерабатывавших старые произведения в официальном, церковном духе, или вовсе не удостаивавших переписки произведения, которые они уже не понимали.

Так, например, не дошла до нас светская повесть «О мужестве» Александра Невского, а дошла лишь позднейшая переделка этой повести в церковное житие.[2] Не дошли произведения Кирилла Туровского, наиболее тесно связанные с политической жизнью второй половины XII в. Дошли же по преимуществу те из его произведений, которые отличались наиболее отвлеченным, «общецерковным» характером. Кирилл Туровский написал обличение на так называемого Феодорца, находился в переписке с Андреем Боголюбским, но из всех его сочинений мы знаем только двенадцать его молитв, покаянный канон и несколько торжественных слов на церковные праздники.

Неудивительно, что мы представляем себе древнюю русскую литературу в гораздо большей степени церковной, чем она была на самом деле. Наши представления о древней русской литературе, особенно ее начального периода, искажены усилиями многих поколений хранителей церковных и монастырских библиотек, усилиями переписчиков, переделывавших на свой лад старые произведения, общими условиями бытования древнерусских произведений.

Вот почему так трудно построить подлинную и с т о р и ю древней русской литературы, — историю, которая не была бы простым перечислением, пересказом и описанием сохранившегося до нашего времени состава древнерусских памятников литературы, а восстановила бы подлинную картину ее развития.

*

Для того чтобы представить хотя бы отчасти основные ведущие линии в развитии литературы, существенную помощь могут нам оказать смежные с литературой области культуры.

---

[1] А. С. А р х а н г е л ь с к и й. Введение в историю русской литературы, т. I. Пгр., 1916, стр. 177.

[2] См. исследование Н. Серебрянского: Древнерусские княжеские жития. Чтения в Общ. истор. и древн. росс., 1915, кн. 3, стр. 151—222.

Выводы исследований по истории живописи, истории архитектуры, истории науки или права имеют существенное значение в восстановлении истории литературы.

И. В. Сталин в работе «Анархизм или социализм?» пишет: «Единая и неделимая природа, выраженная в двух различных формах — в материальной и идеальной; единая и неделимая общественная жизнь, выраженная в двух различных формах — в материальной и идеальной, — вот как мы должны смотреть на развитие природы и общественной жизни».[1]

Общественная жизнь неделима; неделима несмотря на все ее классовые противоречия. И литература, и искусство, и наука, и общественная мысль на каждом конкретном этапе своего развития не изолированы друг от друга. В основе каждого из этих явлений культуры лежит базис, экономический строй общества. Совершенно ясно, что одни и те же явления, одни и те же идеи могут проявляться и в живописи, и в литературе, и в науке, и в архитектуре, и т. д.

Однако не следует думать, что между всеми явлениями культуры существует единство в смысле гармонии и отсутствия противоречий, классовой борьбы. Единство культуры не имеет ничего общего с пресловутой «теорией единого потока», имевшей хождение среди некоторой части литературоведов. «Теория единого потока» стирала классовые противоречия литературного развития, в корне не соответствовала учению В. И. Ленина и И. В. Сталина о двух культурах.

Единство культуры — это ее взаимосвязанность при наличии всех ее противоречий; это единство, вызываемое ее обусловленностью базисом, общественным строем, одновременно включающее и противоречия.

Вместе с тем, те или иные идеи, явления развития могут иногда выражаться отчетливее в одной области культуры и менее отчетливо в другой. Развитие едино, но неравномерно.

В культуре постоянно борются прогрессивное с реакционным, новое и старое, молодое и растущее с отживающим и старым. В истории культуры постоянно борется новое содержание со старым, новое содержание со старой формой. И. В. Сталин пишет: «... **существующая форма** никогда полностью не соответствует **существующему содержанию:** первая отстает от второго, новое содержание в известной мере всегда облечено в старую форму, вследствие чего между старой формой и новым содержанием всегда существует конфликт».[2]

---

[1] И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 312—313.
[2] И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 328—329.

Отсюда ясно, что единство общественной жизни следует понимать не узко и метафизически, а широко и диалектически. Это единство есть единство движения и развития. Оно предусматривает наличие противоречий, борьбы.

Идеалистическая, буржуазная наука замечала единство отдельных явлений культуры, но давала объяснение этому единству, ставя отношения материальной и духовной сторон жизни с ног на голову. Буржуазная наука считала, что если явление барокко можно проследить и в архитектуре, и в поэзии, то это потому, что и тут и там проявился «дух барокко». Единство немецкой литературы и искусства буржуазные ученые пытались объяснить «немецким духом» или «немецким чувством формы».

Теоретик немецкого формализма Генрих Вёльфлин отмечает национальное «немецкое формовидение», объясняет особенности итальянского и немецкого Ренессанса из «национального духа» и того и другого.[1]

Марксистско-ленинская научная методология исходит из противоположного положения: материальная природа предшествует развитию сознания: «. . . развитию идеальной стороны, развитию сознания, **предшествует** развитие материальной стороны, развитие внешних условий: сначала изменяются внешние условия, сначала изменяется материальная сторона, а **затем** соответственно изменяется сознание, идеальная сторона».[2]

В дальнейшем мы будем рассматривать историко-литературные явления в значительной степени как часть истории культуры. Это поможет нам восстановить недостающие звенья, поможет уловить элементы развития. Соседние области культуры послужат для проверки восполняемых частей историко-литературного развития, хотя развитие отдельных областей культуры совершается далеко неравномерно. Отдельные области культуры — живопись, зодчество, прикладные искусства, общественная мысль, литература и т. д. — могут отставать или ускоренно развиваться.

Литература развивается не в изоляции от остальных явлений культуры. Одна и та же материальная сторона, один и тот же базис порождает одинаковые явления и в литературе, и в живописи, и в зодчестве. Вместе с тем все стороны духовной жизни взаимосвязаны, влияют друг на друга и оказывают обратное воздействие на базис.

---

[1] Г. Вёльфлин. Искусство Италии и Германии эпохи Ренессанса. М.—Л., 1934; он же. Основные понятия истории искусства. М.—Л., 1930, и др.

[2] И. В. Сталин, Соч., т. 1, стр. 314.

Отсюда ясно, что рассмотрение историко-литературного процесса как замкнуто совершающегося невозможно в научно построенной истории литературы. Следует решительно отвергнуть всякие попытки изолировать историко-литературные явления, оградить их самодовлеющими, самозамкнутыми «законами» историко-литературного развития, «законами жанра».

Конечно, особенности литературного творчества не должны быть растворены в общем историко-культурном процессе, но и не должны приобретать самодовлеющего значения, при котором в литературе перестают осознаваться ее надстроечные черты.

И. В. Сталин учит нас глубокому рассмотрению особенностей каждого общественного явления. И. В. Сталин отмечает, что у общественных явлений наряду с общими чертами «имеются свои специфические особенности, которые отличают их друг от друга и которые более всего важны для науки».[1]

Мы должны полностью учитывать специфические особенности литературы как общественного явления. Мы должны учитывать, что в литературе существуют свои собственные законы развития, но эти особые законы развития литературы не изолируют литературу от других видов культуры, а связывают ее с ними. Своеобразие движения литературы состоит не в том, что литература резко отграничена и изолирована от других общественных явлений, а в том особом положении, которое занимает литература среди этих общественных явлений. Художественная литература теснейшим образом связана с философскими, общественно-политическими, правовыми, религиозными и другими воззрениями общества; своеобразие этих связей, а также своеобразие социально-исторической обусловленности развития литературы — вот что определяет специфику литературы. В этом глубокое отличие марксистского понимания специфики литературы и ее собственных законов развития от понимания литературной специфики буржуазными литературоведами-формалистами, стремившимися изолировать историко-литературный процесс, представить его саморазвивающимся, замкнутым в себе. Не будучи изолирована от других общественных явлений, литература тем не менее своеобразно отражает эти связи и своеобразно воздействует на соседние общественные явления, на человеческое общество в силу особой своей природы как художественного, словесного творчества.

Вместе с тем, не следует забывать, что история литературы есть наука прежде всего историческая, что исторический подход

[1] И. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 35.

к литературе — первое условие марксистской науки о литературе. И. В. Сталин учит нас: «Если нет в мире изолированных явлений, если все явления связаны между собой и обусловливают друг друга, то ясно, что каждый общественный строй и каждое общественное движение в истории надо расценивать не с точки зрения «вечной справедливости» или другой какой-либо предвзятой идеи, как это делают нередко историки, а с точки зрения тех условий, которые породили этот строй и это общественное движение и с которыми они связаны».[1] И далее: «Все зависит от условий, места и времени. Понятно, что без такого *исторического* подхода к общественным явлениям невозможно существование и развитие науки об истории, ибо только такой подход избавляет историческую науку от превращения ее в хаос случайностей и в груду нелепейших ошибок».[2] Важность исторического подхода к общественным явлениям для марксизма глубоко показана В. И. Лениным. «Весь дух марксизма, вся его система требует, чтобы каждое положение рассматривать лишь (α) исторически; (β) лишь в связи с другими; (γ) лишь в связи с конкретным опытом истории».[3] Отсюда ясно, что исторический подход к литературе и рассмотрение литературы в ее взаимообусловленности с другими явлениями общественной жизни, с базисом — взаимосвязаны. Учение об историзме развил и углубил И. В. Сталин в своем основополагающем труде «Марксизм и вопросы языкознания». И. В. Сталин разоблачил начетчиков и талмудистов, рассматривавших марксизм и отдельные выводы марксизма как догматы, которые «никогда» не изменяются.

История литературы есть часть истории культуры (без всякого растворения в ней ее специфики), а история культуры есть часть исторической науки в целом, и это обстоятельство опять-таки облегчает нам изучение литературного развития, помогает восполнить недостающие звенья.

Советскую историческую науку глубоко занимают проблемы истории культуры, политические, правовые, религиозные, художественные, философские взгляды общества, без которых немыслимо сейчас подлинное научное понимание исторического процесса в его целом, ибо надстройка, как учит И. В. Сталин, является величайшей активной силой, она «активно содействует своему базису оформиться и укрепиться, принимает все меры

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс. 1946, стр. 104.
[2] Там же, стр. 105.
[3] В. И. Ленин. Соч., т. 35, стр. 200.

к тому, чтобы помочь новому строю доконать и ликвидировать старый базис и старые классы».[1]

Вот почему и для советских историков памятники литературы и письменности в целом имеют особое значение и не являются сейчас уже только источниками сведений о прошлом, но сами составляют частицу истории, а история письменности и история литературы входят в историческую науку как части в целое.

Вместе с тем, историк литературы обязан в своих работах опираться на последние достижения исторической науки и ясно осознавать, что история русской литературы есть часть истории русского народа. Требование историзма — совершенно необходимое требование, которое предъявляет советская теоретическая мысль к построению подлинно научной истории русской литературы.

Особое значение для исторической науки в целом и для истории литературы, в частности, имеют сейчас проблемы возникновения русской письменности и русской литературы, теснейшим образом связанные с задачей изучения истоков самостоятельности русской культуры.

Буржуазные филологи и литературоведы в своих исследованиях, посвященных древнейшему периоду развития русской письменности и литературы, придерживались, в сущности, чисто описательного подхода, занимались внешним перечислением фактов, собирали фактический материал, иногда очень ценный, но не были в состоянии объяснить установленные ими факты исторически. Старая буржуазная наука не рассматривала исторические предпосылки возникновения русской письменности и русской литературы, не исследовала исторической роли народного творчества в развитии русской литературы, не изучала исторического значения так называемого «византийского влияния», и т. д. История русской литературы феодального периода была фактически поставлена буржуазными литературоведами вне истории русского народа.

В настоящее время именно вследствие успехов советской исторической науки советские литературоведы в состоянии всесторонне изучать русскую литературу феодального периода. Исторический смысл и исторические предпосылки многих крупных историко-литературных и, шире, историко-культурных явлений раскрываются в советской науке в корне иначе, чем они были поняты в старой буржуазной науке.

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 7.

Нет нужды особо останавливаться на том обстоятельстве, что исторические предпосылки возникновения русской литературы в X—XI вв. не только не изучались, но вопрос о них и не ставился как задача для изучения.

Общие курсы истории древней русской литературы, касаясь ее начального периода, в сущности, передавали только поверхностно систематизированные факты. По большей части эти курсы открывались разделами, посвященными «переводной литературе», куда включались переводные памятники как русского, так и болгарского происхождения, — памятники, возникшие в X, XI, XII и XIII вв. Создавалось впечатление, а из впечатления вырастало мнение, что русская оригинальная литература возникла как естественное продолжение литературы переводной. Эта антинаучная «концепция» возникновения русской литературы из подражания литературе византийской, — концепция наивная и неглубокая, — решительно противоречит методологическим основам современного советского литературоведения и элементарным требованиям советской исторической науки.

В дальнейшем проблема возникновения русской литературы будет нами рассмотрена как проблема историко-культурная и историческая в самом широком смысле этого слова.

Русская литература возникла не сразу. Специфика литературы как художественного творчества определялась постепенно, в течение ряда столетий. Русская литература возникла отнюдь не в результате переноса к нам произведений византийской и болгарской литератур, — отнюдь не по причинам механическим и случайным, — не как результат появления на Руси христианской образованности и не как простое продолжение переводной литературы. Она родилась из внутренних потребностей классового, феодального общества древней Руси. Появление ее было подготовлено развитием русского языка, развитием устного творчества, оно нашло себе «техническую» базу в создании русской письменности и было облегчено культурным общением с другими странами, в первую очередь с Византией и Болгарией. Как мы увидим ниже, культурное общение с другими странами лишь дополнило и расширило этот процесс развития, играя в нем не основную, а лишь второстепенную роль.

НЕСКОЛЬКО ЗАМЕЧАНИЙ О ВОЗНИКНОВЕНИИ РУССКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ

Долгое время вопрос о начале русской письменности в старой филологической науке не отделялся от вопроса о начале славянской письменности в целом. В XIX, а отчасти и в XX в., господствовало убеждение, что русская письменность появилась с христианством, что до «крещения Руси» не было якобы письменности и книг, что они были перенесены на Русь только якобы в связи с потребностями христианского культа. Первыми памятниками письменности на Руси были, по этим представлениям, древнеболгарские книги, писанные на древнеболгарском (иначе: старо-славянском, древне-церковно-славянском) языке. Эти древнеболгарские книги переписывались на Руси болгарскими и русскими писцами и, таким образом, якобы положили начало письменности на русской почве.

Такое представление о начале русской письменности не было случайностью. Оно вытекало из тех общих представлений о происхождении русской культуры и культуры всех славянских народов, которые были распространены у буржуазных ученых. Так, например, известный французский буржуазный византолог Шарль Диль писал о всех славянских народах центральной, южной и восточной Европы: «Всем этим варварским народам Византия несла не только религию: она распространяла одновременно идею государственности, формы управления, новое право, регулирующее общественные отношения, просвещение вплоть до создания алфавита-кириллицы, ставшего основой их письменности».[1]

Исследования советских ученых в самых различных областях установили местные корни русской культуры. В этом отношении следует упомянуть работы советских историков (в пер-

---

[1] Ш. Диль. Основные проблемы византийской истории. М., 1947, стр. 30—31.

вую очередь акад. Б. Д. Грекова),[1] установивших происхождение русской государственности из внутренних потребностей русского общества, затем работы советских языковедов (в первую очередь акад. С. П. Обнорского),[2] установивших корни русского литературного языка в устном русском языке, а не в древнеболгарском, наконец работы советских искусствоведов и литературоведов, выясняющих все новые и новые факты местного, русского происхождения ряда явлений древнерусского искусства и древнерусской литературы.

Значительные материалы накоплены в советской науке и для пересмотра вопроса о начале русской письменности. Вопрос о начале русской письменности имеет много общего с вопросом о начале русской государственности. Еще не так давно дворянские и буржуазные историки могли всерьез говорить о начале русской государственности от трех братьев-варягов. Такие политически вредные, враждебные русскому народу «теории» отражали до известной степени донаучные исторические представления, когда всякому новому историческому явлению искали объяснения на стороне — в толчке извне, и когда игнорировалось внутреннее развитие общества, игнорировалось развитие в нем потребностей, определивших собою возникновение этого нового явления, и когда происхождение даже такого крупного факта, как государство, могло приписываться случаю: «сговору», «приглашению», личной инициативе и т. д.

В вопросе о появлении русской письменности также не так давно оставлялись без внимания внутренние потребности русского общества в письменности, исторический рост русского общества и внутренняя обусловленность появления письменности как одного из фактов исторического развития. Однако, если утверждение норманистов о внезапном появлении Русского государства на острие мечей скандинавских братьев целиком опирается на легенду, то в вопросе о происхождении русской письменности введение христианства на Руси и связанный с ним приток болгарских книг — отнюдь не легенды. В развитии русской письменности официальное принятие христианства сыграло крупную роль, но эта роль, как уже сейчас совершенно ясно, была ролью подсобной, а не основной. Потребности в письменности на Руси заметно выросли задолго до официального введения христианства как государственной религии, и само введение христианства в конечном счете ответило отчасти тем же потреб-

[1] Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1946.

[2] С. П. Обнорский. Очерки по истории русского литературного языка старшего периода. М.—Л., 1946.

ностям русского общества, которые вызвали на Руси и появление письменности.

В изучении начала русской письменности мы должны главное внимание уделить не тому, каким был первый алфавит (глаголическим или кирилловским), кто первый «ввел» письменность на Руси, — как бы сами по себе ни были интересны эти вопросы, а должны прежде всего обратить наше внимание на выяснение внутренних потребностей русского общества в письменности в связи с особенностями его социально-экономического развития.

Рассмотрение состава, содержания, характера древнейших памятников русской письменности уже сейчас, на современном этапе развития нашей науки, позволяет до известной степени ответить на вопросы: для чего служила древнейшая письменность и какими потребностями общества она была вызвана к жизни.

Попытаемся определить: о чем говорят древнейшие из дошедших до нас свидетельств о русской письменности.

Прежде всего рассмотрим свидетельства русских договоров с греками, читающихся в «Повести временных лет». Договоры с греками, хотя и дошли до нас в поздних списках, сами по себе являются свидетельствами русской письменности, так как перевод этих договоров с греческого языка был современен самим договорам. Акад. С. П. Обнорский пишет: «... появление текстов договоров в переводе с греческого языка не могло быть ни относительно поздним, ни одновременным, а, следовательно, оно приблизительно должно было совпадать со временем фактического заключения соответствующих дипломатических актов».[1] К этому выводу С. П. Обнорский пришел в результате кропотливого изучения языка договоров.

Итак, прежде всего следует отметить, что письменность уже в первой половине X в. употреблялась при заключении договоров с греками. Она употреблялась для записи того русского текста перевода, который должен был храниться у русских.

Кроме того, свидетельства о русской письменности имеются в самих текстах договоров. Уже давно было обращено внимание на то место договора Олега с греками 911 г., где имеется прямое свидетельство о наличии у русских письменных завещаний: «Аще кто умреть, не у р я д и в ь своего именья, ци своих не имать, да възвратить имение к малым ближикам в Русь. Аще ли сотворить обряжение таковый, возметь уряженое его, кому будеть

[1] С. П. О б н о р с к и й. Язык договоров русских с греками. Сб. «Язык и мышление», вып. V—VII. М.—Л., 1936, стр. 403.

писал наследити именье его, да наследит è».[1] Из этого текста ясно, что крупные купцы, ведшие торговлю с Византией, послы русских и русские, служившие в византийском войске, составляли письменные завещания. Этот обычай казался настолько естественным и распространенным, что отсутствие письменного завещания у умершего в Византии русского особо рассматривалось в договоре Руси с Византией.

Кроме того, как известно, еще в договоре Игоря с греками 944 г. имеется статья, свидетельствующая о наличии письменных документов в обычных, мирных сношениях Руси с другими странами: «Ношаху сли печати злати, а гостье сребрени; ныне же уведел есть князь вашь посылати грамоты ко царству нашему; иже посылаеми бывають от них посли и гостье, да приносять грамоту, пишюче сице: яко послах корабль селико, и от тех да увемы и мы, оже с миромь приходять. Аще ли без грамоты придуть, и преданы будуть нам, да держим и храним, донде же възвестим князю вашему».[2]

Из этой статьи договора 944 г. видно, что русские обязывались снабжать письменными документами корабли, отправляющиеся в Византию, в отмену старого порядка, при котором русские послы и купцы обязаны были предъявлять в Царьграде золотые и серебряные печати. Нам неважно в данном случае — на каком языке должны были быть написаны эти грамоты: на греческом или на русском. Нам важно отметить лишь все возрастающую потребность в письменности во внешних сношениях Руси. Каждое новое свидетельство о письменности на Руси говорит и о новом употреблении ее; применение письменности на Руси было очень разнообразно, отвечая назревшим разнородным потребностям русского общества в письменности.

Широко известно свидетельство о восточнославянской письменности арабского писателя Ибн-Фадлана, посла Ак-Муктадира к царю славян. В своей книге, появившейся вскоре после его путешествия по Волге в 920—921 гг., Ибн-Фадлан рассказывает о том, что над могилой знатного русса, погребение которого он наблюдал на Волге, «соорудили нечто вроде круглого холма, воткнули в середину его большой кусок белого тополя, написали на нем имя того мужчины (умершего, — *Д. Л.*) и имя царя руссов и удалились».[3] Перед нами свидетельство применения письменности в области, выходящей за пределы утилитарных целей.

---

[1] Повесть временных лет, ч. I. Серия «Литературные памятники». Изд. АН СССР, М—Л., 1950, стр. 28, под 912 г.

[2] Там же, стр. 35.

[3] Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу. Под ред. акад. И. Ю. Крачковского, М.—Л., 1939, стр. 83.

Напомним также о свидетельстве арабского географа Масуди, умершего в 956 г., который в сочинении «Золотые луга» утверждает, что в одном из «русских храмов» он видел пророчество, написанное на камне. К сожалению, остается неясным, был ли этот русский храм христианским или языческим. Если он был языческим, то это указывало бы на применение письменности в древнерусском языческом культе. Это последнее подтверждает, как будто бы, немецкий хронист Титмар Мерзебургский. Он пишет, что видел в славянском языческом храме несколько идолов, на которых были знаками начертаны их имена.

Как известно, приводит образец русской письменности и арабский писатель Ибн-эль-Недим. Однако в свидетельстве этого писателя не ясно для нас основное: для чего была употреблена приводимая им надпись. Ибн-эль-Недим пишет в своем сочинении «Каталог книг», что в 987 г. он видел русскую надпись при следующих обстоятельствах: «Мне рассказывал один, на правдивость которого я полагаюсь, что один из царей горы Кабк послал его к царю русов, он утверждал, что они имеют письмена, вырезываемые на дереве. Он же показал мне кусок белого дерева, на котором были изображения; не знаю, были ли они слова, или отдельные буквы, подобно этому».[1] Далее Ибн-эль-Недим воспроизводит и самую надпись, прочесть которую до сих пор, впрочем, хотя бы более или менее убедительно, не удалось.

Кроме этих свидетельств — русских и иностранных — о существовании русской письменности следует напомнить о многочисленных надписях, обнаруженных археологами. Прежде всего в этом ряду следует привести надпись первой четверти X в., обнаруженную Д. А. Авдусиным в одном из Гнездовских курганов под Смоленском на обломках большого глиняного сосуда. Эту надпись М. Н. Тихомиров читает как «гороухща»,[2] а П. Я. Черных как «гороушна»,[3] но с одним и тем же значением «горчица». Повидимому, в сосуде, прежде чем он был употреблен в обряде тризны по умершем на его могиле, перевозилась купцами горчица в торговых целях (сосуд слишком велик, чтобы служить для личного употребления горчицы — даже и в большом хозяйстве). Надпись на сосуде могла быть

---

[1] С. Гедеонов. Варяги и Русь, т. II. 1876, прим. 191.

[2] Д. А. Авдусин и М. Н. Тихомиров. Древнейшая русская надпись. Вестник Академии Наук СССР, 1950, № 4.

[3] П. Я. Черных. Две заметки по истории русского языка. Известия Акад. Наук СССР, Отделение литературы и языка, 1950, № 5.

сделана для того, чтобы перевозившие его люди не спутали его с другими — с иным содержимым.

В XI в. надписи встречаются на шиферных пряслицах, обозначая владельца, на кирпичах и некоторых других изделиях ремесла, служа своего рода ремесленными марками или знаками собственности.

Наконец, нельзя не упомянуть о замечательных открытиях А. В. Арциховского в Новгороде летом 1951 г.[1] и летом 1952 г. А. В. Арциховскому удалось найти при раскопках в Неревском конце Новгорода большое число грамот, написанных на бересте. Самые поздние грамоты, найденные А. В. Арциховским, относятся к XVI в., самые ранние — к XI в. В грамотах этих встречаются и перечни феодальных повинностей, и частные письма, и записи должников, составленные ростовщиком (так, повидимому, следует понимать содержание грамоты № 2). Наибольший интерес представляют частные письма делового содержания, некоторые из которых относятся к XI в. Эти письма несомненно составлены, судя по их содержанию, в демократической среде, свидетельствуя о сравнительно широком распространении грамотности. До сих пор представлению о широком распространении грамотности мешала относительная дороговизна пергамена. Нас не должно смущать то обстоятельство, что древнейшие из открытых А. В. Арциховским грамот относятся к XI в. Совершенно ясно, что широкое распространение грамотность в XI в. в демократической среде (о чем свидетельствуют и берестяные грамоты и графитти, открытые на стенах соборов в Новгороде и Киеве) получила не сразу, а в результате длительного процесса.

О чем же говорят все эти факты? Прежде всего о том, что письменность нашла широкое применение помимо церковной богослужебной литературы еще прежде, чем отдельные рукописи начали к нам в изобилии проникать через Болгарию после введения христианства и это сказалось и на последующей судьбе письменности на Руси в XI—XII вв.

Вместе с тем, X век застает русскую письменность уже с довольно широким кругом употребления. Потребности в письменности обнаруживаются, как видно из предыдущего, в государственной жизни — в договорах и сношениях с иноземными государствами (договоры, сопроводительные грамоты), в крупной торговле (надписи на сосудах с содержимым), в новых имущественных отношениях (письменные завещания, надписи,

[1] А. В. Арциховский. Новые открытия в Новгороде. Вопросы истории, 1951, № 12.

удостоверяющие собственность), в развитом ремесле (подписи имени мастера, заменившие прежние родовые знаки собственности), в почитании знатных умерших (надпись на могиле русса), повидимому, в развитом языческом культе (пророчество, написанное в храме).

Каждый из дошедших памятников письменности, каждое упоминание о письменности на Руси в X в. говорит о своеобразном, новом ее употреблении.

Многообразное применение письменности свидетельствует, что к X веку письменность прошла уже сравнительно долгий путь развития. По крайней мере не менее века, а всего вероятнее и значительно больше должно было пройти, чтобы письменность могла получить столь разнообразное применение. По величине площади «рассеивания» мы до известной степени можем судить об отдаленности исходной точки этого рассеивания.

Вместе с тем, большинство отмеченных нами случаев применения письменности свидетельствует о том, что письменность появилась уже в развитом классовом обществе. Потребности государства, потребности торговли, потребности развитого ремесла, потребности развитых представлений о собственности — вот, что вызвало и поддержало на Руси появление письменности. Письменность на Руси появилась и должна была неизбежно появиться на известном уровне общественного развития.

Напомним, что И. В. Сталин говорит о появлении письменности после появления классов, но до зарождения государства, и особо отмечает нужду в письменности государства и развитой торговли. И. В. Сталин пишет: «Дальнейшее развитие производства, появление классов, появление письменности, зарождение государства, нуждавшегося для управления в более или менее упорядоченной переписке, развитие торговли, ещё более нуждавшейся в упорядоченной переписке, появление печатного станка, развитие литературы — всё это внесло большие изменения в развитие языка».[1]

Весьма возможно, что единого начала письменности на Руси и не существовало, что различные алфавиты употреблялись в различных местах восточнославянской территории.

Письменность, как мы можем предполагать, возникла еще до образования относительно единого древнерусского государства. В пору отсутствия политического единства и самое происхождение письменности на Руси могло быть отнюдь не единым Восточнославянские племена развивались далеко не равномерно.

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат. М., 1950, стр. 27.

Более развитые племена могли уже обладать начатками письменности, в то время как менее развитые ими еще не обладали. Вполне могло быть и так, что письменность самостоятельно возникала в двух-трех восточнославянских центрах: допустим, в Киеве, в Новгороде и на северных берегах Черного моря.

Древним алфавитом могла быть глаголица, но это не значит, что рядом с глаголицей у русского населения Северного Причерноморья, тесно соприкасавшегося с греческими колониями, не могли употребляться буквы греческого алфавита для письма на русском языке. В связи с этим предположением приобретает особенное значение свидетельство черноризца Храбра о том, что славяне еще до Кирилла и Мефодия по нужде пользовались латинскими и греческими буквами, но «без устроения».[1] Может быть те книги, которые видел Константин Философ во время своего путешествия в Хазарию (около 860 г.) у некоего русского в Корсуне, были именно такими книгами, в которых без особого «устроения» были применены буквы греческого алфавита, хотя сложная тематика этих книг (по свидетельству жития Константина это были евангелие и псалтырь) говорит как будто бы за то, что письмо было в достаточной мере упорядоченное. Возможно, впрочем, что и буквы этих книг не были греческими по происхождению, иначе автор жития Константина не назвал бы их «русьскыми письмены».[2]

Археологи неоднократно находили на территории восточных славян предметы с непонятными знаками, напоминавшими буквы неизвестного алфавита.[3] Многоалфавитность древнейшей стадии письменности у восточных славян не подлежит сомнению.

Внутренние потребности классового общества в условиях слабости политических и экономических связей у восточносла-

---

[1] П. Шафарик. Славянские древности. Часть историческая, т. II, кн. III, СПб., 1848, стр. 109—110.

[2] О «письменах» в житии Константина см. в работе: П. Я. Черных. К истории вопроса о «русских письменах» в житии Константина Философа. «Ученые записки» Ярославского педагогического института, вып. IX (XIX). История СССР, 1947.

[3] В. А. Городцов. Заметки о глиняном сосуде с загадочными знаками. Археолог. заметки, 1897, № 12; 1898, № 11—12; А. В. Арциховский. Введение в археологию. М., 1941, стр. 112; Д. Я. Самоквасов. Раскопки северных курганов в Чернигове во время XIV археологического съезда. М., 1916, стр. 11; М. И. Артамонов. Средневековые поселения на Нижнем Дону. Л., 1935, стр. 90 и сл.; Н. Е. Макаренко. Археологические исследования 1907—1909 гг. Известия Археологической комиссии, М., 1911, вып. 43, стр. 23, и др. Свод данных см. в статье Е. М. Эпштейна: К вопросу о времени происхождения русской письменности. Ученые записки Ленинградского Гос. университета, серия исторических наук, вып. 15. Л., 1948.

вянских племен могли привести к образованию или заимствованию различных алфавитов на различных территориях. Знаменательно, во всяком случае, хотя бы то, что единый, воспринятый из Болгарии алфавит — кириллица — устанавливается только в относительно едином раннефеодальном государстве, между тем как древнейшие времена дают нам свидетельство о наличии обоих алфавитов — и кириллицы, и глаголицы. Чем старше памятники русской письменности, тем вероятнее наличие в них обоих алфавитов. Исторически нет оснований думать, что эта древнейшая двуалфавитность — явление вторичное, сменившее первоначальную одноалфавитность. Потребность в письменности при отсутствии достаточных государственных связей могла породить в различных частях восточнославянского общества различные попытки ответить этой потребности.[1]

Наконец, перед историком, занимающимся исследованием возникновения письменности, встает еще один вопрос: не было ли между бесписьменным и письменным периодами в развитии восточнославянской культуры каких-то промежуточных ступеней? Мы разумеем обычно под восточнославянской письменностью ее вполне развитую ступень, — письмо, в котором каждый звук имеет свой знак и до известной степени упорядочена орфография. Такая письменность способна ответить очень сложным культурным потребностям, до появления которых могли быть потребности куда более скромные. Письменные завещательные распоряжения, о которых упоминает договор 944 г., предполагают наличие развитой индивидуальной собственности, но общинная собственность не нуждалась в завещательных распоряжениях: род «бессмертен».

Частная, индивидуальная собственность, сменившая собою собственность общинную, была связана со сложными формами перехода от одного владельца к другому, требовавшими своего закрепления в письменных актах. Общинная же собственность не знала многих форм перехода от одних владельцев к другим. Она вряд ли продавалась и не могла быть завещана. Поэтому в условиях общинной собственности не было еще ни духовных, ни купчих, ни многих других документов, закреплявших собственность за новым владельцем. Общинная собственность могла быть взята только насильно, вооруженной рукой. Однако родовая собственность, как и индивидуальная собственность, нуждалась в охране, в удостоверении этой собственности. И вот встает

[1] Большой интерес для решения вопроса о происхождении славянской письменности представляет книга болгарского ученого Емила Георгиева «Славянская письменность до Кирилла и Мефодия» (издание Болгарской Академии наук, София, 1952).

важный вопрос: не являются ли те знаки собственности, о которых мы знаем и по археологическим данным вплоть до татаро-монгольского нашествия [1] и по упоминаниям в Русской Правде [2] остатками того переходного периода от отсутствия письменности к письменности, который соответствовал определенной ступени развития общества, когда появившаяся уже потребность в письменности была еще очень не развита.

Из всего вышеизложенного совершенно ясно, что при историческом подходе к проблеме возникновения письменности, вопросы о том — кто, где и когда «изобрел» письменность, была ли она первоначально глаголической или кирилловской, должны быть по существу, поставлены совершенно иначе.

Письменность явилась не результатом индивидуального изобретательства и не результатом «переноса», а следствием потребностей в ней, появившихся в классовом обществе, хотя сама письменность и не носила классового характера. Этим потребностям могли ответить и индивидуальные изобретения собственных алфавитов и алфавиты соседей, обладавших уже развитой письменностью. Вместе с тем, когда мы говорим о происхождении русской письменности и ставим вопрос о тех внутренних причинах, которые вызывали потребности в собственной письменности, для нас становится второстепенным вопрос о том, кто первый ввел на Руси письменность. Совершенно ясно, что кто бы ни был этот «первый», он легко мог оказаться и вторым и третьим. Менее важным представится нам тогда и вопрос о том, была ли первым письменным произведением на Руси церковная книга или надпись на камне, глине, шифере. Самым важным вопросом останется для нас навсегда вопрос о тех внутренних потребностях русского общества в письменности, которые и явились истинными «просветителями» Руси.

Нет никаких сомнений в том, что наиболее совершенный алфавит, которым Русь начала пользоваться с X в. — кириллица — был изобретен в Болгарии и оттуда перенесен на Русь. Однако это обстоятельство отнюдь не должно заставлять нас ограничиваться только этим фактом переноса для решения вопроса о происхождении русской письменности. Вопрос о происхождении письменности гораздо шире, чем вопрос о происхождении того или иного алфавита.

Наука никогда не утратит интереса к тому — к какому времени относится древнейшее русское письменное произведение, но

---

[1] Б. А. Рыбаков. Знаки собственности в княжеском хозяйстве Киевской Руси. Советская археология, 1940, № 6 и др.

[2] Правда Русская, т. I. Под ред. акад. Б. Д. Грекова, М.—Л., 1940, Пространная Правда, статьи 70, 71, 73.

это древнейшее произведение письменности (будь то надпись или книга) будет для исторической науки важно по преимуществу как показатель древнейших же потребностей общества в письменности.

Подобно тому как невозможно с точностью установить — когда именно возникло Русское государство, в каком году, в какое десятилетие, поскольку формы государства возникали и развивались постепенно, так, очевидно, никогда не удастся установить — когда именно возникла русская письменность, кто именно и в каком году «изобрел» или «принес» ее на Русь. И здесь и там существовали переходные формы, существовали мало совершенные алфавиты, постоянно обнаруживаемые археологами (см. выше примечание на стр. 21).

Таким образом, к вопросу о начале русской письменности следует подойти исторически как к необходимому этапу во внутреннем развитии восточных славян.

Нет оснований преуменьшать значение христианской церкви на Руси в развитии письменности. Однако церковь и церковная письменность имеют отношение не к первому, а ко второму этапу в развитии русской письменности: не к ее началу, а к ее развитию.

Официальное принятие христианства Русью имело очень большое значение в развитии и распространении письменности. Христианская, церковная письменность способствовала упорядочению орфографии, приемов письма, установила письменный язык, без чего письменность не могла получить достаточно глубокого развития и т. д. Забегая несколько вперед, отметим уже сейчас, что внутреннее развитие восточных славян привело не только к появлению письменности, но и к появлению у них литературы. Литература явилась у нас независимо от принятия христианства, под влиянием внутренних в ней потребностей. Церковь на первых этапах существования на Руси способствовала ее развитию. Способствовала развитию русской литературы и литература переводная — церковная и светская. Но все, что способствовало развитию русской литературы со стороны, не определяло еще тех причин ее возникновения, которые действовали изнутри и которые, по существу, были, конечно, самыми важными.

ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РОСТЕ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА X—XI вв.

Возникновение литературы неизбежно должно было быть отделено от возникновения письменности значительным промежутком времени и причины возникновения литературы здесь были более сложными и многообразными, а самый процесс возникновения более длительным.

В доклассовом родовом обществе восточных славян потребности в словесном художественном творчестве издавна удовлетворялись устной поэзией. Мы не ошибемся, если предположим, что уже в это время существовали заговоры и заклинания, календарные обрядовые песни, свадебные песни, похоронные плачи, песни на тризнах, на пирах. Несомненно, что существовали также легенды, мифы, предания и, весьма вероятно, сказки. Отражение фольклорных мотивов в произведениях ремесла в ряде случаев убедительно показано Б. А. Рыбаковым.[1] В записях былин нового времени отчетливо определяется ряд мотивов и сюжетов, пережиточно восходящих еще к доклассовому обществу. Таковы сюжеты былин об Илье и Сокольнике, о Святогоре и, особенно, былины о Вольге, в которой представлен древний образ князя-кудесника, типичного для того времени, когда князь выполнял одновременно и функции жреца.

Нет оснований сомневаться в том, что устное творчество доклассового общества было богатым и развитым. Почему же в таком случае рядом с богатым устным творчеством начинает развиваться письменное художественное творчество — литература? На каком этапе развития общества это произошло, какую часть общества восточных славян перестало удовлетворять устное народное творчество, каким потребностям ответила худо-

---

[1] Б. А. Рыбаков. Прикладное искусство и скульптура. История культуры древней Руси, т. II, М.—Л., 1951.

жественная письменность? На все эти вопросы нетрудно ответить, если мы присмотримся к ярко выраженному классовому характеру первых произведений русской литературы.

Фольклор родового общества обслуживал весь народ; в доклассовом обществе он не мог быть классовым. Этот фольклор был по существу единым. С переходом к классовому обществу единство фольклора было нарушено. Наиболее архаичные формы фольклора, связанные с культом, как то: заговоры, заклинания, обрядовые песни, мифы, легенды, — еще долго могли продолжать обслуживать весь народ в целом, поскольку языческая религия так или иначе охватывала все нарождающиеся классы общества. Однако наиболее передовые формы устного творчества — исторический эпос, трудовые песни и мн. др. — уже не могли в одинаковой мере обслуживать и эксплоататоров, и эксплоатируемых, политическое мировоззрение которых было различным.

Развитие частной собственности на землю привело к разложению территориальной общины — верви. Постепенно, с середины первого тысячелетия образуются классы,[1] постепенно слагается класс землевладельцев, группирующийся вокруг князя. Эти землевладельцы подчиняют себе крестьян. Создаются отношения крепостничества, начало которых, как известно, В. И. Ленин относит еще к IX в. Ленин указывал: «. . . крепостничество *может* удержать и *веками* держит миллионы крестьян в забитости (напр., в России с IX по XIX в. . .)».[2] Класс землевладельцев-эксплоататоров и класс земледельцев-эксплоатируемых были двумя основными классами, борьба между которыми занимает весь период феодализма.

С развитием классового общества классовые противоречия приводят к тому, что в каждом классе слагаются свои особенности устного творчества. Эти особенности определяются в первую очередь различиями в идеологии. Устное творчество развивается по преимуществу в трудовом народе. Оно становится выразителем идей и настроений трудового народа.

Одна из основных черт устного творчества — его коллективность — не могла поддерживаться в господствующем классе, ибо коллективность творчества так или иначе вела к его народности. Решительную роль в коллективном устном творчестве играло большинство. Большинство вносило свои вкусы, вносило свою

---

[1] Акад. Б. Д. Греков считает, что появление классов произошло «приблизительно в середине первого тысячелетия нашей эры» [Акад. Б. Д. Греков. За осуществление задач, поставленных И. В. Сталиным в его работе «Марксизм и вопросы языкознания». Известия Акад. Наук СССР, серия истории и философии, т. VIII, № 4 (1951), стр. 318].

[2] В. И. Ленин, Соч., т. 20, стр. 348.

идеологию в произведение устного творчества, свободно переходившее из уст в уста. Большинство же принадлежало эксплоатируемому классу. Господствующий класс всегда составлял незначительное меньшинство и не мог полностью контролировать устное творчество. Произведение устного творчества, даже если бы оно было создано в среде феодалов, легко могло оказаться переработанным, дополненным или урезанным, как только оно пускалось в «вольное плавание» устного исполнительства. Устное произведение не было ничьей собственностью. Оно было доступно всем, оно принадлежало всем безвозмездно: бедным и богатым, имевшим власть и подчинявшимся власти, феодалам и смердам. Оно принадлежало большинству, которое было над ним более властно, чем меньшинство. Оно принадлежало, следовательно, народу. Таким образом, фактически, именно смерды, крестьяне, владели устным творчеством, поскольку именно они составляли подавляющее большинство общества.

Феодалы стремились установить свой идейный контроль хотя бы над частью устных произведений, подчинить часть устных произведений своей классовой идеологии. В течение столетий будут еще создаваться произведения устного творчества, отражающие идеологию феодалов. Но это устное творчество феодалов будет неизменно хиреть, пока не прекратится вовсе. Дело в том, что феодалы выступали главным образом как заказчики и как слушатели. Исполнителями оказывались очень часто представители трудового народа или выходцы из трудового народа, постепенно профессионализировавшиеся, отрывавшиеся от народа, все более втягивавшиеся в материальную зависимость от господствующего класса, подпадавшие под его идейное влияние. Княжеские скоморохи и княжеские певцы, княжеские «бахари» (сказочники) жили при дворе князя. Свой небольшой круг музыкантов, певцов, сказочников имели, возможно, и крупные бояре. Эти музыканты, певцы, скоморохи, сказочники, живя при дворе крупного феодала, все больше смешивались с окружавшей его толпой «милостников», становились частью его дворовой челяди, отрывались от народа.

Само собой разумеется, что вслед за тем, как дворовые исполнители крупного феодала оторвались от народа, — медленно стало отходить от своих народных истоков и их искусство. Придворные исполнители еще долго будут заимствовать у народа материал его живительного искусства, но только материал. Идейное содержание их творчества будет определяться требованиями заказчиков-феодалов. Княжеские скоморохи, княжеские певцы и сказочники вынуждены опираться на то народное творчество, которое главным образом было представлено народом, скомо-

рохами, сказочниками и певцами — выразителями народной идеологии. Устное творчество в среде феодалов утратит, следовательно, с течением веков идейную высоту, утратит и идейное единство. Песнь в честь князя или боярина сможет жить только при дворе данного князя или боярина, либо их родственников и друзей. Круг слушателей станет все у́же, темы сузятся до ограниченных местных интересов, широкие гуманистические темы народного искусства здесь заглохнут, сузится и число исполнителей, и число творцов. Их творчество сможет получать признание только у самого заказчика и ограниченного круга его приспешников.

Разъединение устного творчества в среде феодального класса станет особенно острым в период феодальной раздробленности, в период феодальных войн князей друг с другом. Отсутствие широкого признания, узкий круг слушателей, узость тем, ограниченных местными феодальными событиями, разъединение исполнителей и заказчиков — все это не могло не отразиться самым пагубным образом на устном творчестве в среде феодального класса.

В трудовом народе картина устного творчества окажется иной. Классовая борьба народа со своими угнетателями вооружит его устное творчество новыми освободительными передовыми идеями. Эти темы приобретут широкое звучание и сольются с темами патриотическими — темами защиты Родины от внешних врагов.

Формы народного творчества не перестанут развиваться вслед за развитием его содержания. Единство интересов трудового народа станет основой и единства устного народного творчества, не разъединенного межами феодальных «полугосударств»-княжеств. Здесь, в эксплоатируемой среде, устное творчество станет не только народным, но и общенародным, создав произведения непреходящей ценности.

Отмирание устного творчества в среде феодального класса было процессом очень длительным. Он определился, повидимому, очень рано, но не завершился полностью и к XVII в. Еще до того как этот процесс привел к сколько-либо осязательным результатам, в среде феодалов появился конкурент этому устному творчеству — художественное творчество письменное — литература.

Мы видели уже выше, что в значительной степени письменность отвечала на первых этапах своего развития потребностям господствующего класса, хотя сама ни в коей мере не носила классового характера. Она обслуживала потребности государства (грамоты, договоры), потребности крупной торговли (надписи

на корчагах), потребности богатых владельцев (письменное завещание, надписи, удостоверяющие собственность) и т. д. Несколько позднее письменность будет обслуживать интересы церкви, также связанной с господствующим классом феодалов. Нет поэтому ничего удивительного в том, что здесь же в господствующем классе письменность стала обслуживать потребности господствующего же класса в художественном словесном творчестве.

Сама по себе письменность могла обслуживать различные классы. Однако на первых порах в силу исторических условий ею мог пользоваться и в ней больше всего нуждался господствующий класс феодалов. Письменные памятники легко могли быть контролируемы сверху. Здесь, в среде феодалов, были индексы запрещенных книг, были хранители монастырских библиотек — они же по большей части и уставщики — руководители церковных хоров. Здесь были строгие правила уставных чтений, были заказчики, контролировавшие выполнение заказа. Любой читатель, и особенно переписчик, внося поправки, мог оказаться и своеобразным «цензором» книги. Книга имела высокую стоимость и принадлежала собственнику — тому, кто был в состоянии ее купить или заказать, т. е. в основном принадлежала имущим людям.

Рождение русской литературы произошло во вполне развитом феодальном классовом обществе. Она ответила потребностям феодалов и в надстройке, которая защищала бы и укрепляла феодальный базис. Она родилась в тот (нераннний) период, когда нужда в надстройке стала особенно острой. Почти одновременно с официальным принятием христианства, с появлением пышных храмов и княжеских теремов в Киеве, возвеличивавших власть феодалов, — с развитием всех форм идеологического воздействия на массы появляются литературные произведения.

В конце X—начале XI в. феодалы особенно нуждались в идеологическом оправдании своего господства, нуждались в создании литературных произведений, пронизанных своей идеологией. Если зодчество, живопись и другие искусства уже существовали к этому периоду и только теперь усиленно развивались, то литература до того не существовала — она возникла на основе устного творчества в результате внутренних потребностей в ней классового феодального общества.

Таким образом, появление феодальной литературы есть результат не «заимствования» и «подражания», а результат классовой дифференциации общества на известной высокой ступени его развития, когда устное творчество в свою очередь дифференцируется и начинает постепенно отмирать в верхах феодального

общества и становится исключительно достоянием трудового народа. Феодалы были заинтересованы в создании своих литературных произведений, отражающих их идеологию, пропагандирующих их идеи. В создании этих произведений они используют в своих интересах отдельные достижения народного творчества. Подлинные корни литературы — в устном поэтическом творчестве, связь с которым, как мы увидим, в той или иной форме сохраняется и во все последующее время.

Устной поэзией феодалы пользовались вплоть до XVII в. (а частично и позже), но сами феодалы не являлись подлинными творцами устно-поэтических произведений. Настоящими творцами народной поэзии были трудовые массы. Представители господствующего класса в своих устных произведениях используют богатства народного творчества, но еще в большей мере (как это мы увидим в дальнейшем) используются ими эти богатства народного творчества в произведениях литературы.

Русская литература постоянно обогащалась сюжетами, мотивами, отдельными традиционными формами, разнообразными литературными жанрами, которые брались русскими авторами из литератур соседних стран — непосредственно или через переводы. Но этот источник обогащал русскую литературу по преимуществу готовыми художественными средствами и уже готовыми идейными ценностями. Идеи и художественные средства, переносившиеся к нам из Византии или Болгарии, получали в русской литературе широкое распространение лишь постольку, поскольку они находили себе благоприятную почву в русской действительности. Только потребности русской действительности открывали доступ для различного рода переносов, заимствований и влияний. Но никакой перенос и никакое заимствование сами по себе не являлись живым, творческим, действенным началом. Живое, творческое начало принадлежало русской действительности, именно она обогащала русскую литературу ценностями, создавая их вновь или беря их из соседних стран. Живое, творческое начало принадлежало также и фольклору. Из устного народного творчества шла в литературу широкая струя идей, идейных настроений и художественных вкусов. Благодаря развитию и широкому распространению устно-поэтического творчества всякий русский автор именно на устно-поэтических произведениях народа получал свое первоначальное эстетическое «воспитание», свои первые художественные впечатления. В конечном счете, литературные вкусы русских авторов очень часто «корректировались» фольклором. В переводной литературе или в собственной русской литературе русские авторы отчетливее всего воспринимали то, что соответствовало их воспитанному на

фольклоре вкусу. Противоречившее фольклору очень часто оставалось за бортом их собственного творчества. Конечно, фольклор этот был очень различным в зависимости от того, к какой социальной среде принадлежал автор, но в целом он представлял все же местное начало.

Фольклор не только «породил» литературу, сделал возможным самое ее появление, но он и помогал литературе в ее развитии во все последующее время. Это действенное начало, шедшее от устного народного творчества, было гораздо менее заметным, чем «влияния» литературы переводной, но оно было творческим, всего менее механическим и поэтому трудно уловимо для исследователя. Оно двигало литературу вперед, формируя вкусы, патриотизм, идеи, формируя национальные черты русской литературы, создавая то, что было в литературе древней Руси неповторимым, своеобразным, народным.

М. Горький писал: «Народ не только сила, создающая все материальные ценности, он — единственный и неиссякаемый источник ценностей духовных, первый по времени, красоте и гениальности творчества философ и поэт, создавший все великие поэмы, все трагедии земли и величайшую из них — историю всемирной культуры».[1]

Вот почему нам следует прежде всего обратиться к выяснению тех особенностей устного народного творчества X—XI вв., которые способствовали выделению и формированию литературы. После мы вновь и вновь вернемся к вопросу о предпосылках возникновения русской литературы в развитии устного творчества.

[1] М. Горький. Разрушение личности. Сб. «Литературно-критические статьи», Гослитиздат, 1937, стр. 26.

ОСОБЕННОСТИ УСТНОГО НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА X—XI вв.

Что же представляло собой устное народное творчество X—XI вв., художественные достижения которого во многом способствовали быстрому развитию русской литературы в XI в.? Произведения русской письменности XI в., в первую очередь летопись, позволяют судить о том этапе, на котором возникновение русской литературы застало развитие устного творчества. Мы должны мыслить народное творчество как исторически меняющееся, развивающееся.

Как раз раннефеодальный период в истории нашей родины, когда зародилась и литература Руси, был чреват значительными изменениями в области устного народного творчества.

Об этих изменениях нельзя судить только на основании записей былин XVII—XX вв. Былины изменяются так же, как и все другие виды народного творчества, хотя и заключают в себе некоторые элементы (особенно в содержании), созданные еще в XI в. и в более раннее время. Наиболее достоверный материал дает нам отражение народного творчества в летописи.

Насколько мы можем судить по отражениям произведений народного творчества в летописи XI в., устное творчество русского народа было уже в X—XI вв. вполне подготовлено к тому, чтобы поддержать образование книжной литературы — и, в первую очередь, летописания.

Обилие исторических преданий в первоначальной нашей летописи свидетельствует о том, что устное творчество прошло уже в X—XI вв. стадию перехода от мифологических сюжетов к историческим. Сама по себе летопись возникла на самом гребне волны этого народного интереса к родной истории.

Став в классовом, феодальном обществе выразителем классовой идеологии крестьянства, устное творчество идейно выросло, хотя противоречивость крестьянского мировоззрения сказывалась в нем постоянно. В родовом, доклассовом обществе устное

творчество было в известной мере связано с культом. С переходом к классовому обществу элементы культа, имевшиеся в устном творчестве доклассового общества, начинают постепенно отмирать. Этот процесс отмирания культовых элементов будет очень длительным и не закончится еще в XIX в. Религиозные элементы будут явственно ощущаться в заговорах, в обрядовой поэзии, в сказке, даже в былинах. Однако процесс ослабления в устном творчестве религиозных элементов может быть прослежен уже в киевской летописи XI в. Он начался, повидимому, еще до принятия христианства — тогда, когда определился уже кризис язычества, не смогшего полностью удовлетворить потребностей классового общества.

Культовые обрядовые песни на тризнах в честь умершего частично дают материал для исторических песен по мере того, как отходит в прошлое самый обряд тризны. Обрядовая величальная песнь — слава — становится песенной славой. Отмирание язычества, теснейшим образом связанного с дофеодальным, родовым строем, приводит к началу постепенного освобождения обрядовых песен от элементов религии. Обрядовые песни начинают наполняться новым идейным содержанием и постепенно перестают быть, по существу, обрядовыми. Освобождаются от элементов язычества плачи по умершему. Такие утратившие связь с культом плачи частично сохранила летопись. Начинают терять связь с культом и хороводы, превращающиеся в игру, в развлечение на «игрищах утолоченных».

Введение нового культа — христианства — не сделало устное творчество народа целиком христианским. Христианство и само по себе было чуждо реалистическому народному творчеству; оно резко отрицательно относилось к народному творчеству, видя в нем в первую очередь те самые элементы язычества, от которых народное творчество начало уже постепенно отходить и само.

Эпоха феодализма идет под знаком господства христианской религии в мировоззрении всех классов общества — в том числе и крестьянства. Однако в своей практической и художественной деятельности крестьянство редко руководствовалось христианскими основоположениями. Вышивки, резьба по дереву, по кости, росписи, деревянное зодчество и устное творчество в очень малой степени воплотили в себе христианские элементы. Только в произведениях, связанных с творчеством господствующего класса, влияние христианских идей было особенно сильным (христианские легенды, духовные стихи и т. п.).

Конечно, народное творчество в период феодализма никогда не было полностью свободно от религии — языческой или хри-

стианской, — но, оценивая это народное творчество по тому прогрессивному, что оно заключало, мы должны отметить, что в основном оно тяготело к отходу от религии. Это отнюдь не означает, что сам народ не признавал никакой религии. Сказать так значило бы допустить грубейшую историческую ошибку, модернизировать исторически ограниченное в период феодализма сознание народа. Следует помнить указание Энгельса, высказанное им по поводу религиозных войн XVI в., что «классовая борьба (средневековья, — *Д. Л.*) носила тогда религиозный отпечаток», что «интересы, потребности и требования отдельных классов скрывались под религиозной оболочкой. . .».[1]

Эта религиозная оболочка, повидимому, меньше всего сказывалась в устном народном творчестве XI—XII вв., когда христианство не успело еще оказать подавляющего влияния на трудовой народ, а язычество, как цельная система верований, уже начало отходить в прошлое. Религиозная оболочка больше всего станет сказываться в фольклоре XIV—XVI вв. В рассматриваемый же период религиозные элементы присутствуют только во второстепенных жанрах (заговоры, легенды и некоторые другие). Там же встретим и элементы старого язычества и элементы нового христианства. Христианство отразится в тех видах устного творчества, которые окажутся связанными с господствующим классом. В церковных кругах XI в. создается монастырская легенда, которая в XII в. окажется подхваченной в письменности и даст такие произведения, как Киево-печерский патерик.

Ведущий вид устного творчества в XI—XII вв. — исторический эпос. Исторический эпос сплачивал народные силы для выполнения широких внешнеполитических задач, развивал народное патриотическое самосознание. Элементы этого, повидимому, обширного и высоко развитого эпоса дошли до нас в древнейшей русской летописи и в позднейших записях XVII—XX вв. Формы этого исторического эпоса были очень разнообразны.

«Повесть временных лет» дает нам некоторое представление о разнообразии видов устного исторического творчества, которым пользовались первые летописцы для воссоздания начала русской истории.[2] Здесь и какие-то смутные предания о проис-

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. VIII, стр. 128.

[2] Наиболее полная попытка выяснить состав народных преданий в «Повести временных лет» принадлежит Н. И. Костомарову: Предания начальной летописи, Вестник Европы, 1873, I—III; Об историческом значении русской народной поэзии. Харьков, 1843. Перепечатка — в «Собрании сочинений» Н. И. Костомарова, т. XIII, СПб., 1881.

хождении славян, предания об их расселении, топонимические легенды, легенды о происхождении названий славянских племен, легенды, а может быть и песни о родоначальниках княжеских династий тех или иных племен, о начале городов, историческая, а может быть и культовая устная поэзия, связанная с могильниками, исторические рассказы анекдотического характера, дружинные песни и предания и христианские легенды, только-только еще начинавшие зарождаться в узком кругу новообращенных христиан господствующего класса населения. Наконец особое, почетное место занимает былевой эпос; некоторое представление о нем дают позднейшие записи былин так называемого киевского цикла. Ему мы посвятим ниже особый раздел (см. ниже, стр. 47—75).

Легенды о происхождении тех или иных названий стоят еще на грани устного художественного творчества. Они не принадлежат художественному творчеству народа, являясь, по существу, самою предварительною формою исторического обобщения. Моравы прозвались так потому, что «седоша на реце имянем Марава»,[1] древляне прозвались так «зане седоша в лесех»; полочане прозвались от речки «имянем Полота» и т. д. Летописец утверждает, что разойдясь со своей Дунайской родины, славянские племена прозвались от тех мест, на которых поселились: «... и прозвашася имены своими, где седше на котором месте». Конечно, перед нами не домысел летописца, а историческое обобщение, возникшее в устах народа. В нем замечательно наличие представлений об исторической изменяемости, о неизначальности племенного деления славянства.

Из исторических преданий извлекает летописец, повидимому, исторические сведения о расселении славян, о движении восточно-славянских племен. Эти предания об отдаленном прошлом славянства не были, очевидно, облечены в какую-либо устойчивую форму. К XI в., когда работал летописец, эти предания о расселении славян дошли до него в виде каких-то неопределенных слухов; иначе летописец сумел бы извлечь из них больше исторического материала, чем он извлек. Таковы предания о том, что предки славян — это первоначальные жители Иллирии — норики, что первоначально славяне жили по Дунаю, что движение славян вызывалось внешними ударами со стороны других народов, и т. д.

Более поздние исторические предания имеют уже определенный сюжет. Возможно, что они рассказывались как сказки или пелись как исторические песни. Мы сохраняем за ними название

[1] Здесь и ниже цитирую по Лаврентьевской летописи; вводная часть.

«преданий» условно, так как ничего не можем сказать о той форме, в которой они были услышаны летописцем.

Из устных исторических преданий заимствовал летописец свой рассказ об основании Киева братьями Кием, Щеком, Хоривом и сестрою их Лыбедью. Повидимому, первоначально это предание имело культовое значение и сохранялось в Киеве в связи с почитанием киевлянами своих пращуров. Раскопки последнего времени ясно доказали, что на указанных в этом предании трех киевских урочищах — Владимировой горе у Боричева взвоза, на Щековице и на Хоривице — находились древнейшие киевские поселения. Возможно, что первоначально Кий, Щек и Хорив не считались братьями — каждый из них почитался самостоятельно в каждом из трех указанных поселений. Братство их явилось в легенде как бы закреплением союза и постепенным объединением этих трех поселений. Такое закрепление союза племен легендой о братстве их родоначальников может быть отмечено для ряда случаев: Радим и Вятко, Рюрик, Синеус и Трувор, возможно Рогволод и Тур. Культовая легенда служила, таким образом, конкретным политическим целям.

Ко времени, когда предание о Кие, Щеке и Хориве было использовано летописцем, оно утратило уже свое культовое значение и привлекало внимание народа главным образом своим историческим содержанием. Летописец прямо говорит, что легенда эта вызывала споры по поводу сообщаемых ею исторических сведений: «Ини же, не сведуще, рекоша, яко Кий есть перевозник был, у Киева бо бяше перевоз тогда с оноя стороны Днепра, темь глаголаху: на перевоз на Киев. Аще бо бы перевозник Кий, то не бы ходил Царюгороду; но се Кий княжаше в роде своемь. Приходившю ему ко царю, якоже сказають, яко велику честь приял от царя, при которомь приходив цари».

Из этих слов — «рекоша», «сказають» — мы можем заключить, что предание это скорее всего рассказывалось, что это не была историческая песня, а из споров по поводу этого предания мы можем заключить, что оно имело несколько версий. Еще вероятнее, что с Кием, Щеком и Хоривом было связано несколько рассказов. Одни из них говорили об основании ими Киева. Другое предание рассказывало о каком-то походе на Царьград — вероятнее всего военном, ибо им доказывалось к н я ж е с к о е происхождение предводителя этого похода — Кия. Третье предание говорило об основании Кием города Киевца на Дунае. Два последних предания явно не носили культового характера, это были предания более позднего типа — исторического, а не культового.

Итак «пращур» становился историческим героем. Историческое предание освобождалось от элементов культа. Оно притягивало внимание главным образом своей исторической основой, становилось одновременно и преданием патриотическим: культовое предание о пращуре-перевозчике сменялось историческим и патриотическим преданием о походе на Царьград русского князя, получившего там от царьградского царя «велику честь».

Того же типа, что и предание о Кие, Щеке и Хориве, — предание о Радиме и Вятке и предание о Рюрике, Синеусе и Труворе, с тою только разницей, что последнее предание было осложнено домыслами летописца ввиду того, что речь здесь шла о родоначальнике династии современных летописцу русских князей.

Предание о Радиме и Вятке отразилось в летописи лишь в самом кратком виде: были два брата у ляхов — Радим и Вятко. Радим пришел на реку Сожь со своим «родом», от него прозвались радимичи, а Вятко сел с родом своим по Оке, от него прозвались вятичи. Это также сказание о пращурах племенных династий радимичей и вятичей.

Легендарное предание о Рюрике, Труворе и Синеусе — новгородско-изборско-белозерское по происхождению. В Новгороде показывали могилу Рюрика — родоначальника новгородско-киевской династии князей, в Изборске — Трувора, родоначальника кривичских князей, в Белоозере — Синеуса, родоначальника династии князей веси.

Повидимому, братьями все эти родоначальники династий северной Руси были сделаны еще до включения в летопись этого предания, для закрепления легендой того реального союза словен, кривичей и веси, который издавна существовал на севере.[1]

Предания эти сперва в раздельном виде возникли каждое в своей местности, в своем племени, были связаны с определенными могильниками. Они не могли стать межплеменными, пока не образовались реальные связи между отдельными племенами, пока не стала изживаться и самая племенная раздельность. Вот почему мы считаем, что мотив братства — сравнительно поздний.

Во всем остальном предания о Кие, Щеке и Хориве, о Радиме и Вятке, о Рюрике, Труворе и Синеусе, а также неясно отмеченное в летописи предание о Рогволоде и Туре[2] принадлежат по своему типу к числу очень древних. Записаны они были в летопись уже на стадии своего освобождения от элементов культа, но тем не менее древние слои этих преданий еще ясно

---

[1] А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 289 и сл.

[2] Повесть временных лет под 980 г.

дают себя чувствовать. Историческое сознание, отразившееся в этих преданиях, еще очень ограничено. В частности, ограниченность исторического сознания выразилась в том, что все эти родоначальники изображены явившимися со стороны: «от ляхов» якобы пришли Радим и Вятко, «от варягов» Рогволод и Тур, Рюрик, Трувор и Синеус. Со стороны, повидимому, явились Кий, Щек и Хорив. Чем объяснить эту сторону сказаний?

Здесь несомненно сказалась свойственная той эпохе ограниченность исторического мышления, представлений об историческом развитии. Всякое новое явление общественного развития считали пришедшим со стороны; его считали привнесенным извне, дарованным богом, явившимся из иностранного государства, или результатом чьего-либо постановления, приказания, закона, а не возникшим в результате закономерного исторического развития, представления о котором еще отсутствовали. Вот почему, отчасти, народное предание так склонно было считать и славянские племена пришедшими со стороны, а самое передвижение племен объяснять толчками извне — результатом завоеваний, насилий и т. п.

Наиболее резко эта особенность исторических представлений IX—X вв. сказывалась там, где дело касалось происхождения тех или иных знатных родов. Знатный род, казалось, нельзя было выводить из своей собственной страны и потому еще, что это неизбежно должно было возвести его к какому-то «незнатному» родоначальнику. Родоначальники же династий, как мы уже видели, пользовались особенным почитанием.

Впоследствии, в XVIII—XX вв., эта яркая особенность народных преданий X—XI вв. не была принята во внимание. Легенда о призвании Рюрика, Трувора и Синеуса рассматривалась изолированно от легенд того же типа в летописи и некритически принималась на веру так называемыми «норманистами», использовавшими ее в своих враждебных русскому народу построениях.[1]

Более поздний тип преданий отражен в летописи в рассказах о войнах русских с их внешними врагами. Летопись донесла до нас немало сказаний о победах русских над врагами. В них русские обычно побеждают врагов не только силою, но и умением. На стороне русских оказываются, согласно мнению народного предания, и воинская сметка и сама судьба. Превосходство судьбы, конечно, всегда обнаруживается «задним числом» и

---

[1] Критика норманской теории дается мною в издании «Повести временных лет», ч. II, серия «Литературные памятники», М.—Л., 1950, стр. 111—116, 234—246.

облекается в сказаниях то в форму размышления, то в форму «предсказания». «Сбывшееся» предсказание наполняет гордостью рассказчика-летописца за свою Родину. Патриотический элемент в этих рассказах очень силен. Славное настоящее Русского государства служит своего рода лейтмотивом такого рода рассказов.

Вот, например, были обры, завоевавшие славян и «примучившие» дулебов. Эти обры впрягали в телеги дулебских женщин и так ездили на них. Были обры телом велики и горды, но не осталось от них «ни племени ни наследка». Это историческое преданье о гибели обров летописец подкрепляет народной поговоркой: «погибоша аки обре». Мысль этого предания ясна: Русь стоит и процветает, а враги ее погибли. Можно было бы подумать, что это мысль не народного предания, а летописца, но вот еще одно предание о врагах Руси: здесь та же мысль и она настолько связана с самим сюжетом, что ее нельзя уже приписать летописцу.

Речь идет о других «насильниках» Руси — хазарах. Хазары, найдя полян в лесу на горах киевских, сказали им: «Платите нам дань». Поляне, посовещавшись, дали «от дыма мечь». Хазары принесли эту дань своему князю и своим старейшинам и показали ее. На это старцы хазарские сказали: «Не добра дань, княже! Мы ся доискахом оружьемь одиною стороною, рекше саблями, а сих оружье обоюдуостро, рекше мечь. Си имуть имати дань на нас и на инех странах». Это и сбылось, замечает летописец: «володеють бо козары русьскии князи и до днешнего дни».

Снова, следовательно, всплывает гордость своим настоящим, на этот раз в форме пророчения «хазарских старцев». Чтобы ослабить впечатление от языческого элемента этого предания (сбывшееся пророчение старцев), летописец от себя вставляет небольшое рассуждение о том, почему могут сбываться пророчества язычников: «Не от своея воля рекоша, но от божья повеленья».

Тот же элемент язычества имеется и в рассказе о смерти Олега от собственного коня. Волхвы предрекли Олегу смерть от своего коня. Олег поверил и велел увести коня. Через пять лет Олег узнал, что конь его умер, и пожалел, что поверил предсказаниям волхвов. Он поехал посмотреть кости своего коня, но змея, выползшая из черепа коня, «уклюну» его в ногу. Олег заболел и умер.

И здесь, чтобы парализовать действие языческого элемента в предании, летописец пускается в длиннейшее рассуждение по поводу того, почему волхвы могут предсказывать правду.

Но языческий элемент проступает не только в сбывающихся предсказаниях «старцев» и «волхвов». Языческий элемент налицо и в мотиве гибели от с в о е г о коня, от с в о е г о оружия. Объяснение этому мы видим в заключительной части договора Игоря 945 г. Русские клянутся здесь на своем оружии и принимают на себя заклятие: если нарушат договор, — умереть от своего оружия: «будеть достоин своим оружьем умрети». Неправда, следовательно, карается богами смертью от своего оружия.

Отметим, однако, что этот языческий, культовый элемент проступает только в древнейших преданиях. В этом отношении важно сравнить два предания о мечах — одно вышеразобранное — об испытании русскими мечами хозар, другое, читающееся в летописи под 971 г., об испытании Святослава г р е к а м и мечом. Меч служит в обоих преданиях символом воинственности русских, но предание 971 г. в отличие от более раннего предания уже лишено всяких элементов языческой веры в волхвов, их там попросту нет.

После победы Святослава в 971 г. греки решили испытать его: опасный ли он противник. Они послали ему в дар паволоки и золото и приказали «мужу мудру» наблюдать — как поведет себя Святослав. Святослав, получив дары, даже не взглянул на них, приказав отрокам своим спрятать принесенное. Тогда греки вновь послали к нему дары, но на этот раз не паволоки и золото, а «мечь и ино оружье». Святослав принял эти дары и «нача хвалити, и любити, и целовати царя». Греки поняли, что они имеют дело с опасным, воинственным противником и согласились уплатить дань.

Такое различие между преданием, относящимся к VIII—IX вв., и преданием о событиях 971 г. не случайно: элемент язычества все убывает в исторических преданиях; одновременно все нарастает патриотизм, сознание народной силы, силы Русской земли.

Это нарастание патриотизма и сознание народной силы находится в несомненной связи с историческим процессом формирования русской народности. Нарастание это вызывалось этим процессом и само оказывало на него значительное воздействие.

Языческая мораль старых исторических преданий — враги погибают по собственной вине и от собственного оружия — сменяется мыслью о превосходстве русской воинской сметки. Русские умеют обмануть врагов; враги же терпят поражение по собственной недогадливости, и эта собственная недогадливость врагов заменяет собой мотив гибели от собственного оружия —

мотив, как мы видели, связанный с представлениями древнерусского язычества.

Первое предание этого типа записано в «Повести временных лет» под 907 г. Оно повествует о том, как Олег перехитрил греков, взяв Царьград. Когда русские подошли к Царьграду на 2000 кораблях, греки замкнули Суд (залив Золотой Рог) цепью. Но Олег обманул греков, поставив корабли на колеса и волоком перетащил их с помощью попутного ветра через перешеек. Корабли на колесах — это привычный русским «волок», столь частый на русских реках, но незнакомый грекам. В предании этом чувствуется гордость этим своим национальным способом преодоления препятствий.

Другое предание такого рода записано в «Повести временных лет» под 968 г. Оно более детально, более подробно и конкретно.

Когда впервые пришли на Русскую землю печенеги, Святослава в Киеве не было. Ольга затворилась в Киеве со своими внуками: Ярополком, Олегом и Владимиром. И обступили печенеги город силою великой, и нельзя было ни выйти из города, ни вести послать. И изнемогали люди от голода и жажды. И вот собрались люди той стороны Днепра в ладьях, и стояли на том берегу. Нельзя было ни тем пробраться в Киев, ни этим из Киева к ним. И стали тужить люди в городе, и сказали: «Несть ли кого, иже бы мог на ону страну дойти и рещи им: аще не подступите заутра, предатися имам печенегом?».

Вызвался один отрок. Он вышел из города с уздечкою и побежал через стоянку печенегов, спрашивая их по-печенежски: «Не видел ли кто-нибудь коня?». Добежав до реки, отрок скинул одежду и поплыл. Печенеги стреляли, но не могли ему ничего сделать. На том берегу заметили отрока, подъехали к нему в ладье и привезли к дружине. Услышав о положении в городе, русские на той стороне решили действовать. На следующее утро, близко к рассвету, они сели в ладьи и громко затрубили, а люди в городе закричали. Обманутые печенеги решили, что пришел Святослав, и бросились от города врассыпную. И вышла Ольга с внуками и людьми к ладьям. Печенежский же князь, увидев это, возвратился один и обратился к воеводе Претичу: «Кто се приде?». Претич ответил: «Людье оноя страны». Печенежский князь снова спросил: «А ты князь ли еси?». Претич ответил: «Аз есмь мужь его, и пришел есмь в сторожех, и по мне идеть полк со князем, бе-щисла множьство». Тогда печенежский князь, испугавшись, сказал: «Буди ми друг». Претич и печенежский князь подали друг другу руки и обменялись подарками. Печенежский князь дал Претичу коня, саблю и стрелы, а Пре-

тич дал печенежскому князю кольчугу, щит и меч. И отступили печенеги от города.[1]

В этом предании, так же как и в предании о взятии Царьграда Олегом, подчеркнут национальный момент: в подарках, которыми обменялись Претич с печенежским князем, ясно видно различие степной культуры печенегов и европейской культуры русских. Как и в других случаях, меч, а вместе с ним щит и кольчуга, выступают символами русских.

Все предание носит развитой, осложненный характер: подвиг Претича, обманувшего печенежского князя, и подвиг отрока, хитростью пробравшегося через печенежский лагерь, объединены в одном рассказе.

Военная хитрость русских подчеркнута и в известном народном предании о белгородском киселе, занесенном в летопись под 997 г.

В отсутствие Владимира печенеги подступили к Белгороду и осадили его и начался сильный голод в Белгороде. Белгородцы созвали вече и сказали: «Се уже хочем померети от глада, а от князя помочи нету. Да луче ли ны померети? Въдадимся печенегом, да кого живять, кого ли умертвять; уже помираем от глада». Так и решили. На вече же этом не был один старец. Старец этот спросил: «Что ради вече было?». Узнав в чем дело, старец подал совет городским старейшинам: «Послушайте мене, не передайтеся за 3 дни, и я вы что велю, створите». Старейшины городские обещали послушаться. Старец предложил собрать по горсти овса, или пшеницы, или отрубей. Затем он велел женщинам сделать болтушку, из которой варят кисель, выкопать колодец, вставить в него кадку и налить ее раствором. Велел он выкопать и другой колодезь и в него также вставить кадку. Потом велел сыскать где-нибудь меду. Ему принесли целое лукно, которое было спрятано в княжеском погребе. Из меда сделали сыто пресладкое и вылили в кадку, которая стояла в другом колодезе. На утро велел он послать за печенегами. Горожане пошли и сказали им: «Поимете к собе таль нашь, а вы поидете до 10 мужь в град, да видите, что ся дееть в граде нашем». Печенеги обрадовались, что хотят им сдаться: взяли заложников, а сами выбрали лучших мужей, и послали в город посмотреть, что там делается. Когда печенеги пришли в город, жители сказали им: «По что губите себе? Коли можете престояти нас? Аще стоите за 10 лет, что можете створити нам?

---

[1] О том, что народное предание кончается именно на этом месте см.: Повесть временных лет, ч. II, серия «Литературные памятники», Изд. АН СССР, стр. 314.

Имеем бо кормлю от земле. Аще ли не веруете, да узрите своима очима». Печенегов привели к колодцу, где был раствор, почерпнули из него ведром, и налили в латки. И когда сварили кисель, то взяли печенегов и привели к другому колодцу, и почерпнули сыты, и начали есть сперва сами, а потом дали печенегам. Те удивились и сказали: «Не имуть веры наши князи, аще не ядять сами». Тогда люди налили корчагу болтушки и сыты из колодца, и дали печенегам. Те пошли к своим и рассказали им все, что с ними случилось. Печенежские князья сварили кисель, поели, подивились, затем отпустили заложников и пошли прочь от города.

Переходное положение от исторических преданий старого языческого типа к новым чисто историческим занимают рассказы о трех мщениях Ольги. Как и в рассказе о мечах русских у хозар, в преданиях о трех мщениях Ольги видное место имеет символическое значение, если не предметов, то действий. Подобно тому как мечи русских были своего рода загадкою, которую задали русские хозарам, так и в рассказах о мщениях Ольги есть такие же загадки, которые Ольга задает древлянам. Различие однако в том, что отсутствуют волхвы и старцы, которые эти загадки могли бы разгадать, и нет никаких элементов пророчества: Ольга сама приводит в исполнение то, что загадала своим недругам. Элемент чудесного в этих преданиях уже отсутствует, хотя и сохранена еще языческая символика.

Первая месть происходит на дворе у княгини Ольги. Между древлянами-сватами и Ольгою разыгрывается диалог: Ольга говорит иносказательно о мести, послы же древлян не понимают иносказательного языка Ольги и воспринимают лишь поверхностный, прямой смысл ее речей, считая их лишь традиционной свадебной обрядностью. «Добри гостье (т. е. купцы) придоша», — иронически приветствует их Ольга. Послы не догадываются об ироническом смысле ее вопроса и простодушно отвечают: «Придохом, княгине». Ольга спрашивает послов: «Да глаголете, что ради придосте семо?». Послы, не догадываясь вновь о коварстве Ольги, вновь же простодушно отвечают: «Посла ны Дерьвьска земля, рекущи сице: мужа твоего убихом, бяше бо мужь твой аки волк восхищая и грабя, а наши князи добри суть, иже распасли суть Деревьску землю, да поиди за князь нашь за Мал». Ольга притворно соглашается и обещает воздать послам величайшую честь: «Люба ми есть речь ваша, уже мне мужа своего не кресити; но хочю вы почтити наутрия пред людьми своими, а ныне идете в лодью свою, и лязите в лодьи величающеся, и аз утро послю по вы, вы же рьцете: не едем на коних, ни пеши идем, но понесете ны в лодьи; и

Отгадка этой загадки та же, что и в мести Ольги — похороны.[1]

Сюжет об испытании жениха или сватов жениха невестой-царевной очень распространен в сказках. Нет нужды перечислять их все. Обратим внимание лишь на самый тип загадки, который в нем встречается. Это опять-таки те же загадки с выключением загадываемого предмета. Сватам обычно предлагается «пойти ни конем, ни пешком»; сваты говорят: «почевали мы ни на земле, ни на телеге, по утру вставали, умывались ни водою, ни божьей росою, а утирались ни тканым, ни пряденым». На свадьбах в сказках жениху или невесте предлагается явиться «ни нагой, ни одетой» и испытуемый выполняет эту задачу, являясь завернутым в рыболовную сеть, «ни пешком, ни на лошади» — и испытуемый является верхом на козе или козле, «ни по дороге, ни без дороги» — и испытуемый едет по колее вдоль дороги или по канаве, «ни днем, ни ночью» — и испытуемый является в сумерки или в полночь, в полнолуние или в новолуние, и т. д.[2]

Таким образом, несение в ладьях — это обряд и похоронный, и свадебный, загадка Ольги может быть разгадана и как угроза смерти, и как предложение женитьбы.

Вторая месть Ольги по существу также представляет собой драматизированную загадку, хотя изложена она и короче первой. Первая загадка Ольги древлянам — ладья, вторая — баня. Вновь прибывают послы-сваты древлян, лучшие представители их рода. Как и в первом случае, Ольга обещает послам оказать величайшие почести: «Повеле Ольга мовь створить, рькуще сице: „Измывшеся придите ко мне“». Так же, как и в первом случае, послы древлян не понимают сокровенного языка Ольги. Они «влезают» в «истопку» и начинают мыться, но люди Ольги запирают послов в бане и сжигают их там. Вновь Ольга казнит смертью не сумевших разгадать ее загадки послов. Символический смысл понятия бани, как смерти, страдания, мести, причем страдания «добровольного», был, как мне кажется, ясен на Руси в XI в. Напомню шутку апостола Андрея над моющимися в бане новгородцами, приводимую в летописи: «И то творять мовенье собе, а не мученье». С баней связана не только шутка

---

[1] Д. Садовников. Загадки русского народа. СПб., 1876, № 2121; ср. еще №№ 239, 405, 459—461, 529, 749, 1446, 1622 и др.

[2] См. подробнее: Д. К. Зеленин. Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Сб. Муз. антр. и эти., т. VIII, 1929, стр. 23; Е. К. Кагаров. Состав и происхождение свадебной обрядности. Сб. Музея антр. и эти., т. VIII, 1929, стр. 161; Морева. Традиционные формулы в приговорах свадебных дружек. Худож. фольклор, II—III, М., 1927.

апостола Андрея, но и космогония волхов (в летописи под 1071 г.). По народным обычаям для покойников вытапливали печку, ставили воду и т. д.

Третья загадка Ольги, заданная ею древлянам, — пир. В этой третьей загадке драматическая ситуация нарастает. Ольга уже сама идет к древлянам, она ведет переговоры со всеми древлянами, а не с отдельными представителями. Она приглашает древлян на тризну по своему мужу. Она справляет эту тризну непосредственно на могиле мужа, и здесь во́ время пира убивает древлян. Ольга шлет к древлянам послов со следующим предложением: «Се уже иду к вам, да пристройте меды многи в граде, идеже убисте мужа моего, да поплачюся над гробом его, и створю трызну мужю своему». Значение пира как смерти, так же как и значение ладьи — смерти, бани — смерти, основывается на обрядовой стороне русского язычества. Несение в ладьях — первая загадка Ольги, она же и первый обрядовый момент похорон, баня для покойника — вторая загадка Ольги — второй момент похорон, тризна по покойнику последняя загадка Ольги — последний момент похорон.

Ольга задает сватам загадки, имитируя обычную свадебную обрядность, но сама свадьба оказывается метафорой мести. Метафоричность свадебной обрядности оказалась надстроенной еще одной метафоричностью — похорон. Вот почему древлянские послы оказались несостоятельными перед «мудростью-хитростью» «мудрейшей из всех людей» Ольги.

Следует подчеркнуть, что от древнерусского язычества сохранена в преданиях о трех мщениях Ольги лишь символика.

В этих преданиях нет ни волхвов, ни сбывающихся пророчений. Ольга сама приводит в исполнение свои загадки-предсказания. В этом решительное отличие преданий о трех мщениях Ольги от предания о смерти Олега или о дани, уплоченной полянами хазарам.

Нам неясно также, была ли целиком понятна летописцу символика загадок Ольги, — настолько далеко отошел и сам летописец от древнерусского язычества.

Если мы расположим все исторические предания, отразившиеся в «Повести временных лет», в хронологическом порядке, мы заметим, как резко убывает в них языческий элемент, как все более и более увеличивается в них патриотическое настроение, связанное с нарастанием процесса формирования древне-русской народности. В древнейших преданиях наказывается неверие в силу прорицания волхвов, в более поздних преданиях наказывается несообразительность. Если Вещий Олег погибает потому, что в какой-то момент усумнился в пророчестве волхвов,

то его внук Святослав гибнет оттого, что «не блюл» Родины — «чужих ища, своя погуби», ослушался уговоров матери.[1]

Сравнив с этими тенденциями исторических преданий X в. русские былины в записях XVII—XX вв., мы заметим, что последние ушли еще дальше по тому же пути освобождения от элементов языческих верований: богатыри поступают иногда (хотя еще далеко не всегда) вопреки предсказаниям и предвещаниям и выходят победителями. Освобождение от религиозных верований старого русского язычества ушло в поздних былинах еще дальше, вступив порой на путь активной борьбы с суевериями.

В самом деле, одна из характернейших черт русского былевого эпоса — это преодоление всяких заклятий, волшебства. Грозные предвестия, предсказания и предубеждения оказываются бессильными перед мужеством и смелостью богатыря.

На распутье богатырь встречает надпись: «По одной дороге поедешь — убиту быть, по другой поедешь — женату быть, по третьей — богату быть». Богатырь едет по самой страшной дороге — по той, где ему «убиту быть», и остается жив.

Мать Добрыни предостерегает его купаться в «третьей струйке» Пучай-реки. Добрыня купается и побеждает змея.

В былине о Василии Пьянице опровергаются предсказания о гибели Киева: богородица плачет, предвещая несчастье, а Василий Пьяница все же побеждает татар. Василий Буслаев побеждает предрассудки, не верит «ни в сон, ни в чох».

Если бы русский былевой эпос с самого начала, со времени своего формирования в период расцвета раннефеодального древнерусского государства, не обладал этой чертой, освобождавшей его от подчинения и язычеству, и господствующей церкви, — он никогда не имел бы того прогрессивного значения в развитии русской литературы, которое он имел впоследствии в течение ряда веков. Это не означает, что наряду с прогрессивными чертами в русском былевом эпосе не было черт отсталых. Отдельные варианты былин, отдельные сюжеты могли быть скованы предрассудками. Наряду с восхищением смелостью и вольнодумством Василия Буслаева, не верящего «ни в сон, ни в чох», в былинах выказывается и осуждение его (в былине о поездке Василия Буслаева на богомолье и о его смерти).

Среди разнообразных форм исторического эпоса раннефеодальной Руси мы должны с особенным вниманием остано-

---

[1] См. рассказ о гибели Святослава в «Повести временных лет» под 971 г.

виться на былевом эпосе. Мы не знаем, существовали ли в раннефеодальный период былины в нашем смысле этого слова. Если они и существовали, то они во всяком случае были по форме отличны от тех, которые нам известны по записям XVII—XX вв. Даже в этих записях XVII—XX вв. заметно развитие: изменение в языке, в стихе, в образах героев и в отдельных сюжетах. Тем более значительные изменения должны были произойти в былевом эпосе за время с X по XVII в.

Однако, как бы ни велики были эти изменения, мы все же можем думать, что многие былины, относящиеся к киевскому циклу, оформились именно в раннефеодальный период. За это говорят встречные данные — как летописи XI в., так и позднейших записей былин. В летописи мы находим следы таких видов исторического эпоса, которые близки к современным былинам, а в современных нам записях былин мы находим такие элементы, которые могли сложиться только в X—XI вв.

Замечательно, что то предание летописи, которое выказывает свою наибольшую близость к сюжетам былин позднейших записей, носит на себе, вместе с тем, печать подлинно народной идеологии. Этим, в частности, в значительной мере подрывается утверждение представителей «исторической школы» изучения эпоса о так называемом аристократическом происхождении былин. Мы имеем в виду предание о единоборстве юноши-кожемяки с печенежским богатырем, занесенное в летопись под 992 г.

Предание рассказывает, как пришли на Русь печенеги, а Владимир выступил против них и встретился с ними «на Трубежи на броде, где ныне Переяславль». Печенеги стали по одной стороне Трубежа, а Владимир по другой. И выехал к реке князь печенежский, вызвал Владимира и предложил решить войну поединком: «Выпусти ты свой мужь, а я свой, да ся борета. Да аще твой мужь ударить моимь, да не воюем за три лета; аще ли нашь мужь ударить, да воюемь за три лета». Владимир послал борича кликать: «Нету ли такого мужа, иже бы ся ял с печенежиномь?». Но никого не нашлось. Утром печенеги выставили своего поединщика, а с русской стороны не было. Тогда стал Владимир «тужить», посылал по всем воинам и вот, наконец, явился один «стар мужь» к нему и сказать: «Княже! Есть у мене един сын меньшой дома, а с четырми есмь вышел, а он дома. От детьства бо его несть кто им ударил. Единою бо ми и сварящю, и оному мьнущю усние (кожи), разгневавъся на мя, преторже череви (кожи) рукама». Владимир обрадовался и послал за младшим сыном старика. Приведенный к князю неказистый на вид юноша просит предварительно испытать его, выры-

вает у разъяренного быка на бегу бок с кожей «елико ему рука зоя» и получает разрешение на единоборство.

На следующее утро снова пришли печенеги и стали кликать: «Не ли мужа? Се нашь доспел». Печенеги выпустили своего мужа; был он «превелик зело и страшен». И выступил против него муж Владимира. Увидел его печенежин и посмеялся, так как юноша был «середний теломь». В единоборстве юноша побеждает печенежина своими профессионально сильными руками: он начал «держать» печенежина и удавил его до смерти, а затем бросил его на землю. Раздался клик в полках Владимира, и печенеги бежали.

Обрадованный Владимир заложил на месте поединка город, назвав его Переяславлем, а скромного юношу-кожемяку сделал «великимь мужемь», также и отца его. Затем говорится о возвращении Владимира в Киев «с победою и с славою великою».

В этом предании наше внимание привлекает несколько исключительно важных моментов. Прежде всего необходимо отметить чисто народную тенденцию этого предания. Юноша-кожемяка, третий сын своего отца, посрамляет профессиональную дружину князя. Ремесленник-кожемяка спасает Русь от набегов печенегов. Он совершает подвиг, которого не мог совершить никто из дружинников. Этот подвиг ему удается совершить благодаря своим профессионально сильным рукам. Сила, накопленная кожемякой в мирном труде, помогла ему победить «превеликого зело и страшного» печенежина.

Необходимо отметить близость этого предания по идее и по сюжету к былинам. В самом деле, идея превосходства мирного труда над узко профессиональным военным неоднократно проводится в былинах. Сильным оказывается и пахарь Микула, сошку которого не мог вытащить никто из дружинников Вольги. В мирном труде вырастает и сила Ильи Муромца. В развитии этой темы предание о юноше-кожемяке имеет много общего с былинами. Как и в былинах, князь Владимир сперва тщетно ищет поединщика, «тужит». Вызывается выступить против противника скромный на вид «средний телом» юноша. Как и в былинах, дело решается поединком. Противник, враг Руси выступает, как и в былинах, в образе «превеликого зело и страшного» чудища. Печенежин, как в былинах Идолище, смеется вначале над скромным видом своего русского противника. Как обычно в былинах, Владимир награждает победителя, делает его «великимь мужем». Победитель вступает в дружину князя. Сюжет этого предания типично былинный и не случайно Никоновская летопись впоследствии, в XVI в., включила юношу-кожемяку в число русских богатырей под именем Яна

Усмошвеца, заставив его вместе с Александром Поповичем оборонять Киев от печенегов (под 1001 и 1004 гг.).

Наконец, в этом предании — былине, записанной в летописи, имеется и еще одна сторона, которая представляет большой принципиальный интерес. В рассказе о кожемяке мы имеем единственный в своем роде случай, доказывающий, что сложение эпического цикла вокруг Владимира I Святославича началось уже в XI в. Действительно, город Переяславль упоминается еще задолго до княжения Владимира — в договоре с греками 911 г. Поэтому легенда об основании Переяславля не была, очевидно, первоначально приурочена к княжению Владимира. Только впоследствии, в XI в., может быть во второй его половине, — она связалась с популярным именем Владимира I, свидетельствуя тем самым о каких-то мало известных еще нам фактах начавшейся циклизации русского эпоса вокруг Владимира.

Наряду с летописными известиями, встречные данные о былевом эпосе раннефеодального периода, как мы уже сказали, могут быть извлечены из поздних записей былин.

Былины в записях XVII—XX вв. несут в себе многие отзвуки исторической действительности X—XI вв., но эта древняя историческая основа позднейших былин совершенно неправильно понималась буржуазными исследователями, принадлежавшими к так называемой «исторической школе» изучения устного народного творчества (Л. Майков,[1] Н. Квашнин-Самарин,[2] М. Халанский,[3] Н. Дашкевич,[4] Вс. Миллер[5] и др.).

Исходя из своей порочной концепции «аристократического происхождения фольклора», ученые «исторической школы» объясняли наличие верных исторических деталей в былинах их «традиционностью», их косностью. С точки зрения «исторической школы», былины, созданные в господствующих классах общества, сохраняли свое историческое зерно якобы только благодаря «механичности» их запоминания и передаче в устах народа. Советская наука разбила враждебные народу представления о том, что былина «нисходит» в народ от господствующих классов и здесь якобы только доживает свой век, попутно постепенно портясь от ее непонимания «носителями» и «передатчиками».

---

[1] Л. Н. Майков. О былинах Владимирова цикла. СПб., 1863.

[2] Н. Д. Квашнин-Самарин. О русских былинах в историко-географическом отношении. «Беседа», 1872, кн. IV—V.

[3] М. Е. Халанский. Великорусские былины киевского цикла. Русский филологический вестник, 1884—1885, и отдельно: Варшава, 1885.

[4] Н. П. Дашкевич. К вопросу о происхождении русских былин. Киев, 1883.

[5] Вс. Ф. Миллер. Очерки по истории народной поэзии, тт. I, II, III. М., 1897, 1910 и 1924.

Надо, однако, сказать, что в представлениях об историческом элементе в былинах до сих пор еще живы пережитки «исторической школы». До сих пор распространены представления о том, что элементы старины сохраняются в былинах вследствие «традиционности» эпоса потому якобы, что в былинах особенно силен элемент «запоминания», вследствие чего былина якобы мало изменяется.

Дело, конечно, обстоит не так, как это представлялось буржуазной науке. Былина не «остаток» прошлого, а историческое произведение о прошлом. Ее отношение к прошлому не пассивно, а активно. В ней отражены исторические воззрения народа в еще большей мере, чем историческая память. Историческое содержание былин передается сказителями сознательно. Сохранение исторически ценного в историческом эпосе (будь то имена, события, социальные отношения или даже исторически верная лексика) есть результат сознательного, исторического отношения народа к содержанию эпоса. Народ в своем былинном творчестве исходит из своеобразных исторических представлений о времени богатырства киевского. Сознание исторической ценности передаваемого, и своеобразные исторические представления народа, а не только «традиция» и механическое запоминание обусловливают устойчивость исторического содержания былин.

«Косность» и «механичность» проявляются по преимуществу у плохих сказителей и выражаются не в сохранении исторически ценного, а в обратном — в анахронизмах. Такие сказители также не составляют характерного явления в народном творчестве, как плохие писатели в литературе письменной. В лучших же произведениях устного народного творчества сказывается использование народом высоких традиций своего художественного прошлого. Это использование отнюдь не следует смешивать с «косностью». Роль традиции в классических произведениях устного народного творчества такая же, как и в лучших произведениях литературы.

Из изложенного выше следует весьма важный вывод для восстановления исторического эпоса X—XII вв. на основании записей былин нового времени. «Историческая школа» предполагала, что косность формы былин вела к сохранению исторического содержания. Исходя из этого, представители «исторической школы» имели право предполагать, что форма былин почти не изменилась с X—XII вв. Устойчивость формы якобы вела к сохранению исторического содержания. Наши представления о сознательном сохранении в былинах исторического содержания не дают оснований к такого рода убеждению. Формы исторического эпоса меняются и представить себе исторический эпос X—XII вв. в формах, близких к былинам новой записи, у нас нет

оснований. Зато гораздо шире можем мы себе представить на основании современных былин широту содержания исторического эпоса X—XII вв.

Предполагая в былинах лишь механическое сохранение исторических фактов, представители «исторической школы» естественно обращали внимание в первую очередь на выяснение в былинах исторических имен и отдельных исторических событий, и в этом только видели историческую основу былин. Даже такой внимательный реконструктор фольклора «киевского периода», как А. И. Никифоров, не избежал этой типической ошибки «исторической школы». За исторический источник былины он принимал только «первичный конкретный исторический факт — лицо или событие».[1]

По существу представители этого направления не высоко оценивали историческую сущность былин, а связывая былины только с отдельными историческими именами, с отдельными (по большей части незначительными) историческими фактами, не видели в них подлинной связи с историческим развитием в целом, изымали эпическое творчество из исторического процесса. Представители «исторической школы», по существу были очень далеки от подлинной истории. На самом же деле былина, представляя сознательное, а не механическое отношение народа к прошлому, отражает отношение народа к происходящим событиям, к историческим явлениям крупного масштаба, рисует социальные отношения раннефеодального периода так, как понимал их народ.

У народа, — писал М. Горький, — «свое мнение о деятельности Людовика XI, Ивана Грозного, и это мнение резко различно с оценками истории, написанной специалистами, которые не очень интересовались вопросом о том, что именно вносила в жизнь трудового народа борьба монархов с феодалами».[2]

Это историческое содержание былин новой записи позволяет шире и глубже понять и историческое содержание эпоса X—XII вв.

Социальный уклад раннефеодального государства X—XI вв. не мог быть восстановлен сказителями XVII—XX вв. на основании каких-либо иных источников, кроме фольклорных. И это обстоятельство указывает на историческую преемственность в русском былевом эпосе. Наблюдая в былинах нового времени черты исторической действительности X—XII вв., мы можем

[1] А. И. Никифоров. Фольклор Киевского периода. История русской литературы, т. I. Изд. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 239.

[2] М. Горький. Доклад на съезде советских писателей. Сб. «Литературно-критические статьи», стр. 643.

быть уверены, что эти же черты имелись уже в современном им эпосе. В сущности, действие большинства русских былин происходит в одно время — в эпоху единого раннефеодального государства. Когда бы они ни слагались, они переносят действие в Киев ко двору Владимира. Русские былины воспроизводят мир социальных отношений и историческую обстановку Киевской Руси и, как уже было отмечено в исследовательской литературе о былинах, только героев киевского цикла называют богатырями. Обогащаясь теми или иными новыми сюжетами, былины переводят их в отношения X—XI вв., отметают многое, что не соответствует социальной обстановке этого времени, понятой, правда, с известной долею идеализации. Русские былины восприняли немало позднейших исторических сюжетов, мотивов, эпизодов XIV—XVII вв., но ошибаются те, кто видит в русских былинах отражение прежде всего «Московской Руси». Раннефеодальный период русской истории оказывается, таким образом, своеобразным эпическим временем, составляющим наиболее яркую отличительную черту русских былин.

Новые герои принимают старые имена былинных героев. Новые исторические события, героические подвиги народа переносятся к этому времени, даже в самую природу Киевской Руси. Былины резко отличаются от исторических песен главным образом тем, что они все повествуют об одном времени, тогда как исторические песни тесно связаны с историческим развитием, с движением русской истории, с отдельными ее событиями различных веков. Былины — многослойны, они шлифовались народом в течение многих веков. В былинах отразились сюжеты и древнейшего эпоса еще докиевского, и сюжеты последующих веков. Однако и в том, и в другом случае былина становилась былиной, лишь перенеся свое действие в обстановку «эпического времени».

Представления об «эпическом времени» былин, об «эпических социальных отношениях» сложились, в основном, в Киевской Руси и продолжали складываться в период феодальной раздробленности. В дальнейшем новые и старые сюжеты народ переносил в «эпическое время», — более или менее прочно представляемое. И в этом представлении об «эпическом времени», в выборе сохраненных в них социальных явлений и сказалась прежде всего классовая идеология крестьянства древней Руси.

В центре тех социальных отношений, которые рисуют нам былины, стоят отношения дружины и князя. Можно считать, что эти отношения князя и дружины не случайно привлекли внимание народных певцов X—XI вв. и оказались запечатленными в былевом эпосе. Дружина усиленно привлекала внимание народа, так как доступ в дружину «хоробрствующую» был

в X—XI вв. уже закрыт для представителей эксплоатируемого большинства. Однако народ помнил, что в предшествующее время дружина была далеко неоднородной. Наряду с представителями слагающейся феодальной аристократии в ней были и пришлые люди, вышедшие из демократической среды.

Отожествление войска и народа было характерно для периода военной демократии. «Народ в это время организован по военному, — пишет Б. Д. Греков, — потому что военная организация необходима для военных предприятий, в данный период являющихся основной функцией народа».[1] Войско и народ в период военной демократии — понятия тожественные.[2] Положение войска было уже совершенно иным в эпоху раннефеодального государства. «Киевская держава, — пишет Б. Д. Греков, — чтобы разрешить стоящие перед ней большие международно-политические задачи, и не могла иметь малочисленное войско. Но это уже не был вооруженный народ периода военной демократии, поскольку и военная демократия ушла в прошлое».[3] Вокруг князя кристаллизуется постоянная дружина, резко отделяющаяся от войска, набираемого по мере надобности.[4] «История дружины, если ее рассматривать в самых главных и основных чертах, заключается в том, что начав свою жизнь в качестве членов княжеского или боярского двора на иждивении своих хозяев, дужинники постепенно превращаются в землевладельцев — сначала на праве бенефиция, потом феода, в связи с чем меняется и их политическое значение».[5] Народ помнил те отношения в дружине, когда дружина еще не успела полностью замкнуться и отгородиться от народа. Народ помнил те времена, когда личные достоинства позволяли еще представителю народа вступить в дружину и выдвинуться на военном поприще. Идеализируя прошлое, народные представления все еще рисовали дружину в чертах, типичных для более раннего времени. Свою мечту о социальной справедливости народ в былинах переносил в прошлое и в этом прошлом видел прежде всего то, что хотел увидеть и воплотить в настоящем. Он обращался к прошлому в своих былинах, стремясь активно изменить настоящее,— как к образцу, как к примеру для своей деятельности. Это «прошлое» было созданием его активной мечты.

Характерный пример дает тому летописное сказание о единоборстве юноши-кожемяки с печенежским богатырем на реке Тру-

---

[1] Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1949, стр. 306.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 332.
[4] Там же, стр. 334.
[5] Там же, стр. 340.

беже. В этом сказании замечательно то, что Владимир принимает юношу-кожемяку в свою дружину, делает его «великим мужем». В дружину, следовательно, не закрыт еще доступ со стороны. Об этом имеются и другие сведения в летописи, а также в Эймундовой саге, рисующей Русь времени Ярослава Мудрого. Сказание о подвиге юноши-кожемяки — народное в своей основе сказание. Оно попало в летопись едва ли не из какой-то современной летописцу песни или былины. В том, что сказание это народное, убеждает самая его тенденция: ремесленник-кожемяка, благодаря своим профессионально сильным рукам, совершает подвиг, которого не могли совершить дружинники князя. Кожемяка противостоит другим дружинникам, но он все же вступает в дружину князя, принят им.

Та же тенденция отчетливо дает себя знать и в былинах позднейших записей: богатыри не принадлежат к феодальной аристократии, они едут в Киев из другого города и здесь вступают в дружину киевского князя. Князь встречает богатыря ласковою речью:

Гой еси удача, добрый молодец!
Отколь приехал, отколь тебя бог принес?
Еще как тебя, молодца, именем зовут? [1]

В дальнейшем богатырь живет при князе, не имея ни собственного хозяйства, ни собственного дома, питаясь за общим столом в гриднице князя.

Волх поил, кормил дружину хоробрую,
Обувал, одевал добрых молодцов:
Носили они шубы соболиные,
Переменные шубы-то барсовые.[2]

А поил, кормил дружинушку хоробрую
А все у него были явства переменные,
Переменные явства, сахарные.[3]

Этот общий стол с князем объясняет нам, почему так часты в былинах пиры, почему богатырь прямо с дороги оказывается за столом князя. Здесь, за столом — на пиру, решался вопрос о приеме приехавшего богатыря в дружину, решались и другие вопросы дружиной и государственной жизни. Пиры были формой постоянного общения князя и дружины, формой совещаний.

[1] Здесь и ниже былины в записях XVIII—XX вв. для иллюстрации отдельных положений об эпосе X—XI вв. цитируются условно.

[2] Древние российские стихотворения, собранные Киршею Даниловым, М., 1938.

[3] Там же.

Они находили себе экономическое основание в характере «кормления» дружины у князя.

Князь содержит дружину, снабжает ее одеждой, оружием, кормит и одаривает подарками — жалованием, серебром. Так изображает положение дружины при дворе у Ярослава Мудрого Эймундова сага. Так оно изображается и в былинах.

На приезде вас жалую по добру коню,
По добру коню, по латынскому, по богатырскому.[1]

Стану я вас дарити, жаловати,
Кого буду дарить чистым серебром,
Кого буду дарить красным золотом,
Кого жаловати скатным жемчугом?[2]

Дружинники и в былинах получают не только «золотую казну», но одежду и коней.

Таким образом, русские былины подчеркивают в отношениях дружины и князя некоторые элементы военной демократии. Эти элементы уже не сохранились в X— начале XI в., когда завершился постепенный отрыв дружины от княжеской гридницы и произошло ее разделение: слияние ее верхушки с господствующим классом, а ее младшей части со «слугами» князя. Дружинник — землевладелец и феодал или дружинник — подневольный слуга князя, конечно, не мог стать героем народной поэзии. Им становится дружинник-выходец из народа. Своего героя народ ищет в прошлом, так как не мог его представить себе в социальной обстановке настоящего. Он приукрашивал в своем воображении социальные отношения времени Владимира, перенося в это время социальные отношения еще более древние. Народ идеализировал социальную обстановку времени наибольшего расцвета внешнеполитического могущества Руси.

Таким образом, первое, что следует отметить, говоря об отражении идеологии трудового народа в былинах, — это изображение таких социальных отношений, при которых богатыри — представители народа при дворе князя — имели еще возможность выдвинуться благодаря своим личным качествам и заслугам, оказывать влияние на ход государственной жизни, выступать спасителями Руси, Киева, а иногда и самого князя Владимира.

Второе, что следует отметить, говоря об отражении идеологии трудового народа в былинах, — это самый образ богатыря. В большинстве случаев — богатыри представители народа, не

[1] Памятники и образцы народного языка и словесности русских и западных славян... СПб., в. 1, 1852, стр. 118.
[2] Там же, в. 3, 1854, стр. 305.

порвавшие с ним связи, несмотря на свою службу князю. Богатыри — вольные слуги князя. Они также легко вступают к нему на службу, как и покидают ее. Среди них немало выходцев из крестьян. Былина о Микуле Селяниновиче — богатыре крестьянине — рисует нам такого же представителя народа на службе у князя, как и летописное сказание о юноше-кожемяке. Ясно, что исторические реалии этой былины очень древние.

Представителем народа при дворе князя выступает и Добрыня Никитич. Нельзя думать (подобно тому, как думали представители «исторической школы»), что былинный Добрыня — богатырь «аристократ». Мы знаем, как отрицательно относился народ к феодалам-землевладельцам — «боярам кособрюхим». Народ в этом отношении не сделал бы исключения для Добрыни, изобразив его положительным героем. Летописные записи народных преданий XI—XII вв. подчеркивают его родство Владимиру, но не по княжеской линии, а по линии матери Владимира — рабыни Малуши.[1] Добрыня — дядя Владимира, но одновременно и брат рабыни. Сравнивая себя с Забавой Путятичной, Добрыня говорит:

Ах ты молода Забава дочь Путятична!
Вы есть нуньчу роду княженецкаго,
Я есть роду христианьскаго.[2]

Вспоминая детство Добрыни, его мать «честно-мужняя вдова Офимья Александровна» говорит о нем, что растила она его «Не во богачестви — во сирочестви». Добрыня — представитель народа в княжеской среде. Именно это-то и сделало его народным героем. Народ позаботился о том, чтобы его герой при княжеском дворе не только ничем не уступал родовитым феодалам, но чтобы он был наделен всеми чертами, которые показывали бы его превосходство над ними. Добрыня отличается «вежеством», тонким умом, образованием, обходительностью. Он умеет играть на гуслях, наделен различными талантами, способен к глубоким чувствам.

Изображение перехода крестьянина на военную службу в дружину князя отнюдь не означает, что народ меньше ценил свой труд, чем участие в дружине, как это предполагал Вс. Миллер.[3] Летописный юноша-кожемяка посрамил своим подвигом дружинников князя. Также точно и Микула прежде чем всту-

[1] См. об этом: Д. Лихачев. «Устные летописи» в составе Повести временных лет. Исторические записки, № 18, М.—Л., 1945.

[2] А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. I. М.—Л., 1949, стр. 140.

[3] Вс. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. I. М., 1897, стр. 179.

пить в дружину князя, посрамляет ее: его соловую кобылу не могут догнать дружинники, дружинники не могут справиться и с его сошкой. Самый наряд крестьянина Микулы, его сошка и кобыла предстают в праздничном облике необычайной красоты:

У оратая кобыла соловая,
Гужики у нея да шелковыи,
Сошка у оратая кленовая,
Омешики на сошки булатнии,
Присошечек у сошки серебряный,
А рогачик-то у сошки красна золота,
А у оратая кудри качаются,
Что не скатен жемчуг рассыпаются.
У оратая глаза да ясна сокола,
А брови у него да черна соболя.
У оратая сапожки зелен сафьян...[1]

Богатырь как представитель трудового народа, крестьянин или ремесленник, идеализируется и в мирном труде и в ратных подвигах. Он потому именно берет верх над профессионалами-дружинниками, что его воинские подвиги подготовлены его мирным трудом. Мирный труд делает его сильнее профессионала военного.

Прежде чем вступить в дружину Владимира, Илья Муромец также занимался хлебопашеством в своем родном селе Карачарове. Характерную картину рисует былина «Первые подвиги Ильи Муромца». Илья спрашивает своих родителей:

— Ай же вы мои, рожденые родители!
Где вы работали крестьянскую роботушку?
Говорил ему родитель да рожденые:
— Ай же ты, Илей, мы работаем луг и пожню,
Чистим луг-пожню за три поприща от дому.
— Ай же ты, родитель мой рожденыя!
Сведи меня туда да на займище,
Укажите вы мне мою работушку.
Привел его родитель да на займище:
— Укажи мне родитель по которых мест межа.
Захватил Илейко лесу кусту в пясть,
Отрубил лесы дремучии по корешку.[2]

Нет ничего удивительного в том, что в XI—XII вв. и этот тяжелый труд по преобразованию огромных лесных пространств в пашни считали богатырским. У Ильи и в богатырских подвигах сказывается его «ухватка крестьянская».[3]

---

[1] А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. II. М.—Л., 1950, стр. 538, № 156.
[2] Там же, стр. 315, № 120.
[3] Там же, стр. 323, № 120.

Однако только вступление в дружину князя позволяет богатырю участвовать в делах государства и совершать патриотические подвиги.

Рост классовых противоречий сделал в дальнейшем невозможным изображение богатыря, действующим в обстановке XIII—XVII вв. Для отражения событий XIII—XVII вв. народ создал другой вид эпического творчества — историческую песнь, где не было места для богатырей, где социальное неравенство и новые отношения князя, царя к своему военному слуге сделали невозможными идеализацию последнего, его превращение в богатыря. Богатыря-крестьянина также трудно вообразить себе при дворе удельного князя, как и при дворе Ивана IV. Богатыри остались представителями «эпического времени» — времени Киевской Руси, условно изображенного и отчасти переосмысленного народом. Пополняясь новыми сюжетами, былины переносили их все в «эпическое время» ко двору единого русского князя — Владимира Святославича, изображая этот двор с чертами более архаичными, чем были ему присущи.

Как же представлял себе трудовой народ этого эпического князя Владимира? Нельзя думать, что отношение народа к Владимиру I Святославичу с самого начала было таким же отрицательным, как оно запечатлено в былинах поздних записей. Древнейшие летописные свидетельства этого не подтверждают. В 1097 г. народ киевский обратился со следующими словами к Владимиру Мономаху по поводу начавшихся раздоров князей: «Молимся, княже, тобе и братома твоима, не мозете погубити Русьскые земли. Аще бо възмете рать межю собою, погании (язычники-половцы) имуть радоватися, и возмуть землю нашю, иже беша стяжали отци ваши и деди ваши трудом великим и храбрьством, поборающе по Русьскей земли, ины земли приискываху, а вы хочете погубити землю Русьскую».

Та же идеализация «отцов и дедов», собиравших воедино «трудом своим великим» всю Русскую землю, была не только в народе, но и у наиболее передовых представителей класса феодалов. Военные походы русских, которые были «при умных дедех наших, при добрых и при блаженых отцих наших», вспоминал Владимир Мономах в своем послании к Олегу Святославичу.[1] О Владимире I Святославиче в связи с его походами на врагов Руси вспоминал и автор «Слова о полку Игореве»: «Того стараго Владимира[2] нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевь-

[1] Повесть временных лет под 1096 г.

[2] О том, что в «старом Владимире» нужно видеть не Владимира Мономаха, а Владимира I Святославича, см.: сб. «Слово о полку Игореве», под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950, стр. 10 и сл.

скымъ». И характерно, что вспоминая Владимира, автор «Слова» противопоставляет его в дальнейших строках современным ему князьям «крамольникам»: «... сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии — Давидовы, нъ розно ся имъ хоботы пашутъ». Автор «Слова» имел поэтому реальное основание воскликнуть: «О, стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвыхъ князей!». О Владимире I Святославиче вспоминает в дальнейшем и летопись, каждый раз отмечая его далекие походы на врагов Русской земли. Говоря о походе Даниила в Польшу, летописец замечает, что он возвратился «со славою в землю свою: иный бо князь не входил бе в землю Лядьску толь глубоко, проче Володимера великаго, иже бе землю крестил».[1]

То же самое говорит летописец и о походе Даниила в Чешскую землю. Даниил ходил на Чехию и ради короля венгерского и ради личной славы: «Не бе бо в земле Русцей первее, иже бе воевал землю Чешьску, ни Святослав хоробры, ни Володимер Святый».[2] Походы Владимира выступают, таким образом, в летописи как своеобразное мерило дальности походов на врагов вообще. Характерно при этом, что летописец вспоминает Владимира каждый раз тогда, когда говорит о славе этих походов. Он имеет, следовательно, в виду ту славу, походов Владимира, которая была в народе. Летописец сопоставляет даже не самые походы Даниила с походами Владимира, а славу походов того и другого.

Вот почему в XII—XIII вв. Владимир продолжает выступать в народном сознании как положительный эпический образ. Только вокруг положительного образа Владимира могли быть собраны в эпосе русские богатыри, а самое время Владимира стать «эпическим временем» — обобщенным образом времени единства и независимости Руси.

Впоследствии, в XVI—XVII вв., когда конец феодальной раздробленности Руси стал очевиден и тема противопоставления прошлого единства Руси настоящей ее раздробленности на отдельные феодальные «полугосударства» потеряла свою силу, на Владимира Святославича стали наслаиваться отрицательные черты — жадность, трусость и др. Народное сознание перестало выделять Владимира из среды других князей и отношение к нему стало таким же, как и к большинству князей вообще — классово враждебным.[3] Пока же отрицательное отношение к князьям-

[1] Ипатьевская летопись под 1229 г.

[2] Там же, под 1254 г.

[3] Следует оговориться, что отношение народа к сильной княжеской власти не было враждебным: уже в XII—XIII вв. на Руси определился союз великокняжеской власти с «революционными» элементами города и

современникам требовало противопоставления им образа «хорошего» князя в прошлом. В этом сказалась ограниченность крестьянского мировоззрения, — та ограниченность, которая впоследствии ярко сказалась и в царистской психологии масс.

Донесенные до нас летописью обрывки суждений народа о Владимире Святославиче показывают, что народное отношение к нему было положительным, но это положительное отношение всегда диктовалось противопоставлением Владимира князьям-современникам. Эту мысль очень хорошо выразил Н. А. Добролюбов. Говоря об эпических песнях, посвященных Владимиру I Святославичу, Н. А. Добролюбов отмечает: «Возбуждалась любовь к этим песням, конечно, горьким чувством при взгляде на современный порядок вещей. При нашествии народа неведомого, ожидания всех обратились, разумеется, к князьям: они, которые так часто водили свой народ на битву с своими, должны были теперь защищать родную землю от чужих. Но оказалось, что князья истощили свои силы в удельных междоусобиях и вовсе не умели оказать энергического противодействия страшным неприятелям. Он невольно сравнивал нынешние события с преданиями о временах давно минувших и грустно запел про славных могучих богатырей, окружавших князя Владимира. Песня эта была сначала горьким упреком настоящему, а потом, доставляя народу забвение и даже утешение, стала увлекать его и заставляла применять прежние события к современному течению. Таким образом, богатырей владимировых заставили сражаться с татарами, и самого Владимира сделали данником „грозного короля Золотой Орды Этмануйла Этмануйловича“. Дальнейшие искажения объясняются также легко: в живой действительности народ не видел никакого средства управиться со своими поработителями и должен был безмолвно склониться перед их силой. Но тяжела ему была эта покорность и он не оставлял мечты о средствах освобождения».[1] Эти слова Н. А. Добролюбова относятся к народному творчеству времени татаро-монгольского ига, но они в известной мере применимы уже и к тому времени, когда раздробленная и раздираемая кня-

---

деревни, с прогрессивными силами, образовавшимися под поверхностью феодализма. Этот союз в Западной Европе, где место великокняжеской власти занимала власть королевская, ведет свое начало от X в. (об этом союзе см.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 445). Народ поддерживал сильную великокняжескую власть, поскольку она вносила порядок в феодальный беспорядок княжеских усобиц, давала защиту от нападений внешних врагов, однако социальная политика великокняжеской власти оставалась глубоко враждебной народу.

[1] Н. А. Добролюбов. О степени участия народности в развитии русской литературы. Полн. собр. соч., т. I, М., 1934, стр. 216.

жескими усобицами Русь испытывала жесточайший напор половцев.

Надо, однако, сказать, что положительное отношение народа к Владимиру в XII—XIII вв. следует понимать со многими, довольно большими ограничениями. Владимир был положительным лицом лишь постольку, поскольку он символизировал собою время единства Руси, «эпическое время». Положительное отношение к Владимиру не переходило в его идеализацию. Народ никогда не равнял его со своими богатырями. Только богатыри были выразителями народных идеалов. Владимир не был богатырем, — он сам не сражался с врагами Руси, он был пассивен, служил пассивным центром объединения богатырей. До известной степени Владимир все же оставался представителем чуждого народу начала. Это «хороший» князь, но все же князь. Вот почему, противостоя в сознании народа XII—XIII вв., князьям-современникам, Владимир тем не менее, в конце концов, в XVI—XVII вв. смешался с этими князьями. Его пассивность обратилась в трусость; его некоторая отчужденность богатырям стала враждебностью к ним и т. д. Отрицательный образ Владимира XVI—XVII вв. органически вырос из того условно «положительного» образа Владимира, который был столь характерен для русского былевого эпоса XII—XIII вв.

*

Итак, русский былевой эпос не только отразил в себе отдельные исторические события или отдельных исторических лиц. Былины частично воспроизводят самые социальные отношения глубокой древности, переносят их в обстановку Киевской Руси. Они переносят нас в своеобразное, воображаемое «эпическое время», в котором князь и его богатыри, богатыри и народ не разобщены еще непроницаемой стеной, в котором богатырь как представитель народа может совершать подвиги, восстанавливать справедливость, давать суровые уроки князю и боярам.

Социальные отношения «эпического времени» позволяли народу в образе эпических богатырей увидеть себя сильным, вершащим судьбой государства, защищающим это государство, поражающим врагов. Однако «эпическое время», «эпические социальные отношения», отложившиеся в былинах, не были результатом простого отражения в былинах исторической действительности X—XI вв. Если бы мы только так смотрели на пережитки исторических данных в русском былевом эпосе, мы повторили бы на более широком материале ошибки «исторической школы». Дело в том, что социальные отношения «эпического времени» не столько отвечали реальной действительности

X—XI вв., сколько в известной мере отвечали стремлениям народа выразить в своем творчестве желаемое, чаемое и ожидаемое, отвечали стремлениям к лучшему будущему.

Так «эпическое время» — время действия былин киевского цикла, хотя и сознавалось народом как эпоха Владимира Святославича, не во всем совпадало и не могло совпадать с особенностями жизни этого времени. Однако это различие было обусловлено не искажениями народной памяти, не забывчивостью, а стремлением народа создать картину желаемых социальных отношений, где основную роль играет народ в лице его лучших представителей.

Вместе с тем, «эпическое время» не рисовало социальной утопии, «золотого века» для трудового народа. В Киевской Руси, народ видел и социальную несправедливость, и «бояр кособрюхих», и «Соловьев-разбойников», не забывал и о нападениях степных врагов Руси. Киевская Русь — «эпическое время» русских былин — в сознании народа отнюдь не век социального и материального благополучия. Нет, «эпическое время» — это прежде всего время богатырских возможностей. Это время богатырских подвигов, время, когда народ восстанавливает справедливость, устанавливает свое благополучие, обороняет родину. Это прежде всего время деятельности. В былинах выражена мечта не о простой справедливости, а о восстановлении справедливости руками самого народа, его представителей — богатырей. Поэтому-то былины имели огромное воспитывающее значение, пробуждая народную активность, энергию.

К числу былин, отразивших в своем составе сюжеты, восходящие еще к XI в., бесспорно относятся две — «Добрыня сват» и «Добрыня и змей».

В образе Добрыни народ отразил мечту о собственном участии в государственных делах Руси.

Исторический Добрыня — прототип былинного Добрыни был родственником Владимира I Святославича — его дядей по матери. Как известно, Владимир был «робичичем» по матери. Мать Владимира — Малуша — была ключницей княгини Ольги. Из-за этой-то матери Владимира — Малуши — за него не захотела выйти замуж гордая полоцкая княжна Рогнеда. Рогнеда заявила свату Владимира — Добрыне: «Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю».[1] Народ отрицательно отнесся к гордой полоцкой княжне, а брата Малуши и дядю Владимира — Добрыню сделал своим героем. Героем Добрыня стал именно потому, что был дружинником из народа, а вместе с тем и род-

[1] Лаврентьевская летопись под 1128 г

ственником Владимира. Он как бы представлял участие народа в строительстве Русского государства.

Уже древнейшие предания, записанные в летописи, подчеркивают родство Добрыни и Владимира и его активную роль в государственной жизни Руси.

Под 970 г. рассказывается о том, как пришли к Святославу Игоревичу новгородцы, прося себе князя: «Аще не поидете к нам, то налезем князя собе». Сыновья Святослава — Ярополк и Олег — отказались от новгородского княжения. Тогда выступил Добрыня и сказал: «Просите Володимера». Новгородцы поступили по совету Добрыни и взяли себе князем Владимира — «робичича».

Следующее предание, связанное с Добрыней, помещено в летописи под 980 г.: это известный рассказ о сватовстве Владимира к Рогнеде. В рассказе этом Добрыня отсутствует, однако под 1128 г. рассказ этот с некоторыми изменениями повторяется в Лаврентьевской летописи и здесь в активной роли выступает Добрыня — «храбор и наряден мужь». Рогнеда претерпевает жестокую месть за насмешку над происхождением Владимира, а сам Владимир оказывается удачливее своего более высокого брата — Ярополка.

Под тем же 980 г. летопись кратко занесла и еще одно предание о Добрыне: «Володимер же посади Добрыну, уя своего, в Новегороде; и пришед Добрына Ноугороду, постави кумира над рекою Волховом, и жеряху ему людье ноугородьстии аки богу». Здесь вновь упомянуто, что Добрыня приходится родней Владимиру.

Наконец, под 985 г. рассказывается предание о походе Владимира «с усем своим» на болгар. Владимир победил болгар, но Добрыня сказал Владимиру: «Съглядах колодник, оже суть вси в сапозех; сим дани не даяти, пойдем искат лапотников». Владимир заключил с болгарами мир. Вновь в активной роли выступает Добрыня, покровительственно относящийся к пассивному Владимиру. Рассказ этот, очевидно, имел и какое-то продолжение, но оно, повидимому, не было включено в летопись.

Былинный Добрыня Никитич имеет много общего с летописным Добрыней. Его роль при князе Владимире почти такая же. Добрыня и в былинах, и в летописи занимается сбором дани с соседних народов. Как в летописном предании о хозарах,[1] в былинах Добрыня заставляет платить киевскому князю дань даже те народы, которые раньше сами собирали дань на Руси. Так и в былинах Добрыня вместо того, чтобы отвезти дань

[1] Лаврентьевская летопись под 985 г.

Идолищу, сам собирает ее и привозит Владимиру. Вместе с тем былины подчеркивают родство Добрыни и Владимира, подобно тому, как это делает и летопись. В былинах Добрыня «племянник» Владимира, т. е. его родственник «соплеменник» (старое народное значение слова «племянник» означает дальнего родственника).

Из предыдущего нельзя делать заключения будто бы конкретные исторические события вообще не отразились в эпосе. Эпос сохранил и отдельные исторические факты, если только эти факты могли быть отобраны как типичные народным художественным сознанием.

К числу былинных сюжетов, возникших еще в XI в. на основе конкретных фактов истории, принадлежит известный сюжет о сватовстве Добрыней невесты для Владимира.

Сюжет этот в своем наиболее распространенном виде следующий. На пиру князь Владимир жалуется:

Все на пиру поженены,
Один я князь не женатый есть.[1]

Добыть Владимиру невесту вызывается «удалый добрый молодец» Дунай Иванович. Дунай указывает Владимиру на младшую дочь литовского короля — Опраксу королевичну. Эта Опракса королевична «все при доме живет»:

Она ростом высокая
Станом она становитая
И лицом она красовитая,
Походка у ней часта и речь баска,
Будет тебе князю с кем жить да быть,
Дума думати, долгие веки коротати.

Речи Дуная «слюбилися» князю Владимиру. Владимир предлагает Дунаю 40 тысяч силы и 10 тысяч казны, но Дунай отказывается и от войска, и от казны, а просит себе в сотоварищи Добрыню Никитича. Владимир согласился, и вот Добрыня и Дунай приезжают к литовскому королю. Дунай оставляет Добрыню на дворе, а сам идет в королевские палаты. Король рад приезду Дуная, который служил у него перед тем три года, но на сватовство Дуная к младшей дочери страшно разгневался:

Не за свое дело взялся — за бездельице:
Меньшую дочь ты просватываешь,
А большую дочь чем засадил?

Король велит бросить Дуная «во глубок погреб». Дунай встал на «резвы ноги», оперся руками на дубовый стол, тут:

[1] А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. II, № 94. Дальнейшее изложение сюжета и цитаты по этой былине.

Столы дубовые раскрятались,
Питья на столах проливалися,
Вся посуда рассыпалася,
Все татаровья испужалися.

Прибежали в это время и слуги со двора, — говорят, что Добрыня перебил на дворе всю королевскую силу. Напуганный король соглашается отдать дочь за Владимира. Дунай и Добрыня едут домой с Опраксой королевичной и в пути ночуют в палатке. Утром Дунай видит в поле богатырский след и пускается догонять неизвестного богатыря, а Опраксу поручает отвезти в Киев Добрыне.

Дунай догоняет неизвестного богатыря, побеждает его и узнает в нем старшую дочь литовского короля — Настасью. Дунай едет с нею в Киев, где сразу и празднуются две свадьбы — Владимира и Дуная.

Меньша сестрица венчается,
Большая сестрица к венцу пришла.

Кончается былина тем, что Дунай и Настасья состязаются в стрельбе из лука; Настасья побеждает Дуная, и Дунай убивает Настасью; затем Дунай вынимает из «черева» убитой Настасьи чудного младенца:

По колен ножки-то в серебре,
По локоть руки-то в золоте,
По косицам частыя звездочки,
А во теми печет красно солнышко.

Раскаиваясь в убийстве Настасьи и сына, Дунай сам накладывает на себя руки.

Где пала Дунаева головушка,
Протекала речка Дунай река,
А где пала Настасьина головушка,
Протекала речка Настасья река.

Исследователи справедливо указывали на то, что в этой былине слиты, по существу, два сюжета: Добрыня приводит невесту Владимиру, и Дунай женится на Настасье паленице. Первый сюжет несомненно восходит к XI в., а второй, может быть, и более ранний.

Летопись сохранила нам два рассказа о сватовстве Владимира к полоцкой княжне Рогнеде, имеющие кое-какие общие черты с былинным сюжетом о сватовстве Владимира. Оба летописных рассказа составлены на основании устных рассказов и отражают два этапа в развитии одного и того же сюжета.

Первый рассказ занесен в «Повесть временных лет» под 980 г. на основании повествования Яна Вышатича или его отца Вышаты. Второй рассказ, значительно более содержательный,

попал в Лаврентьевскую летопись под 1128 г. из народных преданий, как об этом заявил и сам летописец («яко сказаша ведущии преж»). Оба рассказа отражают различные этапы в сложении одного и того же сюжета.

Первый рассказ летописи повествует о том, как Владимир, сев в Новгороде, послал в Полоцк к Рогволоду отроков своих со словами: «Хочю пояти дщерь твою собе жене». Рогволод спросил Рогнеду. Рогнеда ответила: «Не хочю розути робичича, но Ярополка хочю». Сваты-отроки поведали Владимиру «всю речь Рогнедину». Владимир собрал воинов многих — новгородских словен, чудь, кривичей, варягов — и пошел походом на Рогволода. Как раз в это время хотели вести Рогнеду за Ярополка. Владимир убил Рогволода с сыновьями, а Рогнеду взял насильно в жены.

В Лаврентьевской летописи под 1128 г. рассказ этот более подробен. Владимир в Новгороде еще «детеск». Сватом Владимира выступает Добрыня — «храбор и наряден мужь». Услышав гордые речи Рогнеды, Владимир жалуется Добрыне. Владимир и Добрыня подступают к Полоцку, берут его приступом, захватывают и Рогволода со всей семьей. Добрыня «поносит» Рогволода и Рогнеду, называет последнюю «робичицей» и приказывает Владимиру «быти с нею пред отцемь ея и матерью». Затем Добрыня убивает родителей Рогнеды, а самую Рогнеду отдает в жены Владимиру и называет ее Гориславой. Затем под тем же 1128 г. следует продолжение рассказа о Рогнеде, в котором одним из главных действующих лиц выступает ее малолетний сын от Владимира — Изяслав.

Оба летописных рассказа близки нашему сюжету о сватовстве Дуная к Опраксе и представляют, повидимому, различные этапы в развитии одного и того же предания.

Мотив неродовитости Владимира как причина отказа ему снят в былине.[1] Литовский король гневается на Дуная за то, что он сватает его младшую дочь в обход старшей. Сама невеста Владимиру не отказывает. Однако в полной силе остается другой мотив: Добрыня (или Дунай) руководствуют Владимиром даже в его личной жизни. Добрыня силой добывает Владимиру невесту.

Второй из слитых в этой былине сюжетов: Дунай и Настасья, с одной стороны, связан с дофеодальным сюжетом о женитьбе богатыря на женщине богатырке — паленице,

[1] Впрочем, поздний вариант, записанный А. Д. Григорьевым, сохраняет тот же мотив отказа Владимиру, что и в летописи: «Да как ваш-от князь не велик собой»; «А князь-от Володимир да быв холопицо».

а с другой, — заключает в себе элементы топонимической легенды (происхождение названия реки Дуная).

Оба этих древних сюжета слились, повидимому, очень рано. К этому были основания не механические, а художественные и идейные. В названии Владимира «робичичем» нельзя не усмотреть обиды не только для Владимира, но и для народа. И гордость Рогнеды, и поведение Владимира не вязались с народными представлениями о Владимире и о его жене. Отказ Владимиру был вложен в уста самого Рогволода, а причиной отказа сделан обычный бытовой мотив: нельзя отдавать замуж младшую дочь раньше старшей. Появление другой, старшей дочери и необходимость ответить на вопрос о ее судьбе притянуло второй сюжет — сюжет о женитьбе сотоварища Добрыни, Дуная. Любопытно, что мотив добывания невесты силой, который имелся еще в народных преданиях XI в. о женитьбе Владимира, в былинах сохранился в этом втором сюжете — о женитьбе Дуная.

Несомненно к XI в. восходит и былинный сюжет — «Добрыня и змей».

Собственно один из основных образов этой былины — змей — генетически восходит еще к доклассовому фольклору. Однако и самый сюжет, и образ богатыря Добрыни, как и самое «эпическое время» богатырства киевского, с которым былина тесно связана, — не старше времени княжения Владимира.

Добрыня собирается ехать на Пучай-реку. Мать Добрыни наказывает ему — или не купаться в Пучай-реке в третьей струе, или не купаться в ней в большую жару. Добрыня едет к Пучай-реке и нарушает запрет матери. Внезапно на Добрыню налетает змей. Добрыне нечем сражаться со змеем. Тогда он берет свою «шляпу земли греческой» и ею побеждает змея. Побежденный змей просит Добрыню:

Ах ты молодой Добрыня сын Микитинич!
Не придай ты мне смерти напрасныи,
Не придай ты моей крови бесповинныи.
А не буду я летать да по святой Руси,
А не буду я пленить больше богатырей,
А не буду я давить да молодыих жон,
А не буду сиротать да малыих детушек.[1]

Добрыня верит змею и отпускает его. На обратном пути Добрыня видит, что змей несет «княженецкую дочь». В Киеве у князя Владимира Добрыня узнает, что змей, действительно, похитил «княженецкую дочь». Добрыня берется ее спасти, едет

[1] А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. I, № 59.

к жилищу змея, побеждает его и выпускает из пещер русский полон и «княженецкую дочь».

Таков в общих чертах основной сюжетный костяк былин о Добрыне и змее.

Некоторые представители «исторической школы» видели в этом сюжете отражение событий крещения Руси. При этом указывалось, что название Пучай-реки напоминает название киевской речки Почайны, недалеко от устья которой якобы крестились в Днепре киевляне. Указывалось и на то, что в Степенной книге и в так называемой Якимовской летописи, которой пользовался В. Н. Татищев, Добрыне приписывалось крещение Новгорода. В. Н. Татищев, передавая это известие, привел и народную поговорку: «Путята крести мечом, а Добрыня огнем». Наконец указывалось и на новгородское предание о «змияке Перюне», в котором древнерусский языческий бог Перун выступает в качестве змия-женского насильника.

Искусственность такого рода подбора сопоставлений очевидна: ведь крещение киевлян совершилось все-таки не в Почайне, а в Днепре; сведения о Добрыне — «крестителе» восходят к очень позднему и очень недоброкачественному источнику; новгородское предание произвольно объединяется в этих сопоставлениях с киевскими событиями и т. д. Кроме того, целый ряд устойчивых деталей сюжета «Добрыня и змей» никак не подходят к картине крещения Руси: не Добрыня нападает на змея, а змей первый нападает на Добрыню; Добрыня дважды бьется со змеем; змей обманывает Добрыню, он живет вне Русской земли и уносит к себе русский полон, который затем освобождает Добрыня, возвращая его на Русь.

Кроме того, если бы былина эта изображала именно крещение, это значило бы, что народ идеализировал и одобрил собственное крещение «огнем и мечом». Между тем, мы знаем, что и в Новгороде, где согласно Якимовской летописи Добрыня крестил «мечом», и в других местах введение христианства и отмена язычества были встречены народом враждебно.

Было бы более естественно видеть в змее внешнего врага, чем символ одолевавшего Русь язычества. Действительно, змей как символ именно внешнего врага зафиксирован для древней Руси в одной из миниатюр Радзивиловской летописи. В ней на л. 155 изображена победа русских войск на реке Сальнице 1112 г.: передовой всадник войска копьем пронзает змея. Это предположение о том, что в былинном змее следует видеть внешнего врага Руси, подтверждается тем, что Добрыня освобождает после победы над змеем захваченный им русский полон. Змей — обобщенный образ врагов Русской земли. Вряд ли

в этом сюжете мы должны видеть непременно то или иное конкретное историческое событие. Историческая основа этого сюжета — в правильном, исторически точном изображении роли Добрыни в борьбе со степными народами. Добрыня первый подвергается нападению, он побеждает врага, но отпускает его, веря его слову; он убивает его только после того, как убеждается в его коварстве. Добрыня — этот представитель народа при дворе князя — оказывается благородным победителем, освободителем русского народа, защитником «княженецкой дочери» — Марии Дивовны или Запавы Путятичны. В этом главное.

Если же бы мы предположили вслед за представителями «исторической школы», что в основе сюжета «Добрыня и змей» лежат события крещения новгородцев Добрыней, мы должны были бы согласиться и с другими выводами «исторической школы»: народ механически, бессознательно хранит в своей памяти факты прошлого; сюжет этой былины дошел до нас якобы в крайне испорченном виде, в котором эти факты прошлого искажены до неузнаваемости. В самом деле, согласившись с трактовкой этого сюжета «исторической школой», мы должны были бы предположить либо, что факт крещения Руси, отраженный в нем, давно забылся народом, либо, что это крещение представляется народом в до крайности искаженном виде. Ни того, ни другого, очевидно, нет. Сюжет былины «Добрыня и змей» — не искаженное веками и механической народной памятью отражение единичного исторического факта, а художественное обобщение, в котором запечатлелась одна из сторон деятельности любимого народом героя — Добрыни.

Это художественное обобщение возникло еще очень давно: за это говорит древний образ змея, генетически восходящий еще к дофеодальному обществу. Именно в этом образе змея (не христианского змея соблазнителя, дьявола, а дохристианского змея похитителя и насильника) видим мы одно из доказательств древности этого сюжета.

Весьма древними чертами отличаются и былины о Вольге и Микуле.

Былина о Вольге и Микуле начинается с чудесного рождения Вольги, с описания того, как Вольге «похотелоси» «много мудрости». Эта «мудрость» состояла в том, чтобы

Щукой-рыбою ходить ему в глубоких морях,
Птицей-соколом летать ему под оболоко,
Серым волком рыскать да по чистыим полям.[1]

[1] А. Ф. Гильфердинг. Онежские былины, т. II, № 156. Дальнейшее изложение сюжета и цитаты по этой былине.

Возмужав, Вольга стал собирать «дружинушку хоробрую» и с нею отправился в «раздольицо чисто поле».

В чистом поле повстречали они чудесного пахаря:

Услыхали во чистом поли оратая,
Как орет в поле оратай посвистывает,
Сошка у оратая поскрипливает,
Омешики по камешкам почиркивают,
Ехали-то день ведь с утра до вечера,
Не могли до оратая доехати.

Не могла дружина Вольги догнать пахаря и во второй день. Только на третий день догнали пахаря Вольга с дружиною.

Былина с любовью описывает богатырскую пахоту, соловую кобылку пахаря, его кленовую сошку и самый наряд богатыря-крестьянина.

Пахарь спрашивает Вольгу, куда он едет. Тот отвечает, что он едет в три своих города за «получкою». Пахарь говорит, что жители тех мест «все разбойнички» и потопят Вольгу в речке Смородине. Пахарь рассказывает, как он сам едва избежал опасности в тех местах. Вольга предлагает пахарю ехать с ним «во товарищах». Пахарь соглашается, выпрягает свою соловую кобылку и едет на ней вместе с дружиной Вольги. Вольга не может на своем коне догнать пахаря. Тут пахарь вспоминает о своей сошке и просит Вольгу:

Как бы сошку из земельки повывернути,
Из омешиков бы земельку повытряхнути,
Да бросить сошку за ракитов куст.

Вольга посылает к сошке сперва пять человек. Те тащат сошку за «обжи», от чего сошка только вертится и глубже зарывается в землю. Послал Вольга затем десять человек, наконец всю дружину, но сошку вытащить они не могут. Тогда возвращается сам оратай, он берет сошку одной рукой и бросает ее за ракитов куст.

Снова поехали Вольга с дружиной и оратай, и снова не могут Вольга с дружиной догнать соловую кобылу оратая. Тогда спрашивает Вольга оратая о цене его кобылы, и затем и самого оратая об его имени и отчестве.

Оратай отвечает об имени не сразу; он сперва дает себе характеристику, описывая свой крестьянский труд, и только после этого сообщает свое имя — Микула Селянинович. Этот ответ Микулы замечателен:

Я как ржи-то напашу да во скирды сложу,
Я во скирды сложу да дома вымолочу,
А я пива наварю да мужичков напою,
А тут станут мужички меня похваливати:
Молодой Микула Селянинович!

Былина заканчивается тем, что Вольга с Микулой благополучно собирают «получку» и Вольга награждает Микулу.

К князю-кудеснику Вольге Всеславьевичу близок и образ Волха Всеславьевича. Возможно, что Вольга Всеславьевич и Волх Всеславьевич одно лицо. Волх родился от волхования — от лютой змеи, и его рождение сопровождалось такими же чудесными предзнаменованиями, как и рождение Вольги. Вырастая, Волх учился такой же «мудрости», как и Вольга: обертываться ясным соколом, серым волком и гнедым туром — золотые рога. Возмужав, Волх, как и Вольга, стал собирать себе дружину. Дружину свою Волх поил и кормил от своей охоты. Охотился же он по ночам, обертываясь серым волком или ясным соколом.

С помощью своего оборотничества Волх разведывает Индийское царство и совершает туда поход со своею дружиною.[1]

Образ Вольги—Волха заключает в себе весьма архаические черты; сборы дружины, находящейся на прокормлении у князя, сборы полюдья, охота — как средство прокормления дружины: все это черты не моложе IX в. Но наиболее архаичной чертой этого образа несомненно является оборотничество, волхование князя Вольги—Волха.

В самом деле образ Вольги — князя-кудесника весьма древний. В основном он имеет свои корни еще в дофеодальном периоде — в ту эпоху, когда, как мы знаем, князь мог быть одновременно и жрецом, «кудесником».[2] У нас немало данных за то, что и многие родоначальники княжеских династий обожествлялись после смерти; им устанавливался культ, их деяния рассматривались как проявление волшебства.

К таким князьям-кудесникам в сравнительно уже позднее время причислялись двое князей — Олег Вещий в X в. и Всеслав

[1] К. Данилов. Древние российские стихотворения. М., 1938, № 6, стр. 32—37.

[2] «При насыпке Черной Могилы, — пишет Б. А. Рыбаков о черниговском кургане IX в., — люди, руководившие погребальным обрядом, не заботились о том, чтобы вытащить наверх (из погребения на верхушку кургана для обозрения при совершении погребального обряда) — все оружие; много оружия они оставили на кострище. Но зато они очень внимательно отнеслись к тому, чтобы богаче представить связь погребенных с культом. Здесь мы видим и два турьих рога, обязательные атрибуты славянских божеств, два жертвенных ножа и, наконец, бронзового идола. Современники покойных дали нам понять, что под насыпью Черной Могилы лежат люди, облеченные правами не только военачальников, но и жрецов, люди, которым могут понадобиться на том свете и ножи для заклания жертв, и священные ритоны для провозглашения благоденствия соплеменникам. Такое сочетание военного и жреческого могло быть только в лице князя» (Б. А. Рыбаков. Древности Чернигова. Материалы и исследования по археологии СССР, № 11, М.—Л., 1949, стр. 34).

Полоцкий во второй половине XI в. Их обоих, а может быть и еще кого-нибудь третьего и соединил в своем образе былинный Вольга.[1] Нет нужды видеть в образе Вольги какого-то определенного князя. Вольга — образ собирательный. Он представляет собой до известной степени «типичное» обобщение, но обобщение очень древнее. Представление о князе-кудеснике совершенно исчезает уже в XII в.

Прозвище Олега «Вещий» ясно указывает нам на то, что современники и потомки видели в нем именно кудесника. Слово «вещий» означает не только «знающий», «ведающий», но несомненно и кудесника. Под 1411 г. в Псковской второй летописи записано, что «псковичи сожгоша 12 жонке вещих». Чародейки назывались еще «вещицами», чары — «веществом». Это древнее значение корня «вещ» сохранилось и в одном из современных значений слова «вещать» — предсказывать. Вот почему летописец, сказав, что Олега прозвали «Вещий», спешит объяснить это тем, что прозвавшие его также были язычниками: «Бяху бо людие погани и невеголоси».

О Всеславе Полоцком имеются более определенные сведения как о князе с его репутацией «чародея». По словам летописца, Всеслав родился «от волхования», всю жизнь носил на своей голове «науз»,[2] из-за чего был «немилостив на кровопролитие». Он был реально связан с реакцией древнерусского язычества 60—70-х годов XI в., вступая в союз с восставшей беднотой городского и сельского, еще языческого, люда. В Полоцком княжестве были еще очень сильны остатки язычества и именно этим следует объяснить появление на политическом горизонте Руси второй половины XI в. столь архаической фигуры князя-кудесника. Вот какую характеристику дает ему уже на основании народных преданий, а возможно и песен, в последней четверти XII в. (т. е. спустя столетие) «Слово о полку Игореве». Всеслав действует «на седьмом», т. е. на последнем, веке языческого бога Трояна. Он рыскает по ночам волком, за одну ночь волком дорыскивает до Тмуторокани. В его «дерзком теле» — вещая душа.

Почему же в народном эпосе создается образ богатыря князя-кудесника? Отметим, что богатырь-князь встречается в народном эпосе единственный раз. Раскрыть эту загадку помогает биография одного из прототипов этого образа богатыря-князя — Всеслава Полоцкого.

---

[1] Об отражении в образе Вольги князя Олега Вещего см.: М. Е. Халанский. К истории поэтических сказаний об Олеге Вещем. ЖМНП, 1903, XI.

[2] Повесть временных лет под 1044 г.

Всеслав Полоцкий теснейшим образом связал себя с движением смердов, которым воспользовался, правда, в своих целях. Всеслав Полоцкий действовал в обстановке поднявшихся восстаний смердов в Киеве, в Новгороде, на Белоозере, — восстаний, сомкнувшихся с движением волхвов, с реакцией древнерусского язычества.

Насколько известно, Всеслав никогда не пытался противопоставить себя вечу. Это особенно ясно определилось в 1068 г., когда Всеслав Полоцкий был освобожден в Киеве из поруба восставшими киевлянами и посажен ими на киевском столе. Но и осаждая Новгород, Всеслав стремится опереться на сельское население — «вожан».[1]

Именно это положение, очевидно, и выделило его в народном творчестве как одного из прототипов единственно активного князя богатыря русского эпоса — Вольги Всеславьевича. Вот почему и «Слово о полку Игореве» зафиксировало уже в последней четверти XII в. различные народные эпические предания о Всеславе Полоцком, воспроизводя его народную характеристику.

Отсюда ясно, что образ князя богатыря Вольги Всеславьевича мог создаться только в крестьянской среде. Отсюда ясно и то, почему Вольга Всеславьевич действует в союзе с Микулой Селяниновичем, оказывающимся в конечном счете сильнее Вольги.

Образ богатыря-крестьянина Микулы Селяниновича принадлежит к одному из самых сильных в русском былевом эпосе.

Крестьянский труд в X—XI вв. преобразил огромные пространства Русской равнины, создал материальные основы для социального прогресса и образования древнерусского раннефеодального государства. В образе Микулы народ воплотил самого себя. В этом образе выразилось самосознание трудового крестьянства. Оно рисуется свободным и богатым, с дорогой сошкой и с дорогой лошадью. Крестьянин оказывается сильнее княжеских дружинников, его конь — быстрее коней князя. Перед нами не столько реальное, сколько идеальное представление о крестьянине. В образе Микулы выразились надежды народа и его чаяния.

Совершенно неправильно пытался истолковать образ Микулы Селяниновича Вс. Миллер, писавший о его якобы противоречивости: «С одной стороны, Микула Селянинович с любовью говорит о своем труде и о почете от мужиков, которых он угощает

---

[1] Связь Всеслава Полоцкого с движением смердов и с реакцией язычества выявлена в работе Н. Н. Воронина: Восстания смердов в XI в. Исторический журнал, 1940, № 2.

и которые его за это величают, с другой — при первом приглашении Владимирова племянника Вольги ехать с ним в города за получкой дани для князя, бросает свое обычное занятие, повидимому, навсегда (так как в некоторых вариантах прощается с сохою), и едет с княжичем собирать дань с мужиков». «Народ, — пишет дальше Вс. Миллер, — создав образ чудесного пахаря, вовсе не подумал об идеализации своего крестьянского тяжелого труда, не провел той идеи, что крестьянин должен прилепиться к матери сырой земле, что в этом его единственное благо, а допускает с легким сердцем своего „представителя" покинуть тяжелый земледельческий труд и поступить в дружину князя. . .».[1]

Мы видели выше, что переход крестьянина в княжескую дружину был типичным для периода военной демократии и отчасти продолжал совершаться во времена образования древнерусского раннефеодального государства X—начала XI вв. Народ ценил свое участие в делах государства, в его обороне, и воспоминание об этом своем участии прочно сохранял и в те времена, когда дружина и высшие должности в государстве были накрепко для него закрыты.

При дворе князя, в его дружине появляется не один Микула, там же принят и крестьянский сын Илья Муромец, и Михаил Казаренин, и Алеша Попович и многие другие. Даже Добрыня Никитич, «племянник» Владимира, брат рабыни, поднялся из народа. То же самое видим мы и в тех элементах народного творчества, которые оказались сохраненными для нас летописью. В разобранном нами выше предании об основании Переяславля юноша-кожемяка, простой ремесленник, принят за свой подвиг в дружину князя и князь Владимир делает его «большим мужем», «вельможей».

Мы далеко не исчерпали те былинные сюжеты, которые могут быть возведены ко времени древнерусского раннефеодального государства. Мы остановились только на наиболее типичных. Былевой эпос киевского цикла был уже достаточно богат в первой половине XI в. Он становился с течением веков все богаче и богаче, пополняясь новыми сюжетами.

Ко времени древнерусского раннефеодального государства частично восходят сюжеты былин о Соловье Будимировиче, частично о Соловье-разбойнике (хотя образ богатыря Ильи Муромца и не старше второй половины XI в.), частично об Алеше и Тугарине и др.

*

[1] Вс. Миллер. Очерки русской народной словесности, т. I. М., 1897, стр. 178—179.

X век—первая половина XI в. были несомненно временем успешного роста народного устного творчества как художественного творчества. Выше уже было отмечено начавшееся постепенное освобождение устного творчества от элементов языческого культа. Это освобождение идет параллельно с усилением в народном творчестве элементов художественного обобщения, образности, как и элементов исторического отношения к прошлому. Действительно, если в предшествующий период славы (хвалебные песни) умершим князьям, исполнявшиеся во время тризны по ним на могильниках, носили по преимуществу культовый характер, связанный с выполнением определенной культовой обрядности, то теперь, когда тризны по князьям отходят в прошлое, славы в честь князей не прекращаются. В них усиливаются исторические и художественные моменты. Славы приближаются по своему характеру к историческим песням. Самые образы воспеваемых князей прошлого, после того как певцы получили большую свободу творчества, оторвавшись от культа, становятся более рельефными. Возникает художественное обобщение. Это обобщение еще прочно прикреплено к конкретному историческому лицу, но в нем уже имеются элементы типичного, — черты, характерные для эпохи, для Руси, для русского народа.

Олег, Игорь, Святослав — это не просто предки нынешних князей, чья память чтится в потомстве, это — «умные отцы и деды»,[1] которые «стяжали» землю нашу «трудом великим и храбрьствомь, побарающе по Русьскей земли».[2] Следовательно, в народе уже отстоялись первые обобщающие образы русских князей. Их создание было делом не только художественного творчества, но и исторического сознания.

Князь Олег и князь Игорь побеждают врагов силой и хитростью. Князь Святослав отличен и от Олега и от Игоря своим суровым образом жизни, прямотою и бесстрашием. Образы князей индивидуализируются в народном сознании. «Мудрейшая» из всех людей Ольга выступает в народном предании с чертами своего характера, князь Мстислав храбрый — с чертами своего.

Очень трудный вопрос — это вопрос о стихотворной форме исторического эпоса X—XI вв. В самом деле, каким материалом обладаем мы для решения этого вопроса? Записи былин XVII—XX вв., само собой разумеется, дают нам представление только о художественной форме эпоса XVII—XX вв. Реконструировать как-либо на их основе художественную форму исторического

[1] Слова Владимира Мономаха, Лаврентьевская летопись под 1096 г.
[2] Слова киевлян, обращенные к Владимиру Мономаху, Лаврентьевская летопись под 1097 г.

эпоса X—XI вв. было бы невозможным. Отражения исторического эпоса в письменности XI—XII вв. дают лишь некоторое представление о его содержании, но очень мало для суждения о его форме.

Мы знаем, что отдельные исторические имена, факты и самая система социальных отношений, отложившиеся в былинах, восходят ко времени не позднее первой половины XI в., но это еще не дает нам права считать, что и самые былины, в том их виде, в каком они дошли до нас по позднейшим записям, существовали уже в X—первой половине XI в. Историческая основа былин позднейшей записи позволяет нам говорить только о преемственности былин от сильно развитого эпоса древнерусского раннефеодального государства. Мы же знаем, что представление о неподвижности, косности и извечности фольклорных форм, привитые буржуазной науке утверждениями об отсутствии творческих начал в народе, — решительно неправильны и классово тенденциозны.

Попытки некоторых исследователей наблюсти элементы стихотворной формы в летописных рассказах, опирающихся на фольклорную основу, не выходят за пределы самых шатких гипотез.

Однако кое-каким материалом для решения этого вопроса мы все же обладаем. Мы не можем с уверенностью сказать, был ли весь исторический эпос X—XI вв. стихотворным, но что он был им хотя бы частично — в этом мы не можем сомневаться. Материал для суждения об этом представляет нам памятник второй половины XII в. — «Слово о полку Игореве». В «Слове», как известно, говорится о певце XI в. — Бояне.

Боян пел песни — «славы» русским князьям: старому Ярославу, храброму Мстиславу, красному Роману Святославичу. Едва ли, однако, приходится сомневаться в том, что в этих песнях заключалось и историческое содержание. Его песнь в честь Мстислава Храброго упоминала о его единоборстве с Редедею в Тьмуторокани: «Храброму Мстиславу, иже зарѣза Редедю пред пълки касожьскыми».

Боян пел свои песни под аккомпанимент струнного инструмента, — как предполагают исследователи, — гуслей.[1] Замечательно, что Боян был не только передатчиком старых песен, старых исторических преданий (как современник Олега Святославича, он, конечно, пел песнь «старому Ярославу», на основании уже имевшихся песен или преданий), но и их творцом.

[1] Д. В. Айналов. На каком инструменте играл Боян. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, IV, М.—Л., 1940.

Автор «Слова о полку Игореве» говорит о Бояне именно как о творце («аще кому хотяше пѣснь творити, то растѣкашется мыслию по древу, сѣрымъ вълкомъ по земли, шизымъ орломъ под облакы», «О Бояне, соловию стараго времени! Абы ты сна плъкы ущекоталъ, скача, славию, по мыслену древу, летая умомъ подъ облакы, свивая славы оба полы сего времени. . .»).

Несомненно, однако, что в песнях Бояна исторический элемент не был единственным. Цель песней Бояна не в том только, чтобы сохранить память об историческом прошлом, но и в том, чтобы «воспеть», прославить героя, возвеличить его. Перед нами, таким образом, довольно ясно вырисовывается один из видов исторической поэзии: поэзии дружинной, которую мы не можем назвать ненародной, поскольку дружина в X—XI вв. еще сохраняла свои связи с народом, принимала пришлый элемент.

Дружинные песни лежали в основе многих исторических рассказов летописи. Замечательно, однако, что эти дружинные песни, легшие в основу летописных рассказов, имеют существенные отличия от современных былин. Если в былинах герой-богатырь заслоняет собою дружину, то в рассказах летописи, написанных на основании дружинных песен, подлинным героем выступает всегда дружина, и в случае конфликта князя и дружины сочувствие оказывается на стороне дружины. Корни современной былины очевидно не в ней, а в того типа историческом эпосе, который в XI в. был представлен преданием о юноше-кожемяке.

*

Во всех остальных видах устного народного творчества X— начала XI в. ясно определяются те же тенденции, которые мы наблюдали и в историческом эпосе.

Всюду начинает происходить процесс постепенного освобождения от элементов языческого культа. Устное творчество постепенно разделяется в классовом обществе на устное творчество трудового народа и устное творчество феодалов. Подлинное творческое развитие происходит по преимуществу в устном народном творчестве, устное же творчество феодалов начинает постепенно вырождаться, хотя окончательно исчезнет далеко не скоро. Устное же творчество народа растет идеологически, становясь выразителем демократических, освободительных идей, подлинного высокого патриотизма, идеи защиты родины от внешних врагов. С постепенным освобождением народного творчества от его былых связей с культом вырастает удельный вес элементов художественности. Культовые темы, отмирая, уступают место темам высокой идейной и художественной значимости.

Элементы художественности отныне побеждают и занимают доминирующее положение.

Следует, однако, заметить, что процесс этот, с такою четкостью определившийся в историческом эпосе, в других видах устного творчества совершался далеко не равномерно. Одни виды устного творчества обнаруживали свою более тесную связь с культом, другие этой тесной связи не имели и изменялись быстрее. Различно шел этот процесс и в отдельных областях Руси: в центрах государственности быстрее, на окраинах медленнее. Киев и Новгород опережали Белоозеро и Древлянскую землю.

Меньше всего подвергались изменениям мифы древнерусского язычества — лишь постепенно отмиравшие, но мало менявшиеся по существу.

Под 1071 г. ростовские волхвы рассказывали Яну Вышатичу миф о сотворении человека: «Бог мывъся в мовници и вспотивъся, отерся вехтем, и верже с небесе на землю». Вокруг этого «вехтя» завязался спор сатаны с богом — кому из них сделать из него человека. Дьявол сотворил человеческое тело, а бог душу. Вот почему после смерти человека тело идет в землю, а душа к богу.

«Мовница» — баня — это несомненно древняя и характерная деталь мифа. С банями в русских деревнях вплоть до XIX в. было особенно связано почитание предков. О банях как о местах, связанных с языческим культом, мы знаем и из древнерусских исповедальных вопросов. Однако новым в этом мифе являлась, несомненно, его связь с дуалистическими представлениями народного христианства-богумильства. Если отбросить христианскую мифологию в этом мифе (антихрист, сатана, бездна и др.), принадлежащую, конечно, Яну Вышатичу или летописцу, передававшим этот миф, то все же основное в нем — дуалистическое воззрение на создание человека — не могло принадлежать ни Яну, ни монаху-летописцу, а было, действительно, в том самом мифе, который рассказывали волхвы. Этот дуализм, связанный с еретическими воззрениями народного христианства, мог проникнуть в древнерусскую языческую мифологию не ранее X в. Перед нами зачаток двоеверия, но двоеверия своеобразного. Здесь не позднейшее приспособление старых языческих обрядов и верований к официальному христианству, а внесение христианских еретических верований в языческую мифологию, возможно совершившееся еще до официального принятия христианства на Руси.

Мы можем думать, что после принятия христианства старая языческая мифология постепенно отмирала и только частично

переходила в волшебную сказку, становясь явлением целиком художественным.

Меньше других видов фольклора изменился и заговор, доживший без особых изменений до XX в. Причина его устойчивости, повидимому, в его «специальном» характере и узости распространения. Художественная сторона так и осталась в заговоре на втором месте.

Летопись сберегла нам прекрасные образцы заговоров X в. в договорах с греками Игоря и Святослава. «А иже преступить се от страны нашея, ли князь ли ин кто, ли крещен или некрещен, да не имуть помощи от бога, и да будеть раб в весь век в будущий, и да заколен будеть своим оружьем».[1] «Аще ли же кто от князь или от людий руских, ли хрестеян, или не хрестеян, преступить се, еже есть писано на харатьи сей, будеть достоин своим оружьем умерети, и да будеть клят от бога и от Перуна, яко преступи свою клятву».[2]

«Аще ли от тех самех прежереченых не съхраним, аз же и со мною и подо мною, да имеем клятву от бога, в его же веруем в Перуна и в Волоса, скотья бога, и да будем золоти, яко золото, и своим оружьемь да исечены будем».[3]

Мы привели эти длинные выписки, чтобы показать, что традиционная форма заговора в них частично нарушена. Это нарушение произошло потому, что заговор во всех трех вышеприведенных случаях выступает в необычной функции в международных договорах Руси.

Можно думать, что если бы древнерусская языческая религия продолжала сохранять за собой господствующее положение в Русском государстве, выработалась бы особая форма заговоров, употребляемых в русских договорах с иноземцами. Но этого не произошло, и заговоры вернулись в породившую их бытовую обстановку и, перестав быть массовой формой народного творчества, постепенно замкнулись в одних и тех же формулах, почти лишенных развития.

Более существенные изменения произошли в обрядовой поэзии, связанной с календарем и приуроченной к эпизодическим явлениям быта, вроде свадьбы, похорон, тризн, караний и т. п.

Здесь культовый момент ослабевал и в самом обряде и в связанной с ним устной поэзии. Языческие празднества сохранялись не как явления культа, а как явления быта. Магические пляски частично становились плясками развлекательными. Вели-

[1] Повесть временных лет под 945 г.
[2] Там же.
[3] Там же под 971 г.

чания, проводы или встречи богов приобретали элементы народности, становились игрой, зрелищем.

Язычество отмирало далеко не пассивно. Оно еще представлялось народу чем-то очень серьезным; возникали, как борьба с ним, пародии на языческий обряд. Таковы, например, обряды масленичной недели — проводы масленицы или похороны Ярилы. Масленицу изображало соломенное, шутовски наряженное чучело, которое везли на старых дровнях — совсем так, как впоследствии — в конце XV в. — «позоровали» еретиков.

Впоследствии, когда язычество перестало быть реальной силой в народной жизни, этот элемент пародии ослабел. Не ослабевала только игровая сторона всех этих обрядов.

Тотемные образы животных — медведя, волка («лютого зверя»), лошади — становились обычными образами драматизированной игры, всякого рода ряжений. Божество выступает как художественное обобщение какого-нибудь явления природы: весны, лета, осени, зимы, ветров, матери земли и т. д. Самое имя божества становится припевом: коляда, лель, ладо, полель и др.

Простейший пример перехода магических функций обряда в игру — известная игра «А мы просо сеяли» или встречи весны, проводы масленицы и т. д.

Этот процесс перехода культового обряда в обряд-игру начал совершаться, повидимому, еще до официального принятия христианства как государственной религии Руси, представляя собой естественное следствие разложения религии дофеодального общества. Вот почему летописец называет эти обрядовые сборы «игрищами», не отмечая в них ни кумирослужения, ни их антихристианского характера: «Схожахуся на игрища, на плясанье и на вся бесовьская песни, и ту умыкаху жены собе»; [1] «Видим бо игрища утолочена, и людий много множьство на них, яко упихати начнуть друг друга, позоры деюще от беса замышленаго дела, а церкви стоять». [2] Летописец называет песни бесовскими, но не потому, очевидно, что они носили открыто языческий характер, а потому, что они противоречили церковным аскетическим представлениям. Летописец отмечает, что игрища отвлекают людей от церкви, но не говорит ни об идолах, ни о почитании на этих игрищах бесов.

В новой своей функции старый языческий обряд приобрел устойчивость, сохранившись в иных случаях до самого XX в.

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 15, вводная часть.
[2] Там же, стр. 114, под 1068 г.

Из обрядовой поэзии выделяются отдельные песни, переходящие в состав чисто лирических — любовных, бытовых и т. д.

Самый удельный вес обрядовой поэзии становится постепенно все меньшим соответственно той новой цели, которую, по преимуществу, она начинает иметь.

Сильным изменениям подверглась погребальная причеть. Причеть эта первоначально особенно тесно была связана с древнерусским язычеством. О причетях как о языческой обрядности говорит летопись не только под X и XI вв., но и значительно позднее. Эти погребальные причети были и индивидуальные и коллективные. Когда умер Вещий Олег, — «плакашася по немь людие вси плачемь великимь». «Великим плачемь» плачут «людие вьси» и по Ольге. Узнав о смерти Владимира, плачут по нем «людье бе-щисла». Однако по Василько Теребовльском плачет, как по мертвом, одна только попадья. Индивидуальный плач отмечен в летописи и под 1054 г.: по Ярославе Мудром плачет сын его Всеволод, и под 1078 г.: по Изяславе Ярославиче плачет его сын Ярополк.

Это последний плач тут же приведен в летописи: «Отче, отче мой! Что еси пожил бес печали на свете семь, многы напасти приим от людий и от братья своея? Се же погыбе не от брата, но за брата своего положи главу свою». В этом плаче дается оценка государственной деятельности Изяслава с точки зрения христианской морали. В нем нет ничего языческого. Языческий элемент в плаче полностью вытеснен темой оценки государственной деятельности умершего. Эта широкая государственная тема в погребальных плачах проявлялась, конечно, не во всех случаях и не во всех вытесняла собой элементы язычества. Плачи различаются: когда умер Владимир I Святославич, бояре плакали о нем как о «заступнике их земли», иными словами — оценивали его внешнеполитическую государственную деятельность; бедные же («убозии») плакали о нем как о «заступнике и кормители», внося, очевидно, личный элемент в плач. Этот личный элемент, повидимому, лучше сочетался и с остатками язычества.

Как бы то ни было, вытеснение из погребальных плачей элементов язычества новой историко-государственной темой началось и не замедлило, как эго мы увидим в дальнейшем, сказаться и в письменности.

Никаких прямых следов в письменности XI в. и более позднего времени не оставила нам лирическая песня и сказка. Письменность древней Руси была слишком тесно связана с широкой государственной темой; вот почему эти два вида народного творчества не нашли себе отклика ни в летописи, ни в житийной или

церковно-учительной литературе. Нельзя, однако, думать, что народное творчество этого времени не развивало лирики или сказки. Слишком много лиричности и в летописи, и в житийной литературе, и в церковно-учительной литературе. Близостью к сказке дышат многие исторические предания: предание о белгородском киселе или о четырех мщениях Ольги древлянам.

Летописью засвидетельствовано существование в X—XI вв. поговорок и загадок. Летописец пользуется поговорками как историческим источником. Рассказав о том, как исчезли с лица земли обры, когда-то «примучивавшие» славянское племя дулебов, летописец ссылается в подтверждение на народную поговорку: «И есть притъча в Руси и до сего дне: погибоша аки обре». Объясняет летописец и поговорку, которой Русь дразнила радимичей: «Пищаньци волъчья хвоста бегают». Эта поговорка произошла оттого, — утверждает летописец, — что воевода Владимира Святославича, по прозванию Волчий Хвост победил радимичей на реке Пищане. В подтверждение правильности своего рассказа об осаде города Родни Владимиром Святославичем приводит летописец возникшую в то время поговорку: «Беда аки в Родне». Но не только летописец чувствовал историческую основу приводимых им поговорок. По самой своей сути поговорки эти могли иметь хождение только при условии, что в памяти народа сохранялись какие-то, хотя бы смутные, припоминания о событиях на реке Пищане, в Родне, о «примучивших» дулебов обрах. Развитие исторического сознания сказывалось, следовательно, и в поговорках. «Пословицы и поговорки образцово формируют весь жизненный социально-исторический опыт трудового народа. . .», — писал М. Горький.[1]

Загадка отразилась в летописи в своей наиболее древней форме, не успев еще перейти в область игры. Характерный пример загадки и ее употребления в жизни находим мы в Новгородской первой летописи под 1016 г. Перед битвой у Любеча на Днепре Ярослав тайно послал в лагерь Святополка спросить своего сторонника о возможности сражения. Его слова были облечены в метафорическую форму: «Что ты тому велишь творити? — меду мало варено, а дружины много». На это сторонник Ярослава так отвечал через посланного: «„Рчи тако Ярославу: даче меду мало, а дружины много, да к вечеру въдати". И разуме Ярослав, яко в нощь велить сецися». Загадка здесь используется в качестве тайного языка. Опирается она на обычную народную метафору — «битва-пир», неоднократно за-

[1] М. Горький. О том, как я учился писать. Сб. «О литературе», М., 1937, стр. 221.

свидетельствованную для древней Руси различными памятниками письменности. Загадка служит не только для тайных переговоров, но и для различного рода состязаний в мудрости: с врагами, или же в свадебном обряде — со сватами, с женихом. И в этом случае она обычно построена на знании обычных, общепринятых метафор. Такие загадки в прикровенной форме задает Ольга древлянским послам (см. выше стр. 43—46).

Мы подробно останавливались выше на преданиях о трех мщениях Ольги, сейчас нам важно подчеркнуть только наличие в них загадок в их старом бытовании и старой функции. «Загадочный», метафорический язык служит целям переговоров врагов, переговоров сватов и испытания в «мудрости-хитрости».

*

Кем исполнялись устные народные произведения? В основном, исполнителем произведений устного творчества мог быть любой представитель народа. Сказки, поговорки, пословицы, лирические песни, песни колыбельные не требовали профессиональных исполнителей. Не требовали их, возможно, и некоторые исторические песни, исторические предания. Однако в какой-то части исторические песни исполнялись профессиональными певцами. Одного из таких певцов мы видели выше — Бояна. Но, кроме того, существовала и особая профессия скоморохов, целью которых было развлечение слушателей игрой на инструментах, пением, танцами и драматизированными сценками. Эти скоморохи бывали и на пирах феодалов, и на народных празднествах. О том, что скоморохи развлекали собравшихся на пирах феодалов, мы знаем из многочисленной церковно-учительной литературы. О том же, что скоморохи развлекали и народ, мы знаем из «Повести временных лет». Здесь под 1068 г. о скоморохах говорится в связи с народными играми, которыми соблазняет людей дьявол («трубами и скоморохы, гусльми и русальи»). Изображения скоморохов на стенах юго-западной лестничной башни церкви Софии Киевской свидетельствуют о том, что скоморохи, изображая сцены охоты, рядились и надевали звериные маски — след тотемистических верований. Но эти сцены охоты не имели уже магического значения. На стенах Софийского собора запечатлены только развлечения при дворе киевского князя. О том же, что скоморошьи игры в XI в. служили главным образом целям развлечения, говорят и другие данные — данные церковных обличений.[1]

[1] О скоморохах см. наиболее обстоятельное исследование: А. С. Фаминицын. Скоморохи на Руси. СПб., 1889.

Повидимому, уже в XI—XII вв. среди скоморохов появилось разделение на скоморохов, обслуживавших господствующий класс, и скоморохов, обслуживавших народ. Репертуар тех и других должен был различаться.

*

В дальнейшем мы будем постоянно обращаться к тому значению, которое имело русское народное творчество в формировании литературы. Нельзя не упомянуть, что русским писателям был известен не только русский фольклор. Летописец неоднократно обнаруживает свое знакомство с эпосом половецким. Повидимому, источниками этого знакомства являлись верхи феодального общества Руси. Княжеские браки с половчанками закрепляли культурные связи русских феодалов с половецкими. На половчанках были женаты Олег Святославич, Святослав Изяславич, Святослав Ольгович, Юрий Долгорукий, Рюрик Ростиславич и многие другие русские князья. Дошедшие до нас следы знакомства русских летописцев с половецким эпосом все, как будто бы, указывают на ханский характер этого последнего. Были ли знакомы русским летописцам произведения народной половецкой поэзии — неизвестно. В «Повести временных лет» под 1103 г. в описании разгрома венгров под Перемышлем отразилась половецкая песнь о хане Алтунопе. Об этом Алтунопе сам летописец говорит так: «. . . иже словяше в них мужеством», и приводит легендарные подробности его победы.[1] Под 1201 г. в Ипатьевской летописи отразилась половецкая песнь о траве евшан (полынь), запахом которой половецкий певец Оря манил вернуться с чужбины на родину половецкого хана Отрока. Следы знакомства с половецким эпосом можно встретить в Ипатьевской летописи и под 1151 г. (в рассказе о смерти Севенча Боняковича), и под 1185 г. (в передаче спора между ханом Кончаком и ханом Кзой).

Знакомство с фольклором других народов неоднократно проявляется в памятниках русской письменности XI—XIII вв. В «Повести временных лет» под 1114 г. приводится рассказ (повидимому лопарский) [2] о маленьких оленях, выпадающих из туч и разбредающихся по земле. Венгерская поговорка приводится в Ипатьевской летописи под 1217 г. («острый мечю, борзый коню — многая Руси!»). Прусская поговорка приводится

[1] Об этой песне в честь Алтунопы см.: М. Д. Приселков. Летописание Западной Украины и Белоруссии, Ученые записки ЛГУ, серия исторических наук, вып. 7, Л., 1941, стр. 9—11.

[2] Повесть временных лет, ч. I, стр. 197, под 1114 г.; комментарий к этому месту там же, ч. II, стр. 480.

там же под 1251 г. («можете ли древо поддьржати сулицами, и на сию рать дерьзнути»). Знание литовской мифологии отчетливо представлено в той же Ипатьевской летописи под 1252 г.[1] О пении красных готских дев говорит «Слово о полку Игореве».

Мы не знаем, в какой мере знакомство с фольклором других национальностей было распространено в трудовом народе Руси, но что такое знакомство возможно и что знакомство это могло быть плодотворным и для русского устного поэтического творчества и для русской литературы — в этом не может быть сомнений. В XVI в. татарскими эпическими преданиями воспользовался автор «Казанской истории», и предания эти обогатили его рассказ.

*

Итак, период древнерусского раннефеодального государства в истории русского устного народного творчества был периодом чрезвычайных и значительных изменений. Классовое разделение общества привело к концентрации устного творчества по преимуществу в трудовом народе. Процесс феодализации усилил историческое самосознание. Расширяется интерес к исторической теме. Начинают отмирать элементы языческого культа. Повышается идейная сторона устного творчества, ставшего выразителем идей трудового народа. Развитие историзма идет параллельно с усилением художественной стороны устного творчества.

Огромная роль, которую сыграло древнерусское раннефеодальное государство в истории нашей Родины, отразилась в создании обширного исторического эпоса и в отложении периода раннефеодального государства как «эпического времени» русской былевой поэзии.

Этот период, значительный в истории трех братских народов — русского, украинского и белорусского, — был значителен и в истории их народного творчества.

*

Вернемся еще раз к вопросу о предпосылках возникновения литературы в устном творчестве.

Мы уже отметили выше, что изменения в устном художественном творчестве подготовили появление художественного творчества — письменного. Устное творчество стало в классовом,

[1] Ипатьевская летопись под 1252 г. говорит о Миндовге: «Крещение же льстиво бысть: жряше богом своим в тайне, первому Нънадееви, и Телявели, и Диверинъзу заечему богу, и Мндейну: егда выехаше на поле и выбегняше заяць на поле, в лес рощения не вохожаше вну и не смеяше ни розгы уломити, и богомь своим жряше, и мертвых телеса сожигаше, и поганьство свое яве творяше».

феодальном обществе достоянием трудового, эксплоатируемого народа по преимуществу; стало выражать классовую идеологию трудового народа. Класс феодалов создавал свою надстройку, частью которой должно было быть и художественное творчество. Устное творчество не обеспечивало этой задачи и поэтому не могло в полной мере удовлетворять феодалов. Вот почему господствующий класс использует письменное творчество, которое могло целиком находиться под его контролем. К этому письменному творчеству привлекалось отчасти и устное народное творчество, но прошедшее контроль господствующего класса.

Летописцы использовали в своих классовых целях часть исторических народных преданий. Мы можем думать, что эти отобранные для летописи предания были далеко не лучшими. Бралось в первую очередь то, что могло удовлетворить классовым требованиям летописца. Только случайно оказалась использованной в летописи былина о юноше-кожемяке. Не может быть сомнений, что народ имел немало эпических произведений о борьбе с хозарами, с норманнами. Но исторические предания о походах на Константинополь интересовали летописца больше.

Вместе с тем, необходимо отметить, что народное творчество в целом и особенно исторический эпос достигли к X—XI вв. уже такой степени зрелости, когда они смогли поддержать возникновение литературы и питать ее своими живительными соками.

Мощное развитие устного творчества в X—XII вв. явилось одним из стимулов возникновения литературы.

Создание письменной истории было подготовлено объединением Руси в относительно единое Русское государство развитием языка, исторического эпоса. Потребность в истории Руси не могла появиться в условиях доклассового общества, пока Русь не объединилась в относительно единое государство. На первых этапах объединения эта потребность в своей собственной истории могла удовлетворяться отдельными народными преданиями. Эти народные предания и составили самую основу письменной истории — летописи, в которой они и сохранились до наших дней.

Нет сомнений, что развитие народного устного творчества совершалось в различных частях древнерусского государства неравномерно. Оно шло особенно быстро в Киеве и в прилегающих к нему областях, а также в Новгороде и Новгородской области. В этом факте, конечно, сказалась неравномерность исторического развития в отдельных частях древнерусского государства. Действительно, процесс феодализации в Поднепровье и в Поволховье несомненно «развивался интенсивнее и опережал центральное

междуречье».[1] Правда, одно из первых преданий первоначальной летописи — об обрах — принадлежало, повидимому, дулебам, а не полянам, но и это, конечно, далеко не случайно: согласно известному свидетельству Масуди, именно у племени дулебов-волынян могут быть отмечены одни из древнейших признаков государственности. Однако замечательно, что все местные племенные предания были племенными и местными только по своему происхождению, а по своей идейной направленности, как уже указывалось нами выше, отличались общерусским характером, осознавали единство всех русских, а частично и нерусских племен, объединенных в Русское государство.

Таким образом, развитие народного устного исторического предания совершалось наиболее интенсивно в тех центрах, которые в дальнейшем оказались отмеченными наиболее ранним появлением исторической письменности: в Киеве и в Новгороде. Не случайно, что киевский и новгородский исторический эпос заняли центральное место в эпосе русского народа, а летописание Киева и Новгорода — центральное место в русском летописании XI—XIII вв. Перед нами факты, говорящие об общих истоках и разных проявлениях одного и того же сильно развитого исторического сознания.

Создание древнерусского государства, внешнеполитические успехи русских подняли их патриотическое самосознание. Это патриотическое самосознание возбудило усиленный интерес к родной истории, привело к подъему исторического эпоса народа, к постепенному освобождению его от старых элементов языческого культа, к его общему развитию, углублению художественной, идейной стороны. Народное творчество в X—XI вв. на этом новом этапе своего развития в широчайшей степени способствовало развитию книжной литературы, — в первую очередь летописания. И эпос, и летописание были подхвачены одной общей волной подъема исторического сознания русского народа, но при этом развитие эпоса хронологически предшествовало развитию летописания. Летописание заимствовало из устного исторического предания народа отдельные сведения, заимствовало отчасти и самое осмысление событий. Летописец еще эпически понимал цели своего повествования — особенно в начальной части «Повести временных лет». Эта начальная часть «Повести временных лет» излагает события русской истории с патетической приподнятостью, восхваляя Русь и русских князей. История Олега, Игоря, Ольги, Святослава — это в известной мере история их «деяний». События не просто фиксируются — они па-

[1] Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1949, стр. 110.

триотически осмысляются (рассказы об обрах, о хозарах, собиравших дань с полян, о походах русских на Царьград, о походах Святослава, о юноше-кожемяке, победившем печенежского богатыря и т. д.).

Идеологическое влияние устного народного творчества на отдельные виды литературы (например на летописание) было очень интенсивным, однако оно почти никогда не было единственно определяющим. Литература раннефеодального периода служила в первую очередь интересам господствующего класса феодалов. Вот почему из устного народного творчества заимствуется не весь материал, а только те эпические предания, которые могли быть использованы летописцем в первую очередь в классовых целях.

Итак, литература ответила потребностям господствующего класса; она явилась идеологическим оружием в руках господствующего класса. Исчерпывается ли этим классовое лицо литературы? Отнюдь не исчерпывается!

Литература раннефеодального периода способствовала укреплению феодального строя с самых ранних этапов ее существования. К этому положению мы еще вернемся в дальнейшем. Однако литература создавалась не только представителями господствующего класса и не только на основе одних достижений духовной культуры господствующего класса.

Своим необычайно быстрым развитием в XI в. русская литература в значительной мере обязана тем, что она возникла на почве богатого художественного опыта устного народного творчества. М. Горький с глубоким основанием называл «устную поэзию трудового народа» «родоначальницей книжной литературы» [1] и постоянно подчеркивал роль народа, эксплоатируемого большинства в создании богатой мировой литературы. «Лучшие произведения великих поэтов всех стран, — писал М. Горький, — почерпнуты из сокровищницы коллективного творчества народа. . .».[2]

В XI в. уже ведется одна из лучших русских летописей, на рубеже XI и XII вв. получившая окончательное оформление в значительнейшем памятнике русского летописания — «Повести временных лет». В XI же веке создаются «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона, составляются жития Бориса и Глеба и поучения Феодосия Печерского. В начале XII в. создается «Поучение» Владимира Мономаха. Все эти произведения сразу же поставили русскую литературу в один ряд с лучшими

---

[1] М. Горький. О сказках. Сб. «О литературе», стр. 174.

[2] М. Горький. Разрушение личности. Сб. «Литературно-критические статьи», стр. 32.

литературами Западной Европы, имевшими к XI в. многовековые творческие традиции. Список русских писателей X—XI вв., составленный Н. К. Никольским, включает около тридцати имен, а список их сочинений превосходит сто названий.[1]

В русской литературе XI в. с самого ее зарождения столкнулись две линии развития. Одна шла сверху, от господствующего класса, а другая — снизу, от эксплоатируемого большинства.

Струя народного творчества вносила в литературу народное, самобытное начало, способствовала консолидации национальных особенностей литературы, была прогрессивной, устремленной вперед, носительницей реалистических элементов. Обе линии отражали в литературе борьбу двух культур внутри единой русской культуры. Первая культура была идеалистической, церковной культурой, теснейшим образом связанной с Византией. Вторая культура была культурой народной, русской, самобытной, связанной с русской действительностью, с опытом — социальным, научным. Первая культура господствовала, вторая — боролась с нею, вносила живительное творческое начало в единую культуру русского народа. Это был тот конфликт, то основное противоречие внутри литературы феодального периода, которое отражало более широкий конфликт в самом базисе феодализма: борьбу господствующего класса феодалов с эксплоатируемым классом крестьянства.

При рассмотрении этой борьбы следует учитывать, что внутри класса феодалов, в свою очередь, борются прогрессивные и реакционные силы. Первые были особенно сильны в тот период, когда феодальный строй в целом сохранял свою прогрессивность. Прогрессивные силы внутри класса феодалов используют народное творчество, развивают национальные особенности литературы, вносят реалистические элементы.

[1] Н. К. Никольский. Материалы для повременного списка русских писателей и их сочинений (X—XI вв.). Корректурное издание, СПб., 1906.

възнесуть вы в лодьи». Этим предложением Ольги вводится центральный драматический момент диалога. Ольга как бы загадывает загадку: почтить кого-либо имеет затаенный смысл — убить кого-либо, совершить акт мести. Вместе с тем такой же двойной смысл имеет и само передвижение по суху в ладьях: с одной стороны, это знак величайшей силы, знак гордости (ср. ладьи Олега, двигавшиеся по суху к стенам Царьграда), с другой — это, очевидно, знак смерти (ср. описание погребения руса у Ибн-Фадлана: руса хоронят в ладье).

Таким образом, внешне обещая воздать послам величайшие почести, затаенно, в прикровенной форме, Ольга обрекает их на смерть. Послы не понимают затаенного смысла этого предложения Ольги, — смысла, который, очевидно, должен быть понятен читателям (или слушателям) этого рассказа. Ольга как бы загадывает сватам загадку. Как это обычно бывает в сказках, женихи или сваты, не сумевшие разгадать загадки царевны-невесты, должны умереть.

Итак, послы древлян принимают предложение Ольги и уходят к своим злополучным ладьям. На утро Ольга посылает за ними посланцев. «Зоветь вы Ольга на честь велику», — говорят древлянам посланные от Ольги. Выполняя совет Ольги и, тем самым, как бы сами идя навстречу своей участи, древляне отвечают: «не едем на коних, ни на возех (ни пеши идем), но понесете ны в лодьи». Посланные соглашаются: «Нам неволя; князь нашь убьен, и княгини наша хочет за вашь князь»; древлян несут в ладьях. Чтобы увеличить комический эффект действия и подчеркнуть ошибку древлян, летописец прибавляет: «Они же седяху в перегъбех в великих сустугах гордящеся». Древлян приносят на двор Ольги. Ольга сидит высоко в тереме. Перед теремом во дворе выкопана яма «велика и глубока». В эту яму посланные Ольгой сбрасывают древлян вместе с ладьями. Ольга сходит с терема и, приникнув к яме, спрашивает послов, иронически продолжая свою загадку: «Добра ли вы честь?» Древляне на этот раз понимают Ольгу, но уже поздно. Они отвечают: «Пуще ны Игоревы смерти». Ольга велит засыпать их в яме живыми, завершая тем самым над ними и в самом деле обряд погребения, загадочно начатый несением в ладьях.

Таким образом, в основе первого рассказа о мести Ольги лежит загадка, — загадка, неразгаданная сватами и потому повлекшая за собою их смерть. Характерна сама форма этой загадки с выключением загадываемого предмета: «не... на коних, ни на возех, ни пеши, но понесете ны в лодьи». Ср. аналогичную форму в загадках: «Умылся не так, приоделся не так, и сел не так, и поехал не так, заехал я в ухаб, не выехать никак».

ИСТОКИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В КУЛЬТУРЕ УСТНОЙ, ОРАТОРСКОЙ РЕЧИ ДРЕВНЕЙ РУСИ[1]

Очень большое значение в формировании литературы имела на Руси высокая культура устной, ораторской речи.

Ко времени появления русской литературы русский язык оказался способным выразить тонкости отвлеченной мысли, передать сложное историческое содержание всемирной и русской истории, ответить нуждам нового для Руси, но уже достаточно старого христианского культа, воплотить в себе изощренное ораторское искусство церковных проповедников, воспринять в переводах лучшие произведения европейской средневековой литературы. И это произошло потому, что созданию письменного литературного языка предшествовал устный литературный язык — язык «устной литературы», содержание которой не покрывалось одним только фольклором.

В самом деле, общественный уклад древнерусской жизни способствовал развитию устной речи — в ее самых разнообразных формах. Еще в период перехода от доклассового к классовому обществу общественный быт требовал постоянных устных выступлений: на вече, на сходках старейшин, при переговорах племен или с иноземными государствами, на пиршественных собраниях, столь типичных для дофеодального быта, на похоронах, тризнах. С краткими и энергичными речами обращались князья и воеводы к своим воинам перед выступлениями в поход или перед началом битвы, подавая им «дерзость» и побуждая к стойкости.

Вот, например, известные речи князя Святослава Игоревича к своим дружинникам: «Уже нас сде пасти; потягнем мужьски, братья и дружино»; [2] «Уже нам некамо ся дети, волею и нево-

[1] Материал настоящей главы частично повторяет мою статью «Устные истоки художественной системы „Слова о полку Игореве“» в сб. «Слово о полку Игореве» под ред. члена-корр. АН СССР В. П. Адриановой-Перетц (М.—Л., 1950).

[2] Повесть временных лет, ч. I, стр. 50, под 971 г.

лею стати противу; да не посрамим земле Руские, но ляжем костьми, мертвыи бо срама не имам. . .» и т. д.[1] Эти речи Святослава в известной мере связаны со всей традицией русского воинского ораторского искусства. «Аще жив буду, то с ними, аще погыну, то с дружиною», — говорит Вышата своей дружине.[2] «Потягнем, уже нам не лзе камо ся дети», — говорит Святослав Ярославич перед битвой с половцами.[3] «Да любо налезу собе славу, а любо голову свою сложю за Русьскую землю», — говорит Василько Теребовльский.[4] С такими же речами обращается к своей дружине и герой «Слова о полку Игореве» Игорь Святославич Новгород-Северский перед битвой с половцами: «Братья! сего есмы искале, а потягнемь» [5] или: «Оже побегнемь, утечемь сами, а черныя люди оставим, то от бога ны будеть грех сих выдавше пойдемь; но или умремь, или живи будемь на единомь месте».[6]

Все эти речи свидетельствуют о высокой культуре устной воинской речи. В них чувствуется и княжеская ласка к дружинникам в назывании их «братьями», и отчетливое представление о воинской чести и чести родины, и мудрость воина. Но больше всего поражают они стройностью и исключительным лаконизмом выражения.

Повидимому, яркой выразительностью отличались и речи, произносившиеся на пирах и тризнах. Пиры были широко распространены в быту княжеском, церковном, купеческом и крестьянском. О погребальных тризнах упоминают Ибн-Фадлан и русская летопись в рассказе о третьей мести княгини Ольги древлянам. О полуязыческих трапезах роду и рожаницам упоминают списки тех исповедальных вопросов, которые священники обязаны были задавать на духу. Сохранилось немало свидетельств и о мирских братчинах городских и сельских общин. Наконец, летопись донесла до нас многочисленные свидетельства о пирах князей с их широким гостеприимством. Они устраивались и по поводу вокняжения нового князя, и по поводу построения новой церкви или монастырской стены, и по поводу военных побед, и при дипломатических свиданиях русских князей. На пирах этих произносились хвалебные речи, провозглашались здравицы, произносились поучения «духовным отцом» за четвертой чашей. «Слово о богатом и убогом» говорит, что на пирах

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 50, под 971 г.
[2] Там же, стр. 104, под 1043 г.
[3] Там же, стр. 115, под 1068 г.
[4] Там же, стр. 176, под 1097 г.
[5] Ипатьевская летопись под 1185 г.
[6] Там же.

этих выступали «ласковьци, шьпилеве, праздьнословьцы, смехословьцы». Следов этого пиршественного ораторства до нас почти не дошло, но о наличии его выразительно свидетельствует надпись на «круговой» серебряной чаре Владимира Давидовича (1139—1151 гг.): «А се чара кня(зя) Володимирова Давыдовича, кто из нее пь(ет) тому на здоровья, а хваля бога своего и осподаря великого кня(зя)». Отзвуком такой хвалы князьям, может быть, является заключительная здравица в «Слове о полку Игореве»: «Солнце свѣтится на небесѣ, Игорь князь въ Руской земли. Дѣвици поютъ на Дунаи, вьются голоси чрезъ море до Киева. Игорь ѣдетъ по Боричеву къ святѣй Богородици Пирогощей. Страны ради, гради весели. Пѣвше пѣснь старымъ княземъ, а потом молодымъ пѣти: Слава Игорю Святъславличю, буй туру Всеволоду, Владимиру Игоревичу. Здрави князи и дружина, побарая за христьяны на поганыя плъки! Княземъ слава а дружинѣ!».

Слава князьям провозглашалась не только на пирах. Ее пели победителю на улице или избранному князю на княжем дворе. Так было в 1068 г., когда киевляне, освободив Всеслава из поруба, «прославиша ѝ среде двора къняжа».[1]

Так было в 1242 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища «поюще песнь и славу государю, великому князу Александру Ярославичу» (Житие Александра Невского в псковской редакции). Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода Даниила Галицкого и его брата Василька: «И песнь славну пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великаго Романа. . .».[2]

Все эти формы устной речи были унаследованы раннефеодальной Русью еще от предшествующего периода. В период раннего феодализма стихия устной ораторской речи получила еще ряд новых форм для своего развития: речи на княжеских снемах (съездах), крестоцеловальные речи (на Любечском съезде 1097 г.), на заседаниях Совета господ в Новгороде, при судопроизводстве и т. д. Наконец, в многочисленных переговорах князей между собой и в усилившихся сношениях с иноземными государствами развивалось искусство речи послов.

Влияние этой устной речи на литературу письменную не ограничивалось только начальными годами письменности. Оно было постоянным, крепло с годами, формировало язык письменности и служило неиссякаемым источником художественных образов, навыков простоты и лаконизма.

[1] Повесть временных лет. ч. I, стр. 115. под 1068 г.
[2] Ипатьевская летопись под 1251 г.

Сама устная речь не была неизменной. В XI—XII вв. в обиход общества входит густым потоком феодальная терминология. Развитие военного искусства сказывается на усложнении военной терминологии. Усложняются вопросы внутренней дипломатии, а с ними вместе усложняется и терминология, принятая в посольских переговорах. Развитие устного языка и письменного идет параллельно, оба влияют друг на друга, оба испытывают всепоглощающее воздействие действительности.

Совершенно естественно, что влияние устной речи на письменную сказалось прежде всего на тех произведениях письменности, которые были посвящены русской действительности.

С особенной силой это воздействие устной речи сказалось в летописи. По летописи главным образом мы и можем судить об устной речи XI—XIII вв. В самом деле, именно летопись сберегла для нас многочисленные образцы устной речи XI—XIII вв. Этому способствовало особое отношение летописцев к тем элементам устной речи, которые они включали в свои записи.

Древняя русская письменность XI—XIII вв. почти не знает косвенной речи. За редкими исключениями слова действующих лиц повествования передаются в форме прямой речи. Следовательно место, занимаемое прямой речью в древнерусском повествовании, уже в силу одного этого должно было быть и больше, и значительнее, чем впоследствии. Это не значит, однако, что стесненный малочисленностью форм косвенной речи древнерусский автор пользовался прямой речью, не задумываясь над особенностями прямой (устной) речи как таковой. Ощущение «документальности» приводимой прямой речи было у древнерусского автора весьма отчетливым. Это в особенности касается древнерусского летописца. И к предшествующему тексту летописи, который летописец использовал в своем летописном своде, и к самой действительности, которую он описывал, летописец относился как к документу. Ни произвольных добавлений в фактическую часть летописного рассказа, ни необоснованных утверждений летописцы, работавшие в XI—первой половине XV в., как правило, не допускали.[1]

И это, в особенности, относилось к прямой речи. Воспроизводя прямую речь, летописец стремился более или менее точно передать ее на основе предшествующей летописи, на основании того фольклорного произведения, которое он передает в летописи, или так, как она была произнесена или могла быть произнесена в действительности. Летописец стремился к точному вос-

[1] См. подробнее: Д. Лихачев. О летописном периоде русской историографии. Вопросы истории, 1948, № 9, стр. 28 и сл.

произведению действительности, почти не прибегая к помощи фантазии и домыслов.

Вот почему в летописи мы можем встретить следующие типы прямой речи:

1) Чаще всего летописец вносит в свою летопись жизненно-реальную речь, воспроизводит действительно произнесенную речь как документ, по возможности не изменяя ее.

2) С другой стороны, прямая речь в летопись вносится на основании фольклорного произведения; в этом случае она отражает особенности фольклорной прямой речи.

3) Наконец, прямая речь вставлена в летопись вместе с отрывком житийного произведения (например, «Сказание о Борисе и Глебе»); в такой прямой речи может ощущаться сильный налет книжности: речи святого пересыпаны цитатами из молитв и псалмов — они по большей части не воспроизводят действительно произнесенные речи, а служат религиозно-нравственным целям.

Чисто литературные функции прямой речи, употребленной, скажем, для оживления действия, для характеристики действующего лица, для раскрытия его намерений и т. п., были неизвестны летописцам до конца XV в. Вернее, летописцы чуждались именно такого использования прямой речи, так как это внесло бы в их «своды» элемент вымысла. Это не значит, конечно, что в произведениях древнерусских летописцев не было вымысла: летописец был чужд подлинного реализма, принимая за реально бывшее рассказы о чудесах, знамениях, явлениях и т. п. Но этот вымысел не был сознательным, — летописец верил в существование в прошлом всего того, что он рассказывал.

Вот почему в летописи прямая речь, по большей части, занимает одно из центральных мест. Если прямая речь внесена в летопись не из книжного или фольклорного произведения, а записана в ней самим летописцем, то она всегда значительна по содержанию. Приводимые слова по большей части исторически важны. Их произносят не безымянные лица, а лица исторические. Слова эти важны как часть самой действительности. Они не подчинены литературным функциям, они вводятся не для «оживления» повествования, не для его «торможения», не для раскрытия мыслей и намерений действующих лиц, а потому, что они важны по своему историческому содержанию. Элемент «сочиненности» сведен в летописи до минимума. Летопись — прежде всего историческое произведение и прямая речь в ней — также исторична и документальна.

Именно поэтому в летописи прямая речь резко отличается в лексическом отношении и в своей художественной манере от остальной чисто повествовательной части летописи. В первой —

летописец зависит по преимуществу от самой устной речи, которую он и стремится воспроизвести во всей ее неприкосновенности. Во второй — влияния чисто книжные гораздо сильнее.

Этим обстоятельством обусловливается особенная ценность показаний прямой речи летописи (но преимущественно той, которая записана летописцем, а не привнесена им из фольклора или из произведений житийных) для установления особенностей устной речи своего времени и ее культуры.

В самом деле, вот перед нами новгородская «Повесть о взятии Царьграда фрягами», включенная в Новгородскую I летопись под 1204 г. Повесть эта, как уже отмечалось в научной литературе, написана новгородцем — очевидцем царьградских событий 1204 г.[1] Она написана точно и реально, но само собой разумеется, что греческая прямая речь действующих лиц не могла быть в ней записана с абсолютной точностью. Она передана в русском переводе — по смыслу. Любопытно, однако, что эта передача по смыслу сделана в формах устной русской речи.

Составитель «Повести о взятии Царьграда фрягами» живо отличает особенности устной речи от письменной и переводит греческую устную речь в типичных формах устной же речи. Живое ощущение устной речи не изменяет ему и здесь (ср., например, типичные для русского воинского ораторства слова фрягов: «Да луче ны есть умрети у Царяграда, нежели с срамомь отъити»).[2] Вот почему и в других случаях в летописи прямая речь постоянно соответствует традициям устной речи, а не письменной — вне зависимости от того, передает ли она действительно произнесенные речи или только те, которые по предположениям летописца должны были быть произнесены.

Чтобы понять, каким образом летописец мог относительно верно знать речи, которым он не был послухом, и почему именно русские летописцы так единодушно добросовестно относились к прямой речи, стремясь к дословному ее воспроизведению, следует несколько остановиться на том, чем была устная речь в русской дипломатической, воинской и вечевой практике XI—XIII вв.

*

И в XI, и в XII, и в XIII вв., а частично и значительно позднее все дипломатические переговоры на Руси велись устно — через устные передачи послов. Русские князья исключительно редко пересылались между собою грамотами. Их вполне заме-

[1] История русской литературы, т. I. Изд. Акад. Наук СССР, М.—Л., 1941, стр. 303 (В. П. Адрианова-Перетц).

[2] Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. А. Н. Насонова, М.—Л., 1951, под 1204 г.

няли «речи», точно передававшиеся послами и более или менее точно заносившиеся в летопись.

Повесть попа Василия об ослеплении Василька Теребовльского, включенная в «Повесть временных лет» под 1097 г., живо и конкретно передает самую процедуру посылки посла и выполнения им дипломатического поручения. Василий был непосредственным участником переговоров 1097 г., и свидетельство его представляет поэтому особенную ценность: и Давыд (ослепитель Василька), и Василько призывают выполнявшего дипломатические обязанности Василия, усаживают его как равного, беседуют с ним и отдельно сообщают ему те «речи», которые Василий должен был передать по назначению. Замечательно, что поручение сообщается Василию в форме прямой речи от лица посылающего: «Иди к Давыдови и рци ему: „п р и ш л и м и Кульмея“» (слова Василька Василию).

Из этого рассказа попа Василия выясняется, что посол посылался не с грамотами, а с «речьми». Это выражение «послать с речьми» встречается в летописи неоднократно: оно есть и в Ипатьевской летописи, и в Лаврентьевской, и в Новгородской.[1]

Когда переговаривающиеся стороны взаимно посылают друг к другу послов, летопись применяет выражение «сослаться речьми».[2]

Из летописи видно, что послу давался общий наказ о том, как должен себя вести посол в том или ином случае, и отдельно поручались «речи», которые посол не мог изменять по-своему и передавал, соблюдая грамматические формы первого лица — от лица пославшего. В общий наказ послу входило, например, поручение передать поклон, спросить о здоровье и т. д.[3] Эти «на-

---

[1] Так, например, под 1140 г. в Ипатьевской летописи рассказывается: «И посла Вячьслав и Изяслав Мьстиславичь послы свои к Всеволоду с р е ч ь м и, рядитися...». Под 1151 г. в той же Ипатьевской летописи говорится, что Изяслав Мстиславич послал «с р е ч ь м и» к венграм, причем следует отметить, что одни из этих «речей» предназначены для венгерского короля, а другие, отдельно, для его подданных.

[2] «И ста Святополк в граде, а ляхове на Бугу, и сослася речьми Святополк с ляхы» (Лаврентьевская летопись под 1097 г.).

[3] Вот как, например, отряжал своего посла к Юрию Долгорукому Вячеслав Киевский. Вячеслав передает Юрию весь ход своих отношений с Изяславом, а потому просит его и его брата Ростислава присутствовать при самом «отряжении» своего посла, как живых поручителей его правдивости: «Вячеслав же рече мужеви своему: „Поеди к брату Гюргеви, брата от мене целуй“; а вы брата и сына, Изяславе и Ростиславе, слушайте, перед вами и отряжю; тако молви брату моему: „Аз есмь, брате, тобе (т. е., конечно, Юрию, а не послу) много молвил и Изяславу, обеима вама, не пролейта крови хрестьяньскы, ни погубита Рускы земле...“» и т. д. (Ипатьевская летопись под 1151 г.).

казные речи» частично сохранялись и в посольском обычае последующих веков. О том, что это были действительно наказы передать устные речи, хорошо известно по документам XVI и XVII вв.

Приехав по назначению, и перед тем как передать порученные ему «речи», посол обычно объявлял: «Тако ти молвить князь», «а тако ти глаголеть» и т. п.[1]

Характерно, что термин «править посольство» относился первоначально только к той части переговоров, в которой посол передавал порученные ему речи, но не к выполнению других обязанностей посла. Это отчетливо видно из подробного описания под 1288 г. в Ипатьевской летописи посольства перемышльского епископа Мемнона к Владимиру Васильковичу: «Присла же потомь ко Володимеру Лев епископа своего перемышлескаго, именемь Мемнона. Слуги же его поведаша ему: „Владыка, господине, приехал“. Он же рече: „Который владыка?“. Они же поведаша: „Перемышлеский, ездить от брата ть ото Лва“. Володимер же бе разумеа древняя и задняя, на што приехал, посла по него. Он же войде к нему и поклонився ему до земле, река: „Брат ти ся кланяеть“. И веле ему сести. И нача посольство правити: „Брат, ти, господине, молвить: стрый твой Данило король, а мой отець, лежить в Холме...“» и т. д.[2]

Записывая в летопись о том или ином посольстве, о тех или иных переговорах, летописец обычно опускал подробности отъезда и приезда посла, опускал даже иногда самые сведения о после, не упоминал его вовсе, но стремился сохранить самое существенное — «речи». Летописец по большей части записывал их в той форме, в которой они были поручены послу или произнесены им, т. е. в форме обращения от лица пославшего, и никогда не передавал их от лица посла.[3]

Поручая «речи» послу, посылавший всегда употреблял форму прямого обращения к тому, к кому он посылал посла; например: «Володимери же мужи (и) Изяславли рекоша ему (послу):

[1] В 1149 г. посол Изяслава явился к Святославу: «И рече ему (Святославу) посол Изяславль: „тако ти молвить Изяслав, брат твой...“» (Ипатьевская летопись под 1149 г.); а затем объявил и самые «речи» Изяслава. Послы князя Глеба, отправленные к Михаилу Переяславскому, «усретоша и (Михалка), рекуще: „Глеб ся кланяеть, река: «Аз во всемь виноватъ, а ноне ворочю все...»“» и т. д. (Лаврентьевская летопись под 1176 г.). Посол Болеслава к Шварну так выполнил свое поручение: «посол же рече Шварнови: „тако ти молвить князь Болеслав: «Я на Литву не жалую...»“» и т. д. (Ипатьевская летопись под 1268 г.).

[2] Ипатьевская летопись под 1288 г.

[3] «И посла Мьстислав по Ярослава, глаголя: „Сяди в своемь Кыеве, ты еси старейшей брат; а мне буди си сторона“» (Лаврентьевская летопись под 1024 г.).

„Брат ти (т. е. Изяславу, а не послу) молвить Володимир и Изяслав мы есме хрест целовали, яко всим нам быти за один, а ве, брате, доспеваеме; а ты, брате, такоже доспевай“».[1]

Такое игнорирование личности посла, передача через него «речей» в форме строго личного обращения, очень часто приводило исследователей к мнению, что «речи» эти пересылались в письменной форме. Между тем порядок этих пересылок «речьми» отмечен в летописи еще для такого периода, когда русские послы явно не могли передавать письменных поручений. В тех же выражениях рассказывает летописец о посольских сношениях Ольги, Святослава и др.[2]

Передача «речей» от лица посылающего со строгим соблюдением форм личного обращения князя не была вызвана тем, что посол рассматривался как безличный и механический передатчик. Послы в древней Руси никогда не были только гонцами. В послы выбирались «лепшие люди».[3] Известны случаи, когда князья посылали послами своих сыновей. В 1128 г. Мстислав Владимирович отправил послом сына своего Ростислава; в 1151 г. Изяслав Мстиславич отправил в посольство сына Мстислава и т. д.

Объяснение, думается, лежит в ином: посол, передавая «речи» князя, во всех случаях являлся его заместителем, фактотумом. Посол говорил от лица пославшего, как будто бы сам являлся в момент передачи «речей» этим пославшим. Поэтому-то и оскорбление, нанесенное послу, было равнозначно оскорблению того лица, которое его послало.[4]

Таков был общий порядок исправления посольских обязанностей в древней Руси XI—XIII вв. Порядок этот был резко отличен от греческого, где все дипломатические сношения велись грамотами. Русская летопись отметила это различие. Под 1164 г. летописец рассказал, что епископ Антон, «родом гречин», послал

---

[1] Ипатьевская летопись под 1149 г. Также строго от лица князя обращается и посол Изяслава Мстиславича к черниговским князьям Владимиру и Изяславу Давидовичам: «И рече им Изяславль посол: „Аже устоите у крестьном целованьи, и яз (т. е. Изяслав, а не произносящий эти слова посол Изяслава) вам, брата, являю; тако ми вошло во уши, оже мя ведете лестью, а ко Святославу есте хрест целовали к Олговичю, яко на сем пути вам любо мя яти, любо убити в Игоря место, а есть ли то, братья (братьями мог называть Владимира и Изяслава Давидовича, конечно, только Изяслав Мстиславич, а не его посол), тако, или не тако“» (Ипатьевская летопись под 1147 г.).

[2] Ср. под 946 г.: «И стоя Ольга лето, не можаше взяти града, и умысли сице: посла ко граду, глаголющи...»; ср. также под 971, 980 и другими годами.

[3] Ср. в Лаврентьевской летописи под 971 г.

[4] См. в Ипатьевской летописи под 1174 г. об оскорблении, нанесенном Андрею Боголюбскому в лице его посла.

грамоту к Святославу Всеволодовичу. Характерно при этом, что, передавая содержание этой грамоты, летописец прибегает к тому же термину «река», к которому привык и при передаче устных «речей» послов: «Исписав грамоту и посла к Всеволодичю, река тако...».[1] Из русских князей только Владимир Мономах, также родом «гречин» (по матери), посылал «грамотицу» князю Олегу Святославичу. Однако с другими русскими князьями Мономах никогда не пересылался грамотами, строго придерживаясь русского обычая пересылки «речьми».

Характерна встреча обоих обычаев — греческого письменного и русского устного при заключении договоров с греками 945 и 971 гг. Русские послы правили свое посольство согласно русскому обычаю — устно, но греки записывали речи русских послов, вводя тем самым «речи» русских послов в традиции своей собственной посольской практики. «Посла Игорь муже своя к Роману, Роман же созва боляре и сановники. Приведоша Руския слы, и велеша глаголати (и) писати обоих речи на харатье».[2] «(И) повеле писцю писати вся речи Святославля (переданные через посла) на харатью; нача глаголати сол вся речи и нача писець писати. Глагола сице...».[3]

Русский обычай «ссылаться речьми», а не грамотами, был очень прочным. Хотя происхождение его восходит, несомненно, к дописьменному периоду истории Руси, но тем не менее и позднее, даже спустя несколько веков после введения письменности, русские послы попрежнему изустно говорят порученные им «речи», не занося их на грамоты. Развитие письменности не изменило этого обычая, хотя не подлежит сомнению, что большинство русских послов, как, например, поп Василий, игумен Федос, Петр Бориславич и др., — были людьми хорошо грамотными, а иногда и незаурядными писателями.

Поразительно, что даже тогда, когда русские послы стали составлять подробные и литературно безупречные отчеты о выполненных ими дипломатических поручениях, включавшиеся иногда и в летопись, и в ней дававшие одни из самых ярких страниц, — даже и тогда русские послы продолжали попрежнему изустно передавать поручаемые им «речи». Так, например, посол Василий, составивший блестящий отчет о своей дипломатической деятельности живую, драматическую, психологически наблюдательную повесть об ослеплении Василька Теребовльского, все посольские поручения выполнял исключительно устно. Устно же передавал поручаемые ему «речи» и Петр Бориславич, также

[1] Ипатьевская летопись под 1164 г.
[2] Лаврентьевская летопись под 945 г.
[3] Там же под 971 г.

составивший подробный отчет о своей миссии к галицкому князю Владимирку. В Ипатьевской летописи в изложении событий XII в. можно обнаружить фрагменты нескольких письменных отчетов послов о выполненных ими поручениях,[1] но передача «речей» неизменно велась по заведенному исстари обычаю — устно.

Посольские «речи» от лица князей настолько вошли в практику русской жизни, что летописец, нередко говоря о посольских «речах», не упоминал о после, который эти «речи» передавал. Отсюда очень часто при чтении русской летописи создается впечатление, что князья, разделенные огромными расстояниями, свободно переговариваются друг с другом. Так, например, Святослав Ольгович в 1149 г. передавал «речи» послу Изяслава Мстиславича; летописец рассказывает об этом так, как будто бы Святослав обращался к Изяславу непосредственно: «И рече Святослав Олговичь к Изяславу Мьстиславличю: „А вороти ми товара брата моего со што любо, а яз с тобою буду“».[2] Только из предшествующего и последующего изложения ясно, что «речь» эта была передана Святославом через посла.[3]

«Речи» передавались послами в более или менее законченных формулировках. Формулировки эти запоминались и послами, и участниками переговоров. Они могли передаваться из уст в уста, как своего рода готовые официальные определения создавшейся ситуации. Вот почему и летописец в своих записях стремится бережно сохранять эти формулировки, внося через них в летопись живую струю обыденной, некнижной речи.

Необходимо отметить, что уже самая процедура передачи «речи» послу, а затем воспроизведения ее послом перед лицом, к которому она обращена, свидетельствует о стремлении к наибольшей точности. Мы видели выше, что посол всегда передает поручаемые ему «речи» в первом лице — от пославшего, а не от себя. «Речь» посол предваряет словами «тако ти глаголет» или «тако ти молвит», — как бы подчеркивая ими «цитатный» характер передаваемых слов. Посылающий, или отвечающий, требуя передать свои «речи», также произносит их от

[1] Ср., например, в Ипатьевской летописи под 1147 г. отчет посла Изяслава, ездившего для переговоров к давидовичам в Чернигов.

[2] Там же под 1149 г.

[3] Так же точно Святополк и Владимир Мономах из разных мест обращаются к Олегу Святославичу в Чернигов, как будто бы всех троих не разделяли никакие расстояния: «Святополк же и Володимер рекоста к нему: „Да се ты ни на поганые идеши, ни на свет к нама, то ты мыслиши на наю и поганым помогаги хочеши, а бог промежи нами будеть“» (Лаврентьевская летопись под 1096 г.). Речи эти были, конечно, составлены Святополком и Владимиром в результате предварительного сговора через послов, пересылавшихся между Киевом и Переяславлем (Русским), и через послов же переданы Олегу в Чернигов.

своего лица и обращается не к послу, а непосредственно к тому, к кому он посылает.

На точность и продуманность формулировок указывает и ряд других косвенных признаков. Эти формулировки повторяются в переговорах, передаются из «речи» в «речь», их цитируют, — следовательно, считают установившимися и как бы закрепленными применительно к отдельным фактам.

Так, например, отпуская в 1151 г. венгров, Изяслав Мстиславич велел им передать венгерскому королю: «Бог ти помози, брате, оже нам еси тако помогл, толико можеть так учинити брат роженый или сын отцю, како же ты нам еси учинил». Изяслав предупредил венгров, что отрядит вслед им особого посла к королю: своего сына Мстислава. Очевидно, что венгры не могли представительствовать личность Изяслава. И действительно, отпустив венгров, Изяслав, посоветовавшись с Вячеславом, от лица обоих посылает Мстислава, повторяя свои слова, уже переданные однажды через венгров, но теперь в посольстве Мстислава облеченные официальностью: «И ты нама еси тако учинил, якоже можеть так брат роженый брату своему, или сын отцю, акоже ты нама помогл».[1]

Другой факт свидетельствует о том, что отдельные формулировки посольской речи запоминались не только самим пославшим, но и теми, к кому они были обращены. Когда Владимир Мономах послал послов к Давиду и Олегу Святославичам (1097 г.), он передал следующие «речи»: «Да поправим сего зла, еже ся створи се в Руськей земьли и в нас, в братьи, оже вверже в ны ножь».[2] Яркая образность этой формулы — «оже вверже в ны ножь» — запомнилась и Давиду и Олегу. В свою очередь, посылая к Святополку, они передают ему: «Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны?».

Точность, с которою запоминались посольские «речи», допускала иногда довольно длинное их цитирование. Так, например, киевский князь Вячеслав обратился к Юрию Долгорукому через посла с «речью», в которой процитировал слова Изяслава Мстиславича.[3]

---

[1] Ипатьевская летопись под 1151 г.

[2] Лаврентьевская летопись под 1096 г.

[3] «Любо дай Изяславу чего ти хочеть, пакы ли, амо [в Ипатьевской ошибочно «яз»] поиди полкы своими ко мне, заступи же волость мою; Изяслав ми то молвить: „Ты ми буди в отца место, поиди сяди же в Киеве, а с Гюргем не могу жити; не хочешь ли мене в любовь прияти, ни Киеву поидеши седеть, яз хочю волость твою пожечи"; ныне же, брате, поеди, а видеве оба по месту, что нам бог дасть, любо добро, любо зло, пакы ли, брате, не поедеши, на мя не жалуй, аже моей волости пож[ж]ена быти» (Ипатьевская летопись под 1149 г.).

Правильность подобного рода цитирования поддается проверке. Так, например, когда в 1149 г. Изяслав киевский вел переговоры с сыном Юрия Долгорукого Ростиславом, он прислал к нему послов, и те передали Ростиславу следующие речи, в которых Изяслав вспоминал свои переговоры с ним, ведшиеся в 1148 г.: «Се, брате, ты еси ко мне от отца пришел, оже отець тя приобидил и волости ти не дал; яз же тя приях в правду, яко достойного брата своего, и волость ти есмь дал, ако ни отец того вдал, что я тобе вдал, а еще есмь и Руской земли приказал стеречи тобе; а то ти есмь рекл: се аз, брате, иду на отца твоего, а на своего стрья, а ты постерези Руской земли, любо ся с ним умирю, паки ли, а како мя с ним бог управить».[1]

Выделенные разрядкой места точно повторяют содержание речей Ростислава и Изяслава, занесенных в летопись под 1148 г. Когда Ростислав бежал от отца своего Юрия и явился в Киев к Изяславу, он сказал ему: «Отець мя переобидил и волости ми не дал»,[2] а когда Изяслав отправился в поход на отца Ростислава Юрия, он оставил Ростислава в пограничном со степью Божеске, сказав ему: «Пребуди же тамо доколе я схожю на отца твоего, а любо с ним мир възму, пакы ли, а како ся с ним улажю, а ты постерези земле Руской оттоле».[3]

Как видно из этого примера, несмотря на то, что «речи» послов прошли и через передачу летописца, и приводились (через год) по памяти Изяславом, — отдельные формулировки продолжали сохраняться, хотя порядок этих формулировок и оказался переставленным в этой тройной передаче (посла, Изяслава и летописца).

Об относительно точном воспроизведении речи послов в летописи свидетельствуют различные наблюдения. Характерно, например, что речи новгородских послов сохраняют весь свой северный новгородский колорит даже в передаче киевской летописи. Так, например, в «Повести временных лет» рассказывается под 1102 г., что новгородские послы (их несколько, как всегда от Новгорода) явились к киевскому князю Святополку и сказали ему: «Се мы, княже, прислани к тобе, и рькли ны тако: не хочем Святополка; ни сына его; аще ли 2 главе имееть сын твой, то пошли и́; сего ны дал Всеволод, а въскормили есмы собе князь, а ты еси шел от нас».[4] Эта речь новгородских послов

---

[1] Ипатьевская летопись под 1149 г.
[2] Там же под 1148 г.
[3] Там же.
[4] Лаврентьевская летопись под 1102 г.

настолько насыщена типичными новгородизмами, что точность ее воспроизведения в стилистически иной — южной, киевской, летописи не вызывает сомнений. В ней и характерная новгородская формула изгнания князя, не принятая в других русских областях («а ты еси шел от нас»), и понятное только в устах новгородца определение «а въскормили есмы собе князь», и типично новгородское пристрастие к грубоватым поговоркам: «аще ли 2 главе имееть сын твой, то пошли и́», и т. д.[1]

Итак можно думать, что и сами послы передавали поручаемые им «речи» в более или менее устойчивой форме, и летописцы стремились заносить их в свои летописи с наибольшею, доступною им точностью. Летописец не выдумывал «речи» послов, а записывал слышанное, иногда сокращая, иногда допуская неточности, но сохраняя многие особенности устной речи.

Устойчивость формы «речей» послов, их донесений и отчетов была такова, что даже через многоустную передачу она сохранялась нередко неизменной. Так, например, сообщения русских летописей о первом появлении татар на границах Руси облетело все русские области и отразилось в летописях новгородской, Переяславля Русского, владимирской, ростовской и галицкой в более или менее сходной форме. И это сходство сохраняется даже в тех летописях, между которыми нельзя установить непосредственной письменной связи.

Мало того, сообщение о появлении татар достигло в том же году и западноевропейских стран и там отразилось в хрониках в формулах, опять-таки сходных с русской. Цезарий Гестербахский в 47 главе X книги своей хроники пишет о Калкской битве:

«В прошедшем году еще какой-то народ, вошел во владения руссов и истребил там весь народ унский; нам неизвестно, что

[1] Такая же точность в передаче новгородских «речей» явственно ощущается в другой летописи — в киевском продолжении к «Повести временных лет». Под 1148 г. в ней записан очень характерный для новгородцев ответ на обращение Изяслава Мстиславича. Новгородцы отвечали в формуле, характерной и понятной только для новгородцев и, следовательно, правдиво отраженной в Киевской летописи: «Ты нашь князь, ты нашь Володимир, ты нашь Мьстислав! ради с тобою идем своих деля обид» (Ипатьевская летопись под 1148 г.). Под Владимиром новгородский ответ разумел, очевидно, не Владимира Мономаха, а Владимира Ярославича, а под Мстиславом — Мстислава Владимировича, чья деятельность как новгородского князя была слабо отмечена в киевской летописи, но зато хорошо памятна самим новгородцам. Так же типичен для новгородцев и другой их ответ, приведенный в Ипатьевской летописи под тем же годом несколько ниже: «Княже! ать же поидем, и всяка душа; аче и дьяк, а гуменце ему пострижено, а не поставлен будеть, [и тъи поидеть, а кто поставлен, — так, Хлебниковский список] ать бога молить» (Ипатьевская летопись под 1148 г.).

это за народ, откуда идет и куда стремится».[1] Ср. в Новгородской I летописи по Синодальному списку: «Том же лете, по грехом нашим, придоша языци незнаеми, их же добре никто же не весть, кто суть и отколе изидоша... мы же их не вемы, кто суть...» «...и не съведаем откуду суть пришли и кде ся деша опять; бог весть отколе приде на нас, за грехы наша».[2]

*

Отношение к прямой речи как к своего рода документу, как к чему-то реально произнесенному и значительному в своей историчности позволило частично сохранить в этой прямой речи летописи образную, художественную систему устной речи, которой в собственном книжном изложении, в изложении от своего лица, летописец очень часто чуждался как простой, «некнижной». В самом деле, летописец опасался вводить в изложение от своего лица художественные приемы речи устной, делал это в ограниченных размерах, с разбором и выбором. Характерна в этом отношении оговорка, с помощью которой вводится им в летопись один из образов устной, обыденной речи. Летописец пишет: «В то же лето бысть буря велика, ака же не была николи же, около Котелниче, и розноси хоромы и товар и клети и жито из гумен, и спросто рещи яко рать взяла».[3] Следовательно, введение образа из устной речи в изложение от своего лица иногда вызывало даже в летописце необходимость оговорки, своеобразного извинения перед читателем. Образ устной речи отчетливо осознавался как «некнижный», «простой». Совсем иное отношение у летописца к подобного рода образам, когда он передает их в чужой речи — в прямой речи действующих лиц его повествования. Прямая речь снимает как бы с него ответственность за ее «простоту». Это — документ, и здесь летописец может сохранять, следовательно, все особенности прямой речи во всей их неприкосновенности. И действительно, в прямой речи действующих лиц летописного повествования мы встречаем удивительное богатство творческой фантазии самого народа, ничем не сдерживаемый поток образной, лаконичной и удивительно выразительной живой устной русской речи. Повторяем: и в лексическом, и в грамматическом, а главное в стилистическом отношении прямая речь в летописи резко отлична от всего остального повествования летописца.

---

[1] Ученые записки Академии Наук по I и III отдел., т. II, 1854, стр. 760.

[2] Цитирую по изданию: Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. Под ред. А. Н. Насонова, М.—Л., 1951.

[3] Ипатьевская летопись под 1143 г.

Приведем несколько примеров образной устной речи, отраженной в летописи. Прямая речь насыщена сравнениями. Вот, например, сравнение неумолимо надвигающейся вражеской рати с падающим деревом: «И реша прузи ятвязем: Можете ли древо поддрьжати сулицами, и на сию рать дерьзнути?».[1]

Или вот сравнение далеко зашедшей в чужие пределы рати с рыбами, оказавшимися на суше. Юрий Всеволодович говорит через послов Мстиславу Удалому перед Липецкой битвой: «Мира не хочем, мужи у мене; а далече есте шли, и вышли есте акы рыбы на сухо».[2]

Особенно часто встречается в прямой речи метонимия. Ею буквально насыщена прямая речь летописи: Рогнеда говорит Рогволоду, отказываясь выйти замуж за «робичича» Владимира: «Не хочу розути робичича», разумея под «разуванием» — русский свадебный обряд, частью которого являлось разувание сапога мужа новобрачной; или известная метонимия из речи Вячеслава Киевского: «Аз уже бородат, а ты ся еси родил».[3]

Часть метонимий постоянно повторяется в летописи, различаясь лишь употреблением. Такова, например, метонимия «голова» вм. «человек»: «не идеть место к голове, но голова к месту»,[4] «а наилучьше в чюжю голову, нежели в свою»;[5] «зане сын твой ловить головы моея всегда»;[6] «А он головы твоея ловить»;[7] «добыл есми головою своею Киева и Переяславля».[8]

Такова же метонимия «ножь» или «мечь» вм. война, усобица, военные действия. Ср., например, слова, переданные Мономахом Давыду и Олегу Святославичам по поводу ослепления Василька Теребовльского: «Поидете к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьской земьли и в нас, в братьи, оже ввержен в ны ножь...».[9] Это выражение подхватывают Олег и Давыд, посылая к Святополку Изяславичу: «Что се зло створил еси в Русьстей земли, и ввергл еси ножь в ны».[10] Вместо слова «ножь» в Тверском сборнике здесь стоит «мечь».

На метонимии же построена и большая часть терминов военных и феодальных: «рука» — власть, могущество; «стяг» — полк;

---

[1] Ипатьевская летопись под 1252 г.
[2] Новгородская I летопись по Синодальному списку, под 1216 г.
[3] Ипатьевская летопись под 1151 г.
[4] Там же.
[5] Там же под 1169 г.
[6] Там же.
[7] Лаврентьевская летопись под 1177 г.
[8] Ипатьевская летопись под 1148 г.
[9] Лаврентьевская летопись под 1097 г.
[10] Там же.

«всесть на конь» — отправиться в поход и т. п. Особенно оживляют устную речь неожиданные и смелые предположения, скрытая ирония, гиперболы. Характерна в этом отношении речь Владимира Васильковича Волынского, которого мы можем охарактеризовать, на основании того немногого, что нам сохранила из его речей летопись, как большого мастера русской разговорной речи.

Вот что, например, говорит Владимир Василькович Мстиславу Даниловичу, начавшему еще до смерти Владимира распоряжаться его наследством: «Брате! Ты мене ни на полону ял, ни копьемь мя еси добыл, не из городов моих выбил мя есь, ратью пришед на мя, оже сяко чиниши надо мною». Дозволяя своей жене делать после своей смерти все, что ей заблагорассудится, Владимир Василькович так мотивирует это свое решение: «Мне не воставши (из гроба) смотрить, что кто иметь чинити по моемь животе (т. е. после моей смерти)». В ответ на просьбу Юрия Львовича дать ему в наследство Берестье умирающий Владимир Василькович вытащил из своей постели пук соломы, показал ее своему слуге Ратьше, которого посылал к Мстиславу Даниловичу, и произнес: «Хотя бых, ти, — рци, — брат мой, тот вехоть соломы дал, того не давай по моемь животе никому же».

Конкретность и образность характерна и для речи новгородцев. Когда Мстислав, изменив Новгороду, попытался затем в 1177 г. вернуться в Новгород, новгородцы сказали ему: «Ударил еси пятою Новьгород... чему к нам идеши».[1] Когда Вячеслав, Изяслав и Ростислав выходили из Киева против Юрия Долгорукого, киевляне говорили им, собираясь выступить все вместе: «Ать же пойдут вси, како можеть и хлуд (хлыст) в руци взяти; пакы ли хто не пойдеть, нам же и дай, ать мы сами побьемы».[2]

Особым лаконизмом, выработанностью формул, отчетливостью и образностью отличались речи, произносившиеся на вечевых собраниях. Несомненно, что вече выработало свои формы обращения к массе, умение сжато и энергично выразить политическую программу в легко доступной и легко запоминавшейся формуле. Образность и пословичность отличает эти вечевые обращения. В ответ на зов Мстислава Мстиславича пойти на Киев против Всеволода Чермного новгородское вече отвечало ему: «Камо, княже, очима позриши ты, тамо мы главами своими вьржем».[3] Так же энергична и речь посадника

[1] Лаврентьевская летопись под 1177 г.
[2] Ипатьевская летопись под 1151 г.
[3] Новгородская I летопись по Синодальному списку под 1214 г.

Твердислава на новгородском вече: «Даже буду виноват, да буду ту мертв; буду ли прав, а ты мя оправи, господи».[1]

Мы видели уже выше, что летопись донесла до нас много речей, произносившихся послами. По самому своему содержанию эти речи послов были гораздо более разнообразны и сложны, чем речи воинские и даже вечевые. В них меньше традиционных формул, шаблонных оборотов. Вместе с тем они легко заимствуют отдельные формулы из практики иной устной речи — вечевой, воинской, даже разговорной. Однако чем сложнее были задачи, ставившиеся дипломатическому языку, тем более блестяще они разрешались.

Прежде всего поражает своеобразный образный лаконизм посольских речей: «Оже есте мой Городець пожгли и божницю, то я ся тому отожгу противу», — говорит Юрий Долгорукий через послов Святославу Ольговичу.[2] Юрий Всеволодович следующим образом формулировал свое требование, переданное через новгородских послов: «Выдайте ми Якима Иванковиця, Микифора Тудоровиця, Иванка Тимошкиниця, Сдилу Савиниця, Вячка, Иванца, Радка; не выдадите ли, а я поил есмь коне Тьхверью, а еще Волховомь напою».[3]

Особенное значение в устной речи имела всегда выразительная антитеза: «Да аще (вам) любо, да седита, аще ли ни, да пусти Василка семо;[4] «А поиди, а мы с тобою, не идеши ли, а мы есмь в хрестьном целовании правы»;[5] «Годно ти ся с ним (Юрием) умирити — умиришися, пакы ли а рать зачнеши с ним»;[6] «Аще ты ратен — си ратни же, аще ты мирен, а си мирни же»,[7] и т. д.

Не следует думать, что система художественных средств устной речи была каждый раз плодом индивидуальной изобретательности. В дальнейшем мы увидим, что она в сильнейшей степени зависела от самой действительности, от воинской, феодальной символики, и этим объясняется ее относительная устойчивость.

В Ипатьевской летописи под 1185 г. сказано: «Всеволод же толма бившеся, яко и оружья в руку его не доста» — это говорится о Всеволоде буй туре брате Игоря Святославича в описании знаменитой битвы Игоря на реке Каяле.

---

[1] Новгородская I летопись по Синодальному списку под 1218 г.
[2] Ипатьевская летопись под 1152 г.
[3] Новгородская I летопись по Синодальному списку под 1224 г.
[4] Повесть временных лет под 1100 г.
[5] Ипатьевская летопись под 1148 г.
[6] Там же под 1154 г.
[7] Лаврентьевская летопись под 1186 г.

Тот же художественный образ находим мы спустя столетие в «Повести о разорении Рязани Батыем»: [1] «Еупатию тако их бьяше нещадно, яко и мечи притупившася, и емля татарскыя мечи и сечаше их».

Привычка к конкретному мышлению сказывается во многих из «речей» летописи. «Брате! — говорит Мстислав Изяславич Владимиру Мстиславичу Дорогобужскому, — хрест еси целовала, а и еще ти ни уста не осхла».[2] Сходный образ находим мы спустя сто лет в Волынской летописи, но уже не в прямой речи, а в повествовании самого летописца: «Лев же убояся того (угрозы татарского нашествия, — *Д. Л.*) велми, и еще бо ему не сошла оскомина Телебужины рати».

Устная речь оказывает постоянное воздействие на речь древнерусского автора. Она постепенно входит в письменность через прямую речь и остается в речи авторской. Замечательный пример тому — произведения Мономаха. «А бога деля, — просит Владимир Мономах Олега Святославича, — пусти ю ко мне вборзе с первым сломь, да с нею кончав слезы, посажю на месте, и сядеть акы горлица на сусе древе желеючи...».[3] Или другой пример из тех же сочинений Мономаха: «И ехахом сквозе полкы половьчские, не в 100 дружине, и с детми и с женами. И облизахутся на нас акы волци стояще...».[4]

Влияние устной речи на произведения Владимира Мономаха сказывается не только в заимствовании из нее художественных образов, но и в самом построении фраз: «Дивно ли, оже мужь умерл в полку ти?», «Аще ли лжю, а бог мя ведаеть и крест честный»; «Оли то буду грех створил, оже на тя шед к Чернигову, поганых деля, а того ся каю» и т. п. «Поучение» Мономаха как бы рассчитано на произнесение вслух. Возможно, что Мономах его диктовал, или, когда писал, представлял себя произносящим его.

Не только «Поучение» было рассчитано на произнесение вслух. Для чтения в церкви или в трапезной предназначались различные жития. Для произнесения перед паствой предназначались слова и поучения. Они предназначались для размеренного, богослужебного чтения, но и в них пробивались иногда живые бытовые интонации. Летопись не предназначалась для чтения, вслух, но стихия устной речи в ней была все же очень сильна.

---

[1] Список Государственной Библиотеки СССР им. В. И. Ленина, Волоколамск, 526, XVI в.

[2] Ипатьевская летопись под 1169 г.

[3] Лаврентьевская летопись под 1096 г.

[4] Там же.

Итак, письменная речь обладала самыми тесными связями с устной ораторской речью. Литература питалась за счет устной ораторской речи — тех образов, которые уже в ней имелись, тех точных выражений, которые составляли основу ее лаконизма, того традиционного содержания, которое в нее вкладывалось.

Ораторская речь, хотя и была импровизированной, обладала своими выработанными формулами, обладала своей традицией мастерства. Это была литература до литературы. Это было устное искусство, в котором были элементы художественности, позднее перешедшие в настоящую — письменную литературу.

Сперва только вкрапленные в летопись, эти речи постепенно входили в обиход письменности, расширяли словарь письменного языка, приучали говорить просто и ясно, вносили в письменность разнообразные синтаксические обороты и живую образность разговорного языка. Вместе с тем, речи действующих лиц летописи позволяли глубже раскрыть их политические убеждения. Связь с политической действительностью крепилась в этих речах особенно отчетливо. Это были своеобразные «окна в действительность», где почти не сказывались трафареты письменного языка, литературные приемы и литературная образность. Даже те из речей действующих лиц летописи, которые были явно придуманы, сочинялись так, как будто бы они были произнесены на самом деле — в манере действительных устных речей.

ДЕЛОВАЯ ПИСЬМЕННОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Литература как особая сфера творчества выделилась в русской письменности далеко не сразу. Отдельные элементы литературного художественного творчества обнаруживаются в деловой письменности задолго до того, как появились на русской почве первые переводы греческих литературных и церковных произведений.

Литература на первых порах ее развития тесно примыкает к деловой письменности — по преимуществу к тем ее формам, которые обслуживают господствующий класс населения.

Это имело очень серьезное значение во всем последующем развитии древней русской литературы. Тем более, что элементы литературные, художественные и не литературные, «деловые», не были в древнерусских литературных произведениях достаточно дифференцированы. Летопись для древнерусского читателя была прежде всего собранием свидетельств о прошлом, историей родины. Только в XVI в. она приобретает в сознании читателя значение художественного рассказа о прошлом (такова, например, «красная» и «сладкая» «История о Казанском царстве»). Связь с «деловой» письменностью отчетливо видна в «Поучении» Владимира Мономаха, обладающем рядом признаков, сближающих его с «духовными грамотами». Ряд воинских повестей, повестей о княжеских преступлениях также носили первоначально «деловой» характер. Они заключали в себе порой высокие образцы художественности, но художественность эта не осознавалась писателями и читателями как главная цель произведения. Впоследствии практические, а не литературные цели имели «Хожение за три моря» Афанасия Никитина, Стоглав, Домострой, челобитные Пересветова и др., ныне включаемые в общие курсы истории литературы.

Нет поэтому никаких оснований закрывать глаза на некоторые элементы художественности в договорах русских с греками

или в Русской Правде, в частности в ее древнейшей части, восходящей, повидимому, к VIII в.[1] В начальной и заключительной части договоров явственно ощущается их связь с русскими заговорными формулами (ср. начало и конец договора 944 г., заключительную часть договора 971 г.). Вместе с тем, к какому бы времени мы ни относили дошедшие до нас тексты обеих редакций Русской Правды, совершенно ясно, что самый тип письменности, представленный этим памятником, глубоко архаичен. Особенно это касается древнейшей части Русской Правды. Русская Правда наряду с договорами отнюдь не является произведением художественной литературы. Однако в Русской Правде есть те элементы, из которых эта художественность слагалась и без которых она была немыслима. И с этой стороны Русская Правда имеет глубокий интерес для историков литературы. Она помогает нам понять быстрый расцвет художественной литературы в XI в.

Русская Правда сжатым и точным языком определяет нормы древнейшего русского феодального права. Излагая эти нормы, Русская Правда входит в самые недра социальной жизни своего времени, устанавливает типичные правонарушения, рисует наиболее распространенные случаи и тем самым вводит нас в бытовую обстановку X—XII вв.

Бытовые черты и отдельные житейские положения, воссозданные в их наиболее общей форме, насыщают статьи Русской Правды — в равной степени и в ее древнейшей части, и в ее сравнительно более новой. Так, например, статья 17 Краткой Правды рисует сложную жизненную ситуацию: холоп ударил свободного мужа и убежал в хоромы своего господина, а тот отказывается его выдать. Не менее сложную ситуацию отражает и статья 38 Краткой Правды: вора поймали ночью на месте преступления на дворе у клети или у хлева; его связали, и есть свидетели, видевшие его связанным, а после убили. А вот и другая картина, изображенная в статье 21 той же Краткой Правды: «разбойники» забрались на самый княжеский двор, в усадьбу и там убили огнищанина у коня, быка или коровы; в этом случае Краткая Правда разрешает убить «разбойников» «в пса место».

Некоторые из статей Пространной Правды поражают нас сложностью предположенных в них жизненных положений: здесь и господин, разыскивающий своего холопа в чужом городе (статья 114 Пространной Правды), и владелец, разыскивающий

---

[1] Б. Д. Греков. Борьба Руси за создание своего государства. М., 1945, стр. 41.

свои вещи или вора. Сложное положение рисует статья 54 Пространной Правды. Купец отправился торговать, взяв чужой товар или деньги, и случилось ему по пути несчастье — товар потонул, сгорел или был отнят неприятелем. Здесь же и другой случай с тем же купцом: купец погубил вверенный ему товар по собственному безумию — пропил его, промотал или испортил по глупости. Как быть в каждом из этих случаев?

Еще более сложное положение рисует статья 55 Пространной Правды. Купец приехал из иного города или чужой земли и отдал свой товар в долг (очевидно для розничной торговли) купцу, который, как оказалось, был уже многим должен. Спустя некоторое время приезжий стал требовать свой товар назад, а местный купец не смог ни возвратить его, ни заплатить за него деньгами.

Сложные жизненные ситуации рисуют очень и очень многие статьи Пространной Правды (29, 30, 31, 114 и мн. др.).

Русская Правда выделяет в жизни наиболее общие случаи, абстрагирует их от всяких деталей, связывающих этот случай с той или иной местностью, с тем или иным лицом. Статьи Русской Правды могли быть в равной мере применимы в Новгороде, в Киеве, в Чернигове или в Полоцке. Это не право того или иного города, той или иной области. Однако, рисуя бытовые ситуации в такой абстрактной, отвлеченной от всяких деталей форме, Русская Правда с большим для своего времени искусством умела воссоздать реальность этих ситуаций, их возможность и их «юридическую» типичность.

В некоторых случаях Русская Правда не только описывает ситуацию, но как бы и разыгрывает ее в лицах, оживляя действие прямой речью. В древнейшей части Краткой Правды, в статье 14, показано, как следует действовать и говорить владельцу, опознавшему похищенную у него вещь. Владелец не должен пытаться отобрать ее и не должен говорить «мое», но должен сказать так: «Пойди на свод, где еси взял». В лицах же рисует розыски челядина и статья 16 Краткой Правды. Если господин узнает своего пропавшего челядина и захочет его отнять, то ответчик должен его повести к тому, у кого он был куплен, а тот пусть ведет к следующему, и когда дойдут до третьего, то только здесь можно владельцу сказать: «Вдай ты мне свой челядин, а ты своего скота ищи (своих денег, — *Д. Л.*) при видоце». Прямую речь можно встретить и в ряде других статей Русской Правды (см. статьи 35, 38, 52, 85 Пространной Правды).

Не может быть сомнений в том, что сжатый и точный язык и стиль Русской Правды, умение определить жизненную

ситуацию, умение конкретно представить себе эту ситуацию в лицах, выделить ее в жизни как наиболее частую, повторяющуюся, оказали серьезное воздействие на развитие литературы. Где бы ни была создана Русская Правда, в Новгороде или в Киеве, — она была распространена повсеместно и повсеместно известна. Знание Русской Правды было очень широким. Знакомство с нею мы можем подозревать даже у волхвов, стоявших во главе восстания смердов в Белозерском крае, описанного в «Повести временных лет» под 1071 г. Волхвы эти настаивали на том, что они подсудны только лично князю, имея, очевидно, в виду статью 33 Краткой Правды, согласно которой запрещалось «умучить» смерда «без княжа слова».[1]

Думается, что большое значение для развития литературы Русской Правды и ее предшественников как памятников высокой языковой культуры и высокой культуры обобщения не может вызывать сомнений.

Стиль изложения начальной части «Повести временных лет» во многом обнаруживает свою близость к документам деловой письменности в целом. «Повесть временных лет» отнюдь не едина по изложению. В ней есть части, написанные в стиле церковных произведений, есть пересказы произведений устного народного творчества, есть отражения реально произнесенных речей, но есть и куски, в которых явственно чувствуется зависимость от выработанного и точного способа изложения, принятого в грамотах.

Историков русской литературы неоднократно восхищало сжатое и точное описание географических пространств, занимаемых Русью. «Поляном же живши особе по горам сим, бе путь из Варяг в Греки и из Грек по Днепру, и верх Днепра волок до Ловоти, и по Ловоти внити в Ылмерь озеро великое, из него же озера потечеть Волхов и вътечеть в озеро великое Нево, и того озера внидеть устье в море Варяжьское. И по тому морю ити до Рима, а от Рима прити по тому же морю ко Царюгороду, а от Царягорода прити в Понт море, в не же втечет Днепр река. Днепр бо потече из Оковьскаго леса, и потечеть на полъдне, а Двина ис того же леса потечет, а идет на полунощье и внидеть в море Варяжьское. Ис того же леса потече Волга на въсток, и вътечеть семьюдесят жерел в море Хвалисьское. Тем же и из Руси можетъ ити по Волзе в Болгары и в Хвалисы, и на въсток доити в жребий Симов, а по Двине в Варяги, из Варяг до Рима, от Рима же и до племени Хамова. А Днепр втечеть в Понетьское море жерелом, еже море словеть Руское...».[2] Такого рода описания не

[1] Повесть временных лет, ч. II, стр. 404.
[2] Там же, ч. I, стр. 11—12, вводная часть.

единичны в русских грамотах. Они входят в обычное содержание грамот данных, духовных, договорных и др. Вот, например, определение земель, данных Антонием Римлянином Антониевому монастырю в Новгороде (данная грамота, не позднее 1147 г.): «А обвод той земли от реке от Волхова Виткою ручьем вверх, да на Лющик, да Лющиком ко кресту, а от креста на коровей прогон, а коровем прогоном на олху, а от олхи на еловой куст, от елового куста на верховье на Донцовое, а Донцовым внис, а Донец впал в Деревяницу, а Деревяница впала в Волхов. А той земле и межа».[1]

См. также в грамоте Всеволода Мстиславича Юрьеву монастырю на Терпужский погост Ляховичи: «Се аз князь великый Всеволод дал есмь святому Георгию Терпужьский погост Ляховичи с землею, и с людьми, и с коньми, и лес, и борти, и ловища на Ловати, а по Ловати на низ по конец Водоса за рекою за Любытиною по большии мъхи, с больших мхов на вьрх межьника, с того межьника на Каменичища на усть Березна, со обе стороны межьник ввьрх Березна, по обе стороны ввьрх Березна на вьрх Глистьны по чистый мох, от Морея с вьерх Глистьне на вьрх Робьи Ильмны, с вьрх Робьи на вьрх Лебединьца, с вьрх Лебединьца на вьрх Възвада, с верх Възвада на вьрх Городьни, на низ по одной стороне до Робьи. . .».[2]

Мы не приводим описаний местностей в сохранившихся грамотах XII и позднейших веков. Для нас не важны отдельные параллели. Важно только отметить, что наглядное, точное и последовательное описание географических пространств, занятых Русскою землею, создалось на основании опыта деловых документов.

Это не единственный случай, где «Повесть временных лет» обнаруживает свою зависимость от точного изложения, издавна выработанного в грамотах. Эта зависимость чувствуется и в хронологической таблице, помещенной под 852 г., и в перечислениях племен, которыми обладал Олег (под 885 г.) или которых он взял с собой в поход (под 907 г.), в перечислении племен, взятых в поход Игорем (под 944 г.), в описании даней, оброков, ловищ и погостов, уставленных Ольгой (под 947 г.), и т. д. Точное фиксирование участков того или иного действия, предметов, имущества — движимого и недвижимого, географических пунктов — составляет характерную черту актовой письменности, резко отличную от абстрагирующего стиля церковной письменности, где имена, конкретные названия должностей,

[1] Грамоты Великого Новгорода и Пскова. Под ред. С. Н. Валка, М.—Л., 1949, стр. 159.

[2] Там же, стр. 139—140.

местностей часто заменяются абстрактными определениями: «муж некий», «некто от властителей града того», «в некоем граде» и т. п. Летописец в значительной степени воспринимал свое произведение как документ, как документальную фиксацию старины. Особенно отчетливо это ощущается в новгородских летописях, стиль которых выработался независимо от «Повести временных лет» и приближается к стилю деловой прозы Новгорода.

Духовная Ярослава Мудрого, помещенная в «Повести временных лет» под 1054 г. — годом смерти Ярослава, свидетельствует об устойчивости самой формы и отчасти содержания княжеских духовных. Была ли духовная Ярослава Мудрого составлена им самим (а это сомнительно) или летописцем в последней четверти XI в. по общему стилю устных заветов Ярослава (что более вероятно), — в данном случае особого значения не имеет. Она начинается так же, как начинались и впоследствии многие и многие духовные русских князей: с объявления о том, кто пишет грамоту и при каких обстоятельствах: «Се аз отхожу света сего, сынове мои...» (ср. в начале духовной Ивана Даниловича Калиты: «Се яз грешный, худой раб божий Иван...»; ср. в духовной Семена Ивановича: «Се аз, худой грешный раб божий Созонт...» и т. д.). Видно, что форма духовных грамот уже сложилась ко времени Ярослава, а впоследствии только была значительно оцерковлена.

Традиционно до крайней степени и содержание духовных: не только раздел владений и имущества между наследниками, но и политические заветы. Призыв жить между собой в дружбе встречаем мы в равной степени как в духовных грамотах XI—XIII вв., так и в духовных грамотах XIV в.

В этом отношении Поучение Мономаха только развивает ту сторону духовных, которая в той или иной степени сказалась еще перед тем в так называемой духовной Ярослава, а затем будет поддерживаться в духовных великих князей московских.

«Поучение» Мономаха начинается так, как обычно было начинать духовные грамоты: «Аз худый, дедом своим Ярославом, благословленым, славным, наречный в крещении Василий, русьскымь именемь Володимир...».[1] Ср. духовную Антона Римлянина (не позднее 1147 г.): «Се яз Антоний, хужши во мнисех...»[2] или духовную Климента (не позднее 1270 г.): «Се аз раб божий Климянт...».[3] Наконец, можно вспомнить о включенной в ту же «Повесть временных лет», куда было

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 153, под 1096 г.
[2] Грамоты Великого Новгорода и Пскова, стр. 160.
[3] Там же, стр. 162.

вставлено и «Поучение» Мономаха, — подложной духовной Ярослава Мудрого. Она начинается также с объявления о самом себе — «се аз», но имя Ярослава пропущено. Зато в дальнейшем она близко напоминает «Поучение» Мономаха: «Се аз отхожю света сего (ср. в «Поучении» Мономаха: «Аз худый... седя на санях»...), сынове мои; имейте в собе любовь, понеже вы есте братья единого отца и матере. Да аще будете в любви межю собою, бог будеть в вас, и покорить вы противныя под вы. И будете мирно живуще. Аще ли будете ненавидно живуще, в распрях и которающеся, то погыбнете сами, и погубите землю отцов своих и дед своих, юже налезоша трудомь своимь великым; но пребывайте мирно послушающе брат брата».[1] Ср. в «Поучении»: «Не грешите ни одину же ночь... А того не забывайте, не ленитеся... Всего же паче убогых не забывайте, но елико могуще по силе кормите, и придайте сироте, и вдовицю оправдите сами, а не вдавайте силным погубити человека... Аще будеть повинен смерти, а душа не погубляйте никакоя же хрестьяны»[2] и т. д.

Близко напоминает документ и летопись личных походов и дел Мономаха, включенная им в его «Поучение». Летопись эта начинается так: «А се вы поведаю, дети моя, труд свой, оже ся есмь тружал, пути дея и ловы с 13 лет...».[3] Ср. грамоту данную Антония Римлянина Антониеву монастырю (не позднее 1147 г.): «Се труд, госпоже моя пречистая богородица, имь же трудихся на месте семь».[4] Дальнейшее в грамоте Антония и в «Поучении» Мономаха представляет собой типичное для деловых документов перечисление. В духовной того же Антония имеются и дальнейшие соответствия летописи Мономаха: «И наша по чюжей земле ни вдвое ни воедино, ни себе покоя не дах, и братьи и сиротам и зде крестьяном досажая. Да то все управит мати божия, что есмь беды принял о месте сем».[5] Ср. в «Поучении»: «Еже было творити отроку моему, то сам есмь створил, дела на войне и на ловех, ночь и день, на зною и на зиме не дая собе упокоя».[6]

Дело не в тех случайных или не случайных совпадениях, которые могут быть замечены между «Поучением» и грамотами. Дело в том, что «Поучение» Владимира Мономаха — произведение несомненно громадной художественной силы — близко стоит по самой манере изложения, по отдельным попадающимся в нем

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр.. 108, под 1054 г.
[2] Там же, стр. 157, под 1096 г.
[3] Там же, стр. 158, под 1096 г.
[4] Грамоты Великого Новгорода и Пскова, стр. 159.
[5] Там же, стр. 160.
[6] Повесть временных лет, ч. I, стр. 163, под 1096 г.

формулам, по отношению к самой своей задаче, по своей целенаправленности к деловым документам. Составляя свое «Поучение» и внося в него живое дыхание собственной мысли, собственных чувств, собственного опыта, Владимир Мономах ощущал его, тем не менее, как произведение деловое, как «грамотицу».

Вопросу о том, что именно восприняла литература из деловой письменности, должно быть посвящено особое исследование. Детали нам сейчас не важны. Важно лишь то, что среди местных, самобытно русских истоков русской литературы, наряду с устным народным творчеством, мы не должны забывать и о богатом опыте деловой письменности, несомненно уже широко представленной разными видами документов в XI в.

Деловая письменность существовала раньше, чем появилась литература: в этом не может быть сомнений, хотя отдельные виды документов в подлинном виде и не дошли до нас от X—XI вв. Эта деловая письменность отнюдь не должна смешиваться с художественной литературой. Однако литература еще долго будет сохранять свою связь с деловой письменностью. Умение кратко и сжато выразить сложную мысль сыграло большую роль в становлении литературы; не меньшее значение имело искусство в составлении юридических обобщений (в Русской Правде, в договорах с греками), подготовившее развитие обобщений художественных. Особенно велико было значение деловой письменности в развитии литературы исторической: в летописи киевской, в летописи новгородской (здесь сильна связь с деловой прозой Русской Правды) и в светской литературе в целом.

К ВОПРОСУ О «ВИЗАНТИЙСКОМ ВЛИЯНИИ» НА РУСИ

Один из наименее изученных вопросов раннефеодального периода в истории культуры Руси — это вопрос о так называемом «византийском влиянии». Буржуазная наука и, в частности, буржуазное литературоведение склонны были придавать этому «византийскому влиянию» определяющее значение в образовании древнерусской литературы.

Еще до недавнего времени общие курсы истории русской литературы древнейшего периода принято было начинать с разделов, посвященных переводной литературе. В этих разделах рассматривались переводы, сделанные с греческого и в XI, и в XII, и даже в XIII вв. В результате переводные произведения XII—XIII вв. оказывались поставленными впереди русских оригинальных произведений XI в. Волей или неволей у читателей могло создаться впечатление, что вся переводная литература предшествует всей местной, русской, а в теоретическом плане «византийское влияние», непосредственно или через болгарское посредничество, как бы объявлялось единственным фактором сложения древнерусской литературы на ранних этапах ее развития.

С другой стороны, полное отрицание влияний, заимствований и взаимодействия литератур было характерно для вульгарных материалистов. Оно было, в частности, характерно и для «школы» Н. Я. Марра, для ее так называемого «палеонтологического анализа», опиравшегося на «теорию самозарождения» антропологической школы Тэйлора, Лэнга, Бастиана, Фрезера.

К. Маркс и Ф. Энгельс подчеркивали, что в развитии идеологических форм существует преемственность и взаимодействие между собой. «Как особая область разделения труда, философия каждой эпохи располагает в качестве предпосылки определенным мыслительным материалом, который передан ей

ее предшественниками и из которого она исходит».[1] Экономическое развитие оказывает влияние на различные области идеологии «в конечном счете», но «оно имеет место в рамках условий, которые предписываются самой данной областью: в философии, например, воздействием экономических влияний (которые опять-таки оказывают воздействие по большей части только в своем политическом и т. п. одеянии) на имеющийся налицо философский материал, доставленный предшественниками».[2]

У нас нет никаких оснований умалять значение переводной литературы в формировании литературы собственно русской. Роль переводной литературы бесспорна, но, вместе с тем, и не так безгранична, как это представлялось буржуазному литературоведению.

Нет оснований преуменьшать значение взаимодействия идеологических форм, их преемственность и взаимодействие культур отдельных стран, однако эти взаимодействия в конечном счете каждый раз определяются базисами, внутренними особенностями в развитии общества. На этом положении нам и придется остановиться в дальнейшем, рассматривая исторические предпосылки так называемого «византийского влияния» на русскую литературу.

Вопрос о переводной литературе XI в. не может рассматриваться изолированно от общеисторического процесса того же времени. Русско-византийские литературные отношения являлись лишь частью их отношений общеполитических и культурных. Именно этого не хотели понять буржуазные литературоведы, занимавшиеся историей литературы в отрыве от истории, изучавшие литературу древнерусского государства в отрыве от общих проблем русской культуры того же времени. А между тем разве можно понять идейный смысл «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, не принимая во внимание византийско-русских отношений времени княжения Ярослава Мудрого, или пытаться истолковать Поучение Владимира Мономаха вне его собственной политической деятельности.

С давних времен, с начала второй половины первого тысячелетия, по мере развития классового феодального общества на Руси все более и более стал выделяться идеологический фактор. Объединение племен, затем образование собственно государства не только разбудили патриотическое сознание народа, вызвали его к жизни, но и сами для своего осуществления нуждались в этом патриотическом сознании. Вместе с тем развитие

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Избранные письма. 1947, стр. 430.
[2] Там же.

классов приводило к тому, что господствующий класс феодального общества все более испытывал нужду в идеологической опоре своего господства, в идеологической «обработке» народных трудовых масс.

Образование обширного, но еще не спаянного достаточно прочными экономическими связями государства, потребовало создания литературы, которая могла бы обслуживать это государство и господствующий класс.

Со сменою исторических формаций новый господствующий класс прибегает к идеологическим формам воздействия на эксплоатируемые классы, частично заимствуя эти формы идеологического воздействия у господствующего класса предшествующей формации. Так было при смене рабовладельческой формации феодальной, и феодальной — капиталистической.

Феодальная литература южной и частично Западной Европы среди многих факторов своего создания имела, в частности, наследие античности как материала для создания новой классовой литературы феодалов. Враждебная античной языческой культуре церковь была вместе с тем ее активной хранительницей и пропагандистом — в той ее части, которая могла способствовать утверждению классового господства феодалов. Еще «блаженный» Августин указывал на необходимость изучения античной литературы. Изучение античности в эпоху феодализма на Западе процветало и во времена Карла Великого. В придворной академии Карла Великого — в своеобразном аристократическом кружке, где главными участниками были крупные феодалы, — писались латинские стихи, подражающие римским поэтам классического периода. Участником этого латинского стихотворства был и сам Карл Великий. Это отнюдь не случайно: классовое общество нуждалось в классовой литературе, заимствуя и используя для этого опыт классовой же литературы предшествующей рабовладельческой формации, опыт античности. Нечего говорить, что феодалы приспосабливали к своим классовым интересам античную литературу и не могли правильно, всесторонне ее воспринять.

То обстоятельство, что Русь пришла к феодализму, минуя рабовладельческую формацию, было чревато значительнейшими последствиями в области идеологической надстройки. Отсутствие развитой рабовладельческой стадии в истории восточного славянства создало совершенно иную ситуацию в области культурного наследия, чем в феодализме византийском и, частично, южно- и западноевропейском. Там, на юге и на западе Европы и в Византии, феодалы имели возможность использовать, приспосабливать к своим нуждам классовую культуру античности. Совершенно иным было положение на Руси. Богатейшее куль-

турное наследие древнерусского государства, воспринятое от предшествующего периода, не было классовым. Киевская Русь обладала собственной многовековой культурной традицией, но эта традиция была в основном традицией народной культуры. Эта традиционная народная культура стала мощной опорой самобытности русской культуры во всем последующем ее развитии. Однако на промежуточных ступенях развития между обществом родовым и феодальным не успели еще выработаться свои классовые, достаточно развитые надстроечные явления, опытом которых могли бы воспользоваться феодалы.

Русская литература эпохи феодализма не имела предшествующей ей литературы. Сама письменность возникла еще недавно. Между тем, в создании собственной надстройки, как мы уже видели, господствующий класс испытывал острую потребность.

Вот почему за поисками идеологической опоры господствующему классу древней Руси пришлось обратиться к развитой классовой культуре Византии. Именно здесь, в Византии, феодальные верхи Руси могли найти немало готовых ответов на свои запросы. Под властным давлением классовых потребностей в собственной надстройке верхи феодального общества Руси обращаются к Византии и находят здесь многое, что могло оказаться им пригодным.

Сходные явления мы видим и в северной Европе — в Скандинавии. Скандинавские народы развивались от родовых отношений к феодальным, минуя рабовладельческую формацию. Развитие феодальных отношений вынуждает их в XIII в. обращаться к опыту классовой феодальной рыцарской культуры европейского континента и Англии.

Та культура, которая заимствуется господствующим классом феодальной Руси из Византии, была в основном культурой господствующего класса. Византийская народная культура, особенно отчетливо представленная в восточных, малоазийских провинциях Византийской империи, почти не оказала непосредственного «влияния» на культуру Руси.[1] Воспринятой на Руси оказалась по преимуществу культура Константинополя, культура чиновничьей, аристократической верхушки Византии, культура двора, правительства — культура господствующего класса Византии. Эта культура была подчинена интересам государства Византии, интересам классового господства византийской аристократии и резко противостояла культуре трудового населения

[1] Ниже мы укажем, что через посредство верхов феодального общества Византии народная византийская культура, воспринятая этими верхами, на Русь влияние оказала довольно сильное.

Византии,[1] хотя частично и использовала ее в своих классовых интересах.

Чиновничество, двор, церковь требовали от искусства и литературы прежде всего дидактики, поучения, воспитания граждан в духе покорности государству и церкви. В литературе, как и в искусстве, господствующие классы Византии искали прежде всего общедоступного изложения религиозного учения и требовали от них, чтобы они вселяли уважение к государственной власти и власти церкви.

Литература и искусство Византии носили ярко выраженный идеалистический характер. Литература и искусство шли не от опыта, не от наблюдений, не от реальной жизни, а от «вечных» богословских «истин». В жизни писатели и художники пытались найти лишь конкретное воплощение этих истин. Конечно, и в византийскую литературу проникали и наблюдение действительности, отражение политических требований жизни, но они проникали вопреки той общей идеалистической установке, которая господствовала в византийской культуре. Проникало в византийскую литературу и народное начало, народные темы, сюжеты, но они, в основном, подчинялись интересам господствующей идеологии. Так было с поэмой о Дигенисе Акрите или с житием Алексея Человека божьего. Чисто народная литература проникала на Русь неофициальными каналами — вместе с еретическими мнениями. К народной литературе отчасти могут быть отнесены некоторые апокрифы. Пути проникновения их на Русь однако не изучены.

Таким образом, первое, что мы должны отметить, изучая вопрос о «византийском влиянии», — это то, что «влияла» на Русь вовсе не вся византийская культура, а преимущественно та ее часть, которая имела теснейшую связь с господствующим классом византийского общества и отвечала его нуждам.

Летописец по-своему довольно точно определил в рассказе о выборе новой веры те черты византийской культуры, которые определили предпочтение, отданное русскими послами византийскому православию среди всех других вероисповеданий, с которыми они познакомились. Послов привели в царьградский храм Софии. Для них было устроено особенно торжественное богослужение. Впечатление от этого богослужения, — очевидно в совокупности всех его сторон, — впечатление от храма (от архитектуры), от убранства храма (мозаик, фресок, икон, золотых сосудов), от церковного пения (от музыки), — вот что, по мнению летописца, решило вопрос о вере.

[1] См. характеристику господствующей культуры Византии в книге В. Н. Лазарева: Искусство Византии. М., 1947, гл. I.

Конечно, не тот или иной прием русских послов в царьградской Софии определил выбор веры, но, тем не менее, доля истины в определении причин предпочтения православия в этом летописном рассказе все же есть. В сущности, это очень верный и очень умный рассказ летописца, который только при поверхностном взгляде может показаться наивным.

С точки зрения летописца, выбор православной веры был продиктован пышностью византийской культуры, ее способностью идеологического воздействия. В этой пышности нуждалась господствующая часть русского общества для утверждения своего господства.

Греки знали, что они делали, когда показывали русским послам торжественное богослужение в Софии. Так они поступали не с одними русскими послами. В житии Григория Омиритского рассказывается о том, что греки показывали софийское богослужение послам халифа Моавии, — в результате впечатления от рассказа своих послов халиф крестился. Об особенно торжественном приеме в императорском дворце в Константинополе повествует и епископ Кремонский — Лиутпранд. Таких случаев было немало.

Таким образом, культура, которая оказала «влияние» на русское общество, была культурой высших классов Византии. Это была культура аристократии, чиновничества, культура тесным образом связанная с потребностями правительства Константинополя, хотя и созданная частично руками народа. Как мы уже отметили, местная, независимая народная культура Византии осталась в стороне, и теперь нам понятно почему: в византийской культуре на Руси были заинтересованы только верхи киевского общества, господствующий класс феодалов Руси нуждался в культуре господствующих классов византийского общества.

Старая классовая византийская культура была призвана на помощь молодой классовой же культуре Руси. Потребности господствующего класса феодалов на Руси — вот, что определило собою в первую очередь перенос элементов культуры господствующего класса феодалов Византии.

Отсюда совершенно ясен вывод, который очень решительно бьет по тем, кто видел в так называемом «византийском влиянии» явление общенародное, кто объяснял это «влияние» как влияние более развитой национальной культуры на менее развитую национальную же культуру, кто видел в этом влиянии чисто пассивное следование русских образцам более высокой культуры. На самом деле так называемое «византийское влияние» есть явление классовое, по преимуществу искусственное, и вызывалось

оно главным образом активными потребностями господствующего класса феодалов Руси.

Необходимо отметить, что склонностью находить себе опору в чужеземной культуре во все времена и у всех народов отличались прежде всего господствующие классы: в России феодалы, затем дворянство и, наконец, буржуазия. «Заказчик» и в самом деле будет всегда чаще находиться под влиянием чужеземных образцов, моды, трафаретов и традиций.

Подлинный же творец — носитель начала самобытного — будет вносить новое и свое в создаваемые им произведения, будет меньше следовать неразумной традиции и будет тверже противостоять моде на чужое.

Вот почему трудовой народ не бывает заражен космополитизмом и всегда противостоит «влияниям». Между тем господствующие классы обычно больше всего нуждаются в том, чтобы следовать чужеземным образцам. Именно «нуждаются», — чтобы, сменив свое на чужое, резче отделиться от трудового народа, искусственно и властно встать над ним.

Однако в нашем случае перенос отдельных элементов византийской культуры в конце X—XI в. отнюдь не свидетельствует еще об особой склонности феодальных верхов к «космополитизму». Здесь дело сложнее, чем представляется обычно.

Прежде всего термин «влияние» далеко не точен. «Влияние» предполагает активность влияющего и пассивность того, на кого влияют. В нашем же случае дело обстояло как раз обратно. Феодальные верхи активно берут, а не получают от Византии то, что им нужно. Они берут элементы византийской культуры для утверждения своего классового государства. Это кажется на первый взгляд парадоксальным, но это было именно так.

В период раннего феодализма, когда класс феодалов был еще молодым и ему принадлежало будущее, элементы византийской культуры усваивались на Руси путем борьбы. Борьба возникала как следствие жизненно-крепкого усвоения. Творческий же характер усвоения был отчасти обусловлен борьбой. Мне уже приходилось говорить о том, что усвоение элементов византийской культуры сочеталось при Ярославе Мудром с борьбой против политического влияния этой культуры и против идейных притязаний византийской императорской власти.[1]

Несмотря на то, что Десятинная церковь в Киеве при Владимире и громадное строительство, предпринятое в Киеве Ярославом Мудрым, в частности храм Софии с его пышным

[1] Д. С. Лихачев. Национальное самосознание древней Руси. М.—Л., 1945.

внутренним убранством, были осуществлены в основном в византийских формах, они были творчески переработаны, — это было русское искусство, и не только по праву собственности. Строительство это служило Русскому государству. Стремление создать пышные храмы диктовалось отчасти чувством равноправности Руси Византии. Самые размеры и великолепие убранства церкви Софии как бы доказывали силу и могущество Руси, русской церкви, ее права на самостоятельное существование. Не случайно Адам Бременский называл Киев соперником Константинополя, а Маркс и Энгельс, имея, повидимому, в виду именно это свидетельство Адама Бременского, говорят, что Киев «называли вторым Константинополем».[1]

Элементы византийской культуры со всей определенностью, со всей решительностью были поставлены на службу Русскому государству.

Затрачивая огромные средства, скопившиеся в немногих руках русской феодальной знати в конце X—XI вв., господствующему классу Руси удалось перенести к себе элементы аристократической культуры Византии. Она сказалась в различных формах, но на первых порах не во многих местах, не во многих городах и княжествах. Она налегла тонким слоем, подвергшись резкому переосмыслению, став русской, если не по форме, то по идее — по своему служению относительно единому древнерусскому раннефеодальному государству.

В самой Византии культура господствующих классов была в значительной мере лишена какой-либо одной национальной окраски, она была в известной мере многонародной. Она соединила в себе элементы культуры многочисленных народностей южной Европы, Северной Африки и Малой Азии, в частности Армении, Грузии и других стран. Вот почему с такой легкостью могли совершаться и обратные пересадки в инородную почву: на Русь, в Италию, в Грузию, в Армению, или, скажем, в несторианскую Абиссинию. В целом «византийское влияние» на Руси или византийские традиции усиливаются каждый раз, когда усиливается централизация государственной власти.

Значение отдельных элементов культуры господствующего класса Византии было особенно велико и необходимо в пору перехода к развитому классовому феодальному обществу, в пору усиления господствующего класса феодалов. Византийская классовая и правительственная культура оказывается особенно полезной для древнерусского государства в X—начале XI в. В пору же феодальной раздробленности она ослабевает. В это

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. IX, стр. 439.

время стало возможным существование множества местных художественных и литературных школ.

В эпоху образования русского централизованного государства, особенно в конце XV и в XVI в., идеалистические «византинизирующие» влияния очень усиливаются в русской культуре сверху, но они встречают резкое противодействие снизу мощной народной культуры. Обращение к византийским элементам культуры уже после падения Византии, утраты ею независимости, представляет очень интересное явление в русской культуре XVI—XVII вв. Феодальный класс Руси возрождает идеи византийской государственной власти, применяя их к власти русского государя, обращается к произведениям византийской литературы, к формам византийского искусства с целью укрепления авторитета государственной власти особенно в годы реакции.

Слабые попытки, но все же попытки возродить традиции идеалистической византийской культуры делаются в годы после «Смуты» как реакция на крестьянские войны и социальные движения первых лет XVII в.

Таким образом, «византийское начало» искусственно оживляется уже после того, как исчезла сама Византия. Здесь, следовательно, опять-таки дело не во «влиянии».

*

Был ли этот перенос элементов культуры господствующего класса Византии в культуру господствующего класса Руси явлением прогрессивным? Вопрос этот удобнее поставить в такой форме: отвечал ли этот перенос хотя бы в каких-то отношениях интересам трудового народа или он только способствовал усилению классового господства феодалов; способствовали ли эти элементы культуры господствующего класса Византии развитию всей русской культуры в целом?

Ответ на этот вопрос должен быть, конечно, положительным. Древнерусское язычество было по преимуществу связано с доклассовым сознанием, с доклассовой стадией развития общества. Оно стало тормозящей и реакционной силой в развитии русского общества, в развитии политической жизни Руси VIII—X вв., в развитии даже хозяйства. Попытки преодолеть племенную раздробленность древнерусского язычества делаются в это время не только сверху, княжеской властью, как это неоднократно отмечалось в исторической литературе, начиная с Е. В. Аничкова,[1] но и снизу, от народа (см. об этом выше, стр. 33 и сл.).

[1] Е. В. Аничков. Язычество и древняя Русь. СПб., 1914, стр. 308 и сл.

В самом же утверждении единства Руси, в создании относительно единого древнерусского государства были заинтересованы не только представители господствующего класса, но отчасти и сам народ. Введение христианства и отмена язычества, если не субъективно, то во всяком случае объективно, отвечало интересам народа, поскольку оно крепило единство Руси и способствовало укреплению древнерусского государства с центром в Киеве.

Игнорирование классового характера византийской культуры приводило исследователей к совершенно неправильным представлениям о так называемом «византийском влиянии на Руси». Казалось, что византийская культура «влияла» на русскую культуру, как якобы «всякая» более сильная культура влияет на более слабую, причем Русь якобы совершенно пассивно поддавалась этому процессу «влияния», а Византия действовала активно и наступательно. Все дело сводилось к столкновению двух культур, в котором побеждала сильнейшая. Классовый характер обеих культур не интересовал исследователей. Две «национальные», общенародные культуры якобы вступали во взаимодействие и победа оказывалась на стороне одной из них.

Приведем некоторые характерные высказывания буржуазных искусствоведов, чтобы показать, как обстояло дело в старой буржуазной науке с вопросом о «влиянии» Византии. «История искусства, научно поставленная, — писал Н. П. Кондаков, — показывает нам, что всякое искусство начинает свою деятельность так называемым заимствованием, правильнее говоря, — общением с высшею культурою».[1] Еще более «разительное» и характерное высказывание встречаем мы у Д. В. Айналова: «Прямо скажу, что „космополитизм“ был раньше и есть теперь та счастливая особенность русского искусства, которая создала из него самостоятельное особое бытие».[2] Повидимому, Д. В. Айналов сам неясно понимал, что он писал, но его суждение не теряет от этого своей характерности.

В лучшем случае буржуазные исследователи говорили о том, что византийская культура, оказывая влияние на русскую, сама изменялась на русской почве: «...новая культура с христианством и письменностью налегла на старую, слабую и первобытную, претворяла ее, сама изменялась в зависимости от почвы, на которую она ложилась».[3]

---

[1] Н. П. Кондаков. О научных задачах истории русского искусства. СПб., 1899, стр. 6.

[2] Труды II Всероссийского съезда художников, т. I, СПб., 1912, стр. 6.

[3] М. Н. Сперанский. История древней русской литературы. Введение, Киевский период. М., 1920, стр. 150.

Между тем внутренний анализ состояния культур и базисов обеих стран ясно показывает, что дело обстояло гораздо сложнее, чем это представлялось обычно поверхностному и исторически необоснованному наблюдению старых буржуазных литературоведов. Сталкивались вовсе не две национальные культуры, и результат этого столкновения отнюдь не может быть определен как «влияние», под которым обычно разумеется некий пассивный и стихийно происходящий процесс.

Конечно, все поднятые нами вопросы в связи с проблемой так называемого «византийского влияния» требуют углубленного изучения. Очень может быть, что в результате этого углубленного изучения некоторые из заинтересовавших нас в этой проблеме вопросов придется решать иначе, другие — и решать иначе, и ставить более точно, но совершенно ясно, что проблема восприятия какой-либо культурой элементов культуры другой не может решаться научно без учета классовых основ каждой культуры. В целом проблема так называемого «византийского влияния» оказывается гораздо более сложной, чем она казалась представителям старого литературоведения, пережитки которого в толковании этой проблемы явственно ощущаются еще и до сих пор.

Нужно особенно ясно себе представить, что процесс формирования литературы — явление сложное и многообразное. «Византийское влияние», даже и правильно понимаемое, представляло собою лишь одну сторону этого процесса и не было явлением определяющим, ведущим. Основой формирующейся литературы, как мы уже видели, была русская историческая действительность феодального периода во всем русском самобытном своеобразии ее частей.

ЗНАЧЕНИЕ ПЕРЕВОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В РАЗВИТИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ

Роль переводной литературы в развитии русской литературы бесспорно значительна. Для того чтобы конкретно представить себе эту роль, следует прежде всего проанализировать характер самой переводной литературы.

Литература, перешедшая на Русь с помощью русских и болгарских переводов, была теснейшим образом связана с церковью. Она была подчинена задачам дидактики, поучения, воспитания граждан в духе покорности церкви и государству. Значительная ее часть была связана с богослужением или входила в распорядок уставных чтений всех трех монашеских уставов, перенесенных на Русь с принятием христианства. Как орудие религиозного воспитания переводная литература носила идеалистический характер. Она была в значительной мере отрешена от жизни, от всего конкретного и национального, обращалась к потустороннему и вневременному. Церковная практика вынуждала эту литературу к косности, отсутствию движения, приучала к застылости форм, жанров, веками повторяя один и тот же материал.

Наряду с церковной литературой на Русь была перенесена и светская литература Византии, однако также связанная с культурой господствующего класса. Вся эта переводная литература, особенно литература церковная, в основном способствовала становлению классового характера русской литературы феодального периода.

Мы уже отмечали выше, что византийское «влияние» на русскую литературу было обусловлено прежде всего потребностями классового характера. Византийское «влияние» ответило внутренним потребностям феодального общества в своей классовой литературе, литературе, которая способствовала бы укреплению феодального базиса.

Конечно, при всем громадном значении, которое имел классовый момент в культурных взаимоотношениях Руси и Византии,

этим отношением господствующих классов и их господствующих культур дело не исчерпывалось.

Из Византии и Болгарии проникали на Русь апокрифы и еретические учения, и каналы их проникновения были совершенно иными. Так, например, волхвы, с которыми столкнулся в Чудской земле некий новгородец, по летописному повествованию 1071 года, рассказывали о своем вероучении, а оно представляло собой любопытную смесь древнерусского язычества и богумильства. Ясно, что последнее явилось на Русь далеко не официальными путями. Однако рассмотрение этого вопроса не может входить сейчас в нашу задачу.

*

Итак, переводная литература, широким потоком влившаяся в русскую литературу в X—XIII вв., ответила прежде всего классовым потребностям феодалов, помогала определению классового лица русской литературы феодального периода. Она способствовала утверждению в литературе церковной идеологии, принеся с собой ряд новых жанров: жития, проповеди, различные виды церковных песнопений и т. д. Эти новые жанры также способствовали утверждению церковной идеологии. Наконец с переводной литературой были перенесены на Русь ряд способов выражения этой церковной идеологии: в отдельных приемах риторического искусства, в отдельных приемах изображения внутреннего состояния христианских подвижников и т. д. Наконец, переводная литература способствовала утверждению в русской литературе ряда образов, символов, метафор, отражавших все ту же церковную идеалистическую систему.

Однако переводная литература была воспринята на Руси далеко не пассивно.

Современное понятие перевода не всегда применимо к так называемой переводной литературе древнерусского государства. Русские «переводчики», а главным образом русские переписчики и иногда даже читатели (на полях рукописей) постоянно вносили в эти переводы добавления, разъяснения, упрощали язык, иногда сокращали содержание памятника или, наоборот, вставляли целые куски из других произведений, приспосабливая переводы к нуждам русской действительности. Иногда русские книжники перестраивали композицию переводного сочинения или создавали на их основе сводные большие композиции, посвященные крупным темам: всемирной истории, ветхозаветной истории и т. п. «Переводчики» предпочитали считаться с потребностями читателя иногда в большей мере, чем соблюдать близость к оригиналу.

По мнению А. И. Соболевского, на Руси в первые века после официального крещения Руси были уже «почти все те южнославянские переводы IX—X вв., которые мы знаем по дошедшим до нас спискам».[1] Однако очень рано, со времени княжения Ярослава Мудрого, который «собра писце многы, и прекладаше от грек на словеньское письмо»,[2] переводы начали делаться и на Руси.

Акад. В. М. Истрин, много поработавший над установлением русского происхождения различных переводов с греческого XI—XIII вв., так определяет сумму переводов, сделанных, по его мнению, русскими переводчиками еще при Ярославе: «Новопереведенная литература была разнообразного содержания. Тут были произведения и исторического характера, как „Хроники" Георгия Синкелла и Георгия Амартола или „История Иудейской войны" Иосифа Флавия, и естественно-научного, как „Христианская топография" Козьмы Индикоплова, и повествовательного, как „Повесть об Александре Македонском" („Александрия") или „Повесть об Акире Премудром", и житийного, как „Житие Василия Нового", и апокрифическо-пророческого, как „Откровение Мефодия Патарского", и богословско-догматического, как „Исповедание веры" Синкелла, вошедшее скоро в летопись, и т. п.».[3]

Если учесть, что приведенный В. М. Истриным перечень далеко не полон и что весь он падает на одно княжение Ярослава Мудрого, то мы должны будем притти к выводу, что переводы с греческого должны были быть предметом государственной заботы на Руси. Известие «Повести временных лет» о личной заботе Ярослава о переводах «на словеньское письмо» получает, следовательно, подтверждение и в чисто фактическом материале.

Что же представляла собой переводная литература, явившаяся на Русь путем собственных — русских и болгарских переводов, и что нового внесла она в русский литературный обиход?

Прежде всего, практические потребности богослужения вызвали появление на Руси богослужебных книг. Эти книги должны были служить руководством при совершении довольно сложного к началу XI в. христианского культа. От XI в. до нас дошли в болгарском переводе служебная месячная Минея (собрание служб в календарном порядке на весь год), Триоди («постная» — тексты праздничных служб до пасхи и «цвет-

[1] А. И. Соболевский. Переводная литература Московской Руси XIV—XVII веков. СПб., 1903, стр. V.

[2] Повесть временных лет, ч. I, стр. 102.

[3] В. М. Истрин. Очерк истории древнерусской литературы домосковского периода (11—13 вв.). Пгр., 1922, стр. 4.

ная» — тексты служб в послепасхальное время), затем служебники и требники (руководства при обычных богослужениях). Помимо исключительно «деловой» части, эти богослужебные книги заключали в себе тексты литературно-поэтического характера — песнопения и чтения, составлявшие, так сказать, художественную часть богослужебного ритуала. Эти богослужебные книги могли служить и для чтения вне церкви и использовались при обучении грамоте (Часослов). В церковных песнопениях — канонах, стихирах, кондаках, икосах Иоанна Дамаскина, Григория Назианзина, патриарха Софрония — не утратилась еще связь с античной и эллинистической поэзией, с настроениями античной философской лирики. Несложные по тематике (молитвы об исцелении и защите, покаянные молитвы, хвалы святым и божеству) церковные песнопения были очень сложны по своей стилистике и перенесли в русский литературный обиход отдельные цветистые выражения, рифму (обычного в Византии глагольного типа), ритмическое построение прозы, сложные и изысканные сравнения.

Основной «корпус» христианского вероучения — Библия — не был еще полностью переведен в XI—XIII вв. Переведено было только то, что отвечало непосредственным потребностям христианского культа, либо ее исторические части для включения в большие исторические сочинения сводного характера — Толковую Палею и др. Тем не менее библейские книги были довольно хорошо представлены в переводах — полностью или в сокращениях.

Значение переводов из Библии было для русской литературы очень велико. Чрезвычайно пестрый и в идеологическом и в художественном отношении состав библейских книг, созданных в разное время на протяжении более тысячелетия, включал произведения самых разнообразных жанров, начиная с философской лирики и кончая воинской повестью. Библейские книги заключали в себе обильные фольклорные мотивы, сказочные сюжеты, полулегендарную историю еврейского народа, проповеди, космогонические мифы, биографические повествования, богословские трактаты, лирические песнопения и т. д.

Библия в феодальный период была авторитетна не только для господствующего класса, но и для широких народных масс. Вот почему в Библии черпала свое основание не только официальная догматика, но и ереси, не только представители господствующего класса, но в дальнейшем и социальные реформаторы — противники рабства и изобличители богатых. Отдельные библейские сюжеты развивала впоследствии народная фантазия (апокрифы). Русские проповедники пользовались

библейскими образами; разнообразное применение получали отдельные библейские изречения.

Перенесены были на Русь из Болгарии, а частично и переведены на Руси многочисленные сочинения христианских писателей III—XI вв. Это была по преимуществу учительная литература — проповеди и поучения, созданные в целях христианизации языческих стран, для борьбы с ересями и для пропаганды христианской догматики и морали внутри самих христианских стран. Отдельные приемы этих проповедей и поучений восходили еще к античному ораторскому искусству, к античной эпистолярной практике и к философской прозе. Из учительной литературы особенным распространением пользовались на Руси сочинения Иоанна Златоуста, Ефрема Сирина и др., из сборников — составленный в X в. в Болгарии при царе Симеоне — Златоструй. Вместе со сборниками поучений и проповедей на Русь перешли произведения популярной вопросо-ответной формы (ведущей свое начало от так называемого сократического диалога) и разного рода толкования священного писания (толковые псалтыри и т. д.).

Замечательно, что русские переводчики или русские переписчики дополняли переводные поучения своими вставками, применяли поучения к русской действительности. Так, например, в «Слове о дерзости Павла апостола», где проповедник уговаривает паству не лениться слушать поучения, читаем такую вставку: «Аще бо бы рать на ны половецкая пришла и все наше попленили быша, таче воевода их претил бы и град наш раскопати... таче бы от царя нашего ят и связан, в град приведен был, — не вси ли быхом вскочили и с женами и детми видети его?». Таких русских дополнений переводные поучения содержат немало. Вместе с тем, состав переводных поучений подбирался в сборники согласно вкусам и потребностям господствующего класса Руси.

Пропаганде нового мировоззрения на Руси служили также переводные сборники изречений из священного писания и античных авторов (в тех случаях, когда цитаты из последних не противоречили христианским установлениям). Эти сборники также перерабатывались и дополнялись на Руси согласно потребностям господствующего класса. Древнейший из списков таких изречений вошел в Изборник Святослава 1076 г. Возможно, на русской почве был составлен Стословец Геннадия,[1] дававший в предельно понятной и доступной форме основы средневекового

[1] N. Popov. L'izbornik de 1076 de Svjatoslav comme monument littéraire. Revue des études slaves, I, 1934, III—IV, 1935.

мировоззрения. Стословец Геннадия был очень ценен для пропаганды новой государственной власти на Руси: «Царя бойся всею силою твоею», «всякому богатому главу твою поклоняй смирения ради» и т. д.

Мощное орудие пропаганды новой веры представляли собой жития святых, наглядно показывавшие читателю образцы христианских «добродетелей» и в поучительной форме рассказывавшие ему о новых идеалах христианской религии. Жития, вместе с тем, давали русскому читателю очень разнообразный литературный материал, в котором элементы житийно-чудесного переплетались с народной фантастикой, с неизжитыми дохристианскими верованиями и мифами. Выразительные картины искушений святых, занимательные подробности чудес, воинские эпизоды, разнообразные характеристики святых — монахов-отшельников, воинов, церковных иерархов, мучеников, князей и т. д., живших в разнообразных исторических и географических условиях, расширяли литературные вкусы читателя, вводили в употребление очень разнообразные литературные формы. Жития также частично перерабатывались на русской почве. Четырьмя новыми рассказами было, например, дополнено переводное житие Николая Чудотворца. В двух из этих рассказов местом действия является Киев. Переработке и дополнениям подвергся один из основных сборников житий — Пролог.

В еще большей степени подвергалась на Руси переработкам литература светская — в первую очередь историческая. Переводная историческая литература была в основном представлена на Руси двумя хрониками, отразившими два различных направления византийской исторической мысли: одна хроника — хроника Иоанна Малалы из Антиохии — стремилась примирить античность и античную историю с христианством, а другая — Хроника Георгия Амартола («Грешника», т. е. монаха) — освещала историю исключительно с религиозной точки зрения. Помимо этих двух хроник, на Русь попадали и другие исторические сочинения, менее значительные по объему и содержанию: например «Летописец вкратце» патриарха Никифора, Хроника Георгия Синкелла и др.

Внимательное изучение различных редакций русских переводов византийских хроник показывает, что переводы эти сразу же использовались для больших русских сочинений сводного характера по всемирной и русской истории. Русские переписчики упорно и настойчиво расширяли материал этих хроник все новыми и новыми историческими произведениями, которые включались в их состав для наиболее полного освещения всемирной истории. Одновременно русские переводчики и писцы сокращали

их риторические части, выбрасывали морально-философские рассуждения, придавая рассказу бóльшую деловитость. Так, на основании переводного материала и частично русского было составлено на Руси обширное сводное сочинение по всемирной истории — Еллинский и Римский летописец. Основу Еллинского и Римского летописца составили переводные византийские хроники — Иоанна Малалы (иначе Еллинский, т. е. «древнегреческий» летописец), Георгия Амартола (иначе Римский, т. е. византийский летописец) и «Летописец вкратце» патриарха Никифора.

Творческое отношение к этим хроникам русских составителей Еллинского и Римского летописца наглядно видно хотя бы из того, что они, не довольствуясь материалами этих хроник, дорабатывали их, дополняя вставками, заменами и уточнениями иногда на основании источников этих самых хроник с тем, чтобы более точно и подробно представить события всемирной истории. Так, например, в тех случаях, когда текст Амартола или Малалы сокращал более подробные рассказы соответствующих мест библейских книг, русские составители заменяли текст Амартола и Малалы текстом библейских книг. Вместо рассказа хроники Иоанна Малалы об Александре Македонском русские составители вставляли его источник — текст Александрии второй редакции (в списках второй редакции Еллинского и Римского летописца). В те же списки Еллинского и Римского летописца второй редакции включается «Сказание о трех пленениях Иерусалима» Иосифа Флавия с особой повестью «Взятие Иерусалима третье, Титово», «Сказание Епифания о богородице», «Видение Даниила», замечательная, новгородская по своему происхождению, повесть о взятии Константинополя крестоносцами в 1204 г., известия о крещении Руси (отличные от летописи), о походах русских князей на Константинополь (также отличные от летописи), русская повесть о Казарине и его жене и другие.

Кроме Еллинского и Римского летописца на Руси было составлено несколько сводных сочинений по всемирной истории: Иудейский хронограф, различного типа Палеи и т. д.

Таким образом, византийские хроники не просто переводились — на их основе создавались крупнейшие русские исторические сочинения сводного характера. Это были своеобразные исторические энциклопедии, составленные на основании лучших исторических источников своего времени.

Также активно отнеслись русские переводчики и писцы к многочисленной природоведческой литературе Византии — к «Христианской топографии Косьмы Индикоплова» (т. е. «плавателя в Индию»), к различным Шестодневам и Физиологам

Наконец, переделкам, сокращениям и дополнениям подвергались на Руси различные переводные повести и романы. Большой интерес вызывал у русских читателей знаменитый эллинистический роман, впоследствии обошедший всю феодальную литературу Европы, — «Александрия». «Александрия» рассказывала о подвигах и необычайной жизни Александра Македонского, о чудесных восточных странах — Индии и Персии и их фантастических диковинных обитателях — амазонках, любомудрах и т. д. На русской почве «Александрия» подверглась различным дополнениям, в частности из хроники Амартола и др.

Исключительный интерес представляет русский перевод «Повести о разорении Иерусалима» Иосифа Флавия. Русский переводчик повести всюду акцентировал представления о воинской чести, о ратной славе, обильно ввел в нее русскую военную терминологию, кое-где дополнив перевод вставками, призывающими к геройству, хваля тех, кто умирает на поле битвы, и проклиная тех «телолюбцев», которые предпочитают умирать от болезни дома. Перевод отличается высокими достоинствами превосходного русского языка.

Таким же активным было отношение русских переводчиков и к другой переводной повести этого времени — к «Повести о Василии Дигенисе Пограничнике» (Акрите), представляющей собою прозаический перевод византийской поэмы X в. — литературной обработки византийской богатырской былины о подвигах богатыря пограничника, охранявшего восточные границы империи. Русским переводчиком подчеркнуты героические сказочные мотивы поэмы, ослаблена любовная тема, опущены некоторые исторические детали.

Нет нужды перечислять все переводные произведения, активно воспринятые на Руси. Приведенные примеры ярко показывают, что отношение русских переводчиков и читателей к переводной литературе было далеко не пассивным. Эти переводы граничили с творческими переработками, а самый выбор переводимых произведений диктовался потребностями русской действительности.

Каковы же были эти потребности русской действительности? В основном это были, конечно, потребности господствующего класса, создававшего свою литературу. Идеология господствующего класса Руси — класса феодалов — слагалась из двух основных элементов: идеологии церковной, преобладающей, и идеологии княжеско-дружинной («рыцарской»), отнюдь не преобладавшей, хотя и весьма отчетливой в русской действительности XI—XIII вв. Церковная идеология питалась главным образом извне, соответственно истокам принятого на Руси христианства — визан-

тийского по преимуществу. Княжеско-дружинная идеология выросла, в основном, на местной почве, получила особенное развитие в период феодальной раздробленности, но охотно воспринимала различные иноземные соответствия — будь то в переводных романах вроде «Александрии», «Повести о разорении Иерусалима» или «Повести о Дигенисе Акрите», или через венгерские рыцарские турниры, устраивавшиеся в Киеве и собиравшие множество зрителей киевлян.[1]

Однако классовый характер переводной литературы и классовая заинтересованность в ней верхов русского феодального общества отнюдь не исключали возможности проникновения в нее народных элементов. Эти народные элементы имелись в ней уже на византийской почве (а частично и на болгарской почве, если перевод был сделан в Болгарии) и частично появлялись на почве русской. Элементы народного творчества имелись уже в Повести о Дигенисе Акрите, в Александрии и других светских воинских повестях Византии. Переводчики, писцы вносили в них добавления иногда по собственной инициативе и эти добавления не носили во многих случаях классово устремленного феодального характера.

Народный, еретический элемент был очень силен в так называемых апокрифах, т. е. в той части христианских и иудейских религиозных, легендарных сочинений, которые не признавались официальной церковью за достоверные. В апокрифах рассказывалось о том, как первые люди получили знания, о происхождении зла, подробности «сотворения» мира и человека, повествовалось о последних временах мира и загробной жизни. В широкой степени эти рассказы черпали свой материал в античной мифологии, в дохристианских и восточных религиях, в фольклоре и в эллинистической философии. В ряде случаев апокрифы теснейшим образом были связаны с еретическими учениями, в частности с богумильством, и заключали в себе элементы, оппозиционные по отношению к официальной церкви.

Для народного характера апокрифов типично то, что они проникали на Русь не только теми письменными путями, которыми в основном проникла вся официальная церковная литература, но и через устную передачу как произведения устной народной литературы.

В Хождении Даниила Паломника указываются апокрифы — о «пупе земном», о «юдоли плача», о Иордане и др.

---

[1] См. в Ипатьевской летописи под 1150 г.: «Тогда же угре на фарех и на скоках играхуть, на Ярославли дворе, многое множество. Кияне же дивяхутся угром множеству, и кметьства их, и комонем их».

Однако на Руси господствующий класс на первых порах принятия христианства недостаточно осознавал оппозиционный характер апокрифов. Вот почему изображение апокрифического благовещения у колодца могло проникнуть на стены святой Софии в Киеве. Вот почему апокрифами могли широко пользоваться такие русские писатели, как Кирилл Туровский (Евангелием Иакова) и Климент Смолятич (Вопросами Иоанна Богослова). Ни Кирилл Туровский, ни Климент Смолятич отнюдь не могут быть заподозрены в сочувствии народному, неофициальному христианству. Часть апокрифов проникала в летопись, в хронограф, — опять-таки потому, что их еретический характер недостаточно осознавался еще на Руси.

Итак, русские феодальные верхи в своих классовых интересах обращались к литературе господствующего класса Византии. Классовый характер переводной литературы и классовая заинтересованность в ней верхов феодального общества на Руси были в достаточной степени ярко выражены. Однако это не означает, что вся переводная литература на Руси и вся деятельность русских переводчиков и переписчиков носила до конца последовательный классовый целеустремленный характер. Классовые потребности господствующего класса Византии и господствующего класса Руси не во всем совпадали. Господствующий класс Руси в X—XI вв. был классом поднимающимся, его роль во многом на первых порах была прогрессивной (в некоторых случаях), он легче мог воспринимать элементы народной культуры, его «идеологическая цензура» была слабее и т. д. Замечательно и то, что целые области византийского литературного творчества не получили своего отражения в русской переводной литературе. Однако все эти вопросы могли бы составить предмет особого исследования.

Литература, как мы знаем, развивается в тесном взаимодействии с действительностью. Было бы методологически неправильно рассматривать историко-литературный процесс в отрыве от истории народа. Между тем, именно так пытались рассматривать различного рода вопросы «влияний» и «воздействий» представители старой буржуазной литературоведческой науки. Они сближали литературные произведения сами по себе, вырывая и изолируя их от действительности. Именно так изучали они и «влияние» переводных произведений на произведения русской, оригинальной литературы.

Между тем, литературное произведение оказывает «влияние» вовсе не непосредственно на литературное же произведение. Всякое «влияние» и «воздействие» оказывается прежде всего на человека — активного представителя своей среды. Эта простая

истина, хотя никем и не отрицалась — недостаточно все же осознавалась в старом буржуазном литературоведении. Между тем, литературные произведения, в том числе и переводные, «влияют» прежде всего на мировоззрение человека и человеческой среды. Отдельные литературные сюжеты, мотивы — это не только литературные явления, а явления мировоззрения прежде всего. Легенды о святых, о бесах, о чудесах от икон или о загробном мире, которыми полны произведения переводной литературы, сами по себе не способны «бродить», переноситься из одного литературного произведения в другое.

Как явления надстройки, классового мировоззрения, а не как явления просто литературного порядка («сюжеты», «мотивы» и пр.) эти легенды и способны воздействовать на людей. Став фактами мировоззрения, надстройки, они способны вновь и вновь повторяться в литературе как порождение мировоззрения, а не как факты «заимствования». Конечно, любая литература знает и «заимствования» и просто плагиат, но это явления, свойственные слабым литературным произведениям, не способным двигать литературу вперед. Литература оказывает величайшую силу воздействия на действительность, а через нее вновь на литературу.

Влияние переводной литературы ощущалось прежде всего в мировоззрении русских людей XI и последующих веков. Оно оказывалось действенным только в том случае, если к тому были благоприятные обстоятельства в самой человеческой среде и в окружающей их действительности.

Итак, переводная литература оказывала «влияние» на русскую литературу не непосредственно, а через классовое мировоззрение русских людей. Мы видели выше, что она носила ярко выраженный классовый характер. Ее влияние сильнее всего сказывалось на представителях феодального класса, а внутри этого класса — по преимуществу в среде представителей церкви. Здесь новые литературные произведения создавались не сразу — теми или иными писателями, как это бывало по преимуществу в позднейшее время, а очень часто предварительно проходили стадию устной легенды. Письменное творчество не порывало в XI—XII вв. своих связей с устным творчеством. Эта устная стадия была очень существенна в появлении многих новых произведений, так как именно здесь новый сюжет, новая легенда оказывалась под перекрестным воздействием переводной литературы, вернее, — представляемого ею христианского мировоззрения, и народного творчества. Воздействия смешивались и творчески перерабатывались под влиянием самого мощного фактора — русской действительности.

Приведем некоторые примеры создания устной христианской легенды, затем отразившейся в письменности.

Уже в XI в. начала возникать первоначально по преимуществу в Киеве христианская легенда. Эта легенда создавалась очень часто в монастырях, главным образом в Киево-печерском, где многочисленность и пестрота социального состава братии способствовали здесь ее быстрому развитию.

К числу таких легенд принадлежит и легенда о путешествии апостола Андрея на Русь. Легенда эта возникла из взаимодействия книжных источников с чисто народными рассказами, ничего общего с христианской легендой не имевшими. Книжные основания этой легенды совершенно ясны: об апостоле Андрее русские монахи узнавали из «деяний» апостола Андрея. В описании его последнего, третьего, путешествия имелись сведения о посещении Андреем Синопии и Корсуни. Отсюда могло создаться впечатление об особом отношении Андрея к Руси, тем более, что в христианской литературе монахи могли найти утверждение о том, что каждый народ имеет своего апостола. Монахи могли предположить, что апостол Андрей вернулся в Рим по Днепру по великому пути «из варяг в греки» через «Варяжское море». Предположение превратилось, как это часто бывает, в уверенность, и в сравнительно короткий срок легенда была создана. Ее киевское происхождение довольно ясно выступает в той ее части, где говорится о том, что апостол Андрей, посетив место будущего Киева, благословил «горы сия», предрек благодать «на сих горах», сошел «с горы сея». Но это киевское происхождение не менее заметно и в той части этой легенды, где говорится о Новгороде.

Посетив словен, «идеже ныне Новгород», апостол Андрей подивился новгородским баням: «И виде ту люди сущая, како есть обычай им, и како ся мыють и хвощются, и удивися им». Вернувшись в Рим, Андрей так затем рассказывал о новгородских банях: «Дивно видех Словеньскую землю, идучи ми семо. Видех бани древены, и пережьгуть è рамяно, и совлокуться, и будуть нази, и облеются квасом усниянымь, и возмуть на ся прутье младое, и бьють ся сами, и того ся добьють, едва слезуть ле живи, и облеются водою студеною, и тако ожиуть. И то творять по вся дни не мучими никим же, но сами ся мучать, и то творять мовенье собе, а не мученье».[1]

Перед нами наиболее живая интересная часть легенды, — часть, которая делает легенду не просто предположением, обратившимся в уверенность, а произведением художественным. Зна-

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 12, вводная часть.

менательно, однако, что эта художественная часть легенды менее всего носит христианский, монашеский характер. Здесь сказываются не книжные, а народные основы, лишь искусственно соединенные с именем Андрея. Шутка о новгородских банях ходила, очевидно, в народе независимо от рассказа об апостоле Андрее. Она принадлежит к числу, очевидно, тех народных рассказов, в которых отдельные племена, добродушно подшучивая над соседними, как бы утверждали свою племенную особность. Шутка киевлян, не имевших бань, над банным обычаем новгородцев носит, по существу, тот же характер, что и шутка киевлян, которой они «корили» радимичей: «пищаньци волчья хвоста бегають»,[1] или шутки, которыми те же киевляне «корили» новгородцев: «А вы плотници суще, а приставим вы хором рубити».

Перед нами многознаменательное явление: устное творчество господствующих классов общества находит подлинные творческие художественные черты только в творчестве народном. В дальнейшем мы неоднократно будем убеждаться в том, что устное творчество тех или иных господствующих классов сможет быть подлинно творческим только до той поры, пока не порваны его связи с творчеством трудовых масс населения.

Другая легенда церковного происхождения рассказана в «Повести временных лет» под 983 г. В ней речь идет о варягах-христианах, отце и сыне, замученных «невегласами» — язычниками. Варяг-отец отказался отдать своего сына для совершения жертвоприношения языческим богам и при этом обличал язычество. Народ подсек сени, на которых стояли отец и сын христиане, и растерзал их.

Эта легенда связана с тем местом, на котором была построена затем Десятинная церковь, о чем и сообщается в самом начале легенды.[2] Очевидно, что она имела хождение среди клирошан этой церкви и едва ли не была создана в противовес тем народным рассказам, которые исторически точно указывали на месте Десятинной церкви старые языческие могильники, где совершался до их открытия при Владимире культ предков.[3] Дальнейшее историческое произведение, в которое уже входила эта легенда, было составлено как раз при этой Десятинной церкви. Это свидетельствует о том, что легенда эта могла и не иметь особого распространения за пределами Десятинной церкви.

---

[1] Повесть временных лет, под 984 г.

[2] «Бяше варяг един, и бе двор его, идеже есть церкви святая Богородица, юже сдела Володимер». Повесть временных лет под 983 г.

[3] М. К. Каргер. Дофеодальный период Киева по археологическим данным. Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях ИИМК, т. I, 1939.

Свои местные легенды изложили в своей же летописи и монахи Печерского монастыря. Здесь в этих печерских легендах монастырское предание мешается с припоминаниями очевидцев, с личными воспоминаниями самого монаха летописца — повидимому Нестора. Все это ясно подчеркивает, и в этом случае, узкий круг распространения христианской легенды. Она еще только создавалась и не сошла как бы еще с уст их создателей. Не успев развиться в устной традиции, она уже фиксируется в письменности, окостеневает и не развивается.

Многие из печерских легенд этого характера рассказаны в «Повести временных лет» под 1074 г. Перед нами проходит ряд ярких образов печерских монахов — Дамьяна, Еремии «иже помняще крещенье земле Русьскыя», Матвея, Исакия и др. Образы этих монахов сложились сперва в устной киево-печерской традиции и только затем проникли в летопись. Принимая во внимание, что пестрое в социальном отношении монашество Киево-печерского монастыря, хотя и в разной мере, было все же знакомо с народным устным творчеством, мы можем предположить, что умением создавать яркие образы своих умерших братьев печерские монахи были в значительной мере обязаны выучке у фольклора, знакомого им с детства.

Главными носителями элементов фантазии в этих печерских рассказах являлись бесы. Они-то по преимуществу и являлись действенным началом в оформлении каждого сюжета.

Исследователи-компаративисты видели в киево-печерских легендах в большинстве случаев следы книжных влияний и заимствований сказаний синайских, палестинских, египетских, переводных патериков и т. д.

Дело, однако, обстоит не так, как это представлялось литературоведам-компаративистам. Совпадения в отдельных мотивах между различными патериками: русскими, византийскими и пр., объясняются не тем, что эти мотивы механически переносятся из одного патерика в другой, а общностью христианских представлений о бесах, о силе молитвы, о силе крестного знамени и т. п. Общность христианских воззрений на мир и создавала общность же отдельных сюжетов, развивавшихся самостоятельно в каждом из монастырей.

Мотивы и сюжеты всех патериков христианского Востока были прежде всего связаны общностью христианского мировоззрения, и не было нужды ни в каких механических переносах для того, чтобы в разных местах христианского культа создавались на их основе одинаковые мотивы и сюжеты. Нет никакой нужды связывать общность мотивов и сюжетов с чтением патериков во время трапезы. Вся христианская литература в целом создавала

основы для этой области. Вернее, создавала их не сама христианская литература, а стремление увидеть догмы и убеждения христианства конкретно воплощенными в материальных фактах, эмоционально пережить традиционные религиозные представления. Создавало их и сочетание христианских представлений с представлениями народными.

К представлениям о бесах примешиваются, под влиянием христианской пропаганды, внушающей бесовство язычества, представления о старых языческих богах, о домовых, духах предков — навьях, и т. д., как о бесах. Именно поэтому вера в бесов имеет такой успех, распространяясь быстрее, чем вера в ангелов, и находит себе массовый отклик в монастырском, церковном устном творчестве.

Рассказы о бесах, о чудесах, о подвижниках — не плоды заимствований и переносов, а результат религиозного церковного мышления. Бесы стремятся соблазнить святого, прибегая к самым различным, иногда неумным уловкам, но святого-праведника не так легко заставить поклониться бесу, и тогда бес преображается в Христа, и, когда монах кланяется ему, все бесы разражаются буйным весельем, заставляют его плясать вместе с ними и оставляют его «оле жива». Паралич, разбивший монаха, кажется наивному сознанию реальным свидетельством всего происшедшего.

Сила креста кажется так велика, что ею можно заставить на себя работать бесов. Бесовские соблазны прилипчивы и неотвязны, и вот монастырская легенда видит их в образе цветка — «лепка», чертополоха, которые бес в польской одежде разбрасывает, чтобы они пристали к монахам; и тот, к кому они пристанут, тотчас же, соблазненный, покидает церковную службу.

Бес боится святых и реликвий, и с их помощью можно его заставить себе повиноваться. Тогда он превращается в послушное и глуповатое существо. По религиозным представлениям раннего средневековья человек везде на каждом шагу сталкивается с бесами. Их множество — они появляются и в келье подвижника и даже в церкви во время обедни. Их только надо заметить.

Естественно, что в монастырской среде самые обычные вещи объясняются как бесовское действо. Удивительно ли поэтому, что и новгородец, побывавший у шамана и видевший его камлание, объяснил его как действие беса.[1] Это рождение легенды под влиянием христианского объяснения камлания шамана станет нам понятно, если мы примем во внимание, что новгородец, рас-

[1] Повесть временных лет, ч. I, под 1071 г.

сказавший печерскому летописцу о действии беса на шамана — «кудесника», был Ян Вышатич, теснейшим образом связанный с печерским монастырем и воспринявший немало чисто монастырских представлений, еще не успевших широко распространиться в народе.

Ян Вышатич пришел к кудеснику-чудину, желая от него волхвования. Кудесник начал призывать бесов в свой дом, а Ян Вышатич сел на пороге. На Яне Вышатиче был нательный крест, и бесы не могли войти в дом. Гадание не удавалось. Тогда Ян Вышатич снял с себя крест и отошел прочь от дома кудесника. Тотчас же бесы вошли в кудесника и начали им «метать».[1]

Так творится легенда о бесах, боящихся креста. Эта легенда еще тесно связана с породившим ее фактом, еще не приняла фантастических очертаний, которые она примет в устах тех, кто будет ее передавать через много лет. Пока же она не имеет широкого распространения и проникает в летопись почти непосредственно от своих создателей. Герой рассказа еще пока сам рассказчик. Так бывает во многих случаях в XI в. Христианская легенда еще больше творится в монастырской среде, чем передается из уст в уста. Она пока еще не нашла себе широкой аудитории, оставаясь замкнутой в узком кругу служителей церкви.

Вот еще один пример. В войске Владимира Мономаха во время его похода на степь 1111 г. были попы, которых он заставлял, между прочим, «едучи пред полком, пети тропари и конъдакы хреста честнаго и канун святой богородици». Не удивительно, что победа русских над половцами в том же походе была приписана невидимой помощи ангелов, избивавших половцев с воздуха, а летописец Михайловского Выдубицкого монастыря детализировал это известие тем, что во главе ангелов поставил патрона Выдубицкого монастыря — «вождя бесплотных сил» Архангела Михайла. Участием тех же ангелов объясняли победу Василька Теребовльского в 1097 г. — и тоже потому, что в событиях участвовало духовенство.

Едва ли не самое большое распространение в XI в. из легенд имели рассказы о Борисе и Глебе. Их передавали не только в узких пределах монастырской ограды. Однако здесь мы имеем особый случай, который впоследствии также станет типичным. Рассказы о Борисе и Глебе родились в светской среде, это были обычные исторические предания, прочно прикрепленные к событиям, которые были еще у всех в памяти, чьи политические последствия переживались еще всем народом. Они не проникли в народ из-за монастырской ограды, а из народа прошли в мо-

[1] Там же, стр. 119, под 1071 г.

настырь и здесь подверглись церковным переделкам, приобрели церковный характер. Вот почему они сохраняют так много элементов светского и так мало в них чисто чудесного. Вера в чудо пришла позднее. Пока что ни жизнь Ольги, ни жизнь Владимира, ни краткая жизнь Бориса и Глеба не были наполнены представлением о чудесах. Чудо явилось позднее и нашло себе место только у гробов этих святых: создались лишь поздние рассказы об исцелениях, освобождениях из узилищ, о видениях святых и т. д.

Таким образом, легенда хотя и творилась очень интенсивно, но она творилась пока еще в очень узком церковном кругу и не находила отклика в населении. Интенсивность же ее создания в кругу служителей церкви объяснялась тем, что эта легенда служила средством пропаганды новых святых, святынь, церквей и монастырей, стремилась вытеснить старые языческие представления, верования и воспоминания.

*

Выше мы показали только один из путей, которым переводная литература помогала складываться русской христианской литературе — литературе ярко выраженного классового характера.

Иного типа значение переводной литературы, вернее мировоззрения, представленного этой переводной литературой, может быть отмечено в формировании взглядов на писательский труд.

Византийская христианская литература принесла с собою на Русь своеобразное воззрение на писательский труд. Это воззрение мы почти не ощущаем ни в «Слове о полку Игореве», ни в «Поучении» Мономаха, ни в летописи, ни в других светских сочинениях. Зато оно находило себе отчетливое выражение в сочинениях церковного характера — в различного рода житиях и поучениях. Это воззрение на писательский труд ограничивало творческие возможности писателя, влекло к консерватизму творчества, к скованности традицией и церковными авторитетами, к анонимности писательского дела.

Согласно этим воззрениям каждый писатель рассматривался только как выразитель «вечных идей», независимых от времени, места и обстоятельств. Писатель — лишь передатчик этих «вечных истин», божественный посланец, вестник, гонец. Поэтому личность автора не заслуживает особого внимания, а его творчество, личное вмешательство в содержание произведения должно быть сведено до минимума. Отсюда анонимность большинства произведений русской церковной литературы.

Выразительный образ такого писателя — передатчика божественных истин — рисует в своем «Слове о поучении церковном» Кирилл Туровский. Кирилл Туровский пишет: «Яко же бо кто грамоту цареву или княжу принесеть во град под рукою его сущим, не испытают жития принесшему *и* — богат ли есть или убог, или грешен, или праведен; но тех точью чьтомых послушают, тщатся аки ничто их не забыл; аще ли котораго слова не гораздо слышать, то впрашають слышавшаго; аще ли бесчинен человек голку сътворить, то бьюще отгонять и, аки пакость творяща. Да аще от земнаго князя толико внимание бываеть, то колми паче сде внимати нам подобаеть, иде же ангелом владыка беседуеть».[1] Итак, проповедник, писатель — это гонец, приносящий в град «грамоту цареву». Никого не интересует — богат ли этот гонец или убог, грешен или праведен. Внимание всех устремлено только к тому, — что сказано в царевой грамоте. Вот почему церковный писатель и, в частности, сам Кирилл Туровский так часто пользуется чужим материалом, пересказывает мысли отцов церкви, использует их образы, их темы. Он с самого начала рассматривает себя только как передатчика чужих мыслей. «Се не мене деля послушаите — аз бо грешник есмь, — но евангельскаго учения послушайте»,[2] — говорит Кирилл Туровский в «Слове о поучении церковном». Божественное учение подобно золоту или серебру, меду или вину, которые писатель только раздает от имени бога: «Спросъшю вы, отвещайте ми, аще злата или сребро по вся дни раздавал бых, или мед, или вино, но (то) бысте приходили сами не призываеми, друг друга бысте сами понужали? Ныне же словеса божьи раздаваю, лучше паче злага и каменья драгаго и слашьше меду и ста».[3]

Как глашатай божественной истины, писатель должен быть чист сердцем. В слове «О благоречии, о высоте и святости слова человеческого» составитель Русского пролога пишет: «Благая словеса от благого сокровища сердечнаго исходят. Аще же кто не очистит сердца своего от злобословесия, той добра о себе беседовати не может; аще бо и мнится глаголати послушником (т. е. внимающим, слушающим), не приятна суть словеса его, но отметна, не имущя благодати святаго Духа».[4] В «Слове на неделю о слепом» Кирилл Туровский прямо заявляет: «В души бо грешной ни дело добро, ни слово полезно не ражается».[5]

---

[1] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. I, под ред. А. И. Пономарева, СПб., 1894, стр. 175—176.
[2] Там же, стр. 176.
[3] Там же, стр. 177.
[4] Там же, вып. II, 1896, стр. 117.
[5] Там же, вып. I, стр. 157.

Слово дается человеку от бога. Человек может быть носителем этого дара, но для этого он должен просить о нем бога: «Хотяй же убо ползовати кого в словесех, да просит у бога слова на отверзение уст своих».[1] Дар свой человек не должен скрывать, но если он не получил этого дара — ему следует молчать. «Не приемый же таковаго дара от бога, да молчит, и да не износит глагола праздна от сердца своего».[2]

В «Слове на собор святых отцов» Кирилл Туровский снова излагает свою излюбленную мысль: церковный писатель или оратор — лишь глашатай божественных истин, получающий свой дар слова от бога: «Но молю вашю, братие, любовь, не зазрите моей грубости: ничтоже бо от своего ума зде вписах, но прошу (от бога) дара слову на прославление святыа Троица, глаголеть бо: отверзи уста своа и наполню я».[3]

Воззрения на писательский труд, выраженные Кириллом Туровским, принадлежали не ему одному. Они были типичны для всей церковной литературы этого времени. Невысказанные в других произведениях этого времени, они пронизывали, тем не менее, отношение всех церковных писателей к своему творчеству, укрепляя их консерватизм, стремление к застойности формы и содержания, к отсутствию движения мысли, являясь одним из проявлений средневекового идеализма.

Как видим, значение переводной литературы в формировании литературы русской было очень разнообразным. Византийско-христианское мировоззрение, перенесенное с помощью переводных произведений, сказалось и в создании христианских легенд, и в воззрениях на труд писателя, и в целом ряде еще других случаев, исчерпать которые мы вовсе не собираемся.

Характерно, однако, следующее. В создании христианских легенд наиболее оригинальным и творческим началом оказывались не христианские воззрения, шедшие от переводной литературы, а элементы реалистичности, связанные с русской действительностью, с устным народным творчеством.

То же самое следует сказать и о воззрениях на писательское дело. Мы уже отметили выше, что воззрения на творчество писателя Кирилла Туровского, воспитанные в тесной связи с общехристианской литературой, задерживали развитие творческой индивидуальности писателя, воспитывали консервативность, неподвижность его творчества. Иные воззрения отражены в «Слове о полку Игореве».

---

[1] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. I, стр. 117.

[2] Там же.

[3] Там же, стр. 167—168.

Образ певца-поэта Бояна, созданный автором «Слова о полку Игореве», прямо противоположен образу писателя-глашатая вечных и неизменных истин, созданному Кириллом Туровским.

Боян — не передатчик чужого. Это яркая творческая индивидуальность. Он скачет соловьем по мысленному древу, летает умом под облаками, свивает славу, рыщет по тропе Трояна через поля на горы. Он «вещий», т. е. волшебник, и не случайно автор «Слова» образно приписывает ему способность перевоплощаться в соловья, сизого орла, серого волка. Это — образ народного поэта, хотя в этом образе традиционное соединение поэта-певца и волшебника, типичное для доклассового периода, стало только художественным образом. Автор «Слова о полку Игореве», хотя и называет Бояна «вещим», но подлинным «ведуном» его, конечно, не считает. Так же точно автор «Слова» не верит в то, что Боян действительно растекался серым волком по земле или сизым орлом под облаками. Ведь образ поэта, летающего под облаками, передан в «Слове» и так: «О Бояне, соловию старого времени! Абы ты сиа плъкы ущекоталъ... летая умомъ под облакы...». Следовательно, полет Бояна «шизым орлом под облакы» — это только полет «умом», это художественный образ, не более. Это образ, созданный для того, чтобы подчеркнуть творческую потенцию Бояна, его «гениальность», употребляя наше выражение.

Но Боян — это не только вдохновенный творец, создатель своего, а не передатчик чужого. Боян — это «умелец», великий искусник, мастер своего дела. Картинно изображенная в «Слове» игра Бояна на гуслях, по моему убеждению, подчеркивает именно эту сторону: «Боянъ же, братие, не 10 соколовь на стадо лебедѣй пущаше, нъ своя вѣщиа пръсты на живая струны въскладаше; они же сами княземъ славу рокотаху». Умелое, «ловкое» выполнение привычной работы всегда создает впечатление необычайной легкости, — как будто бы работа сама делается, спорится в руках.

Образ певца-поэта в «Слове», конечно, ничего общего не имеет с христианскими воззрениями на писательское дело; это образ местный, русский. Он близок к образу поэта, созданному, очевидно, к XII в. в устном народном творчестве (не случайно Боян не только поэт, но и певец), хотя и не целиком народный. Боян — творец; писатель Кирилла — глашатай.

Из двух образов творцов-поэтов, — одного, созданного Кириллом Туровским, и другого, созданного автором «Слова о полку Игореве», — наиболее близким нам и прогрессивным был, конечно, второй образ — образ, созданный автором «Слова о полку Игореве».

В целом переводная литература имела больше прогрессивное значение, чем консервативное. Не следует забывать, что в Византии класс феодалов был в достаточной мере старым и реакционным, на Руси же в X—XI вв. класс феодалов был молодым и ему принадлежало будущее. В обращении к переводной литературе были элементы и прогрессивные и реакционные. В частности, существенное прогрессивное значение переводной литературы определялось тем обстоятельством, что она много способствовала развитию, усложнению и обогащению художественной формы.

*

Переводная литература имела особенно большое значение в развитии отдельных форм русской литературы, в образовании ее различных видов, по содержанию же произведения русской литературы по преимуществу отвечали непосредственным требованиям русской действительности. Впрочем, когда мы говорим о форме древнерусских литературных произведений, то и в этом случае не можем обособлять ее от содержания и от русской действительности. Отдельные виды церковной литературы — жития, поучения, торжественные проповеди — были и самой своей формой теснейшим образом связаны с церковным мировоззрением: многословные отступления в житиях молитвенного характера, трафареты в описании жизни святого, внешний характер проповеди, ее дидактичность, риторические приемы — отчетливо отражают церковное мировоззрение, одновременно служа его укреплению.

Вместе с тем, эти отдельные виды церковной литературы возникли на русской почве не только потому, что таковы были переводные образцы, по которым они могли быть построены, но по преимуществу потому, что самый христианский культ, различного рода служебники, монастырские уставы и пр. требовали наличия произведений этого вида.

Жития святых Бориса и Глеба возникли не из простого желания русских книжников написать такие же жития святых, какие они читали в переводах с греческого, или непосредственно на греческом языке, а потому, что канонизация этих святых не могла совершиться без наличия их житий, потому еще, что самый культ Бориса и Глеба, ритуал тех или иных богослужений им, требовал наличия этих житий. Об этих требованиях христианского культа мы ни в коем случае не должны забывать, когда говорим о различных видах христианской литературы. Устойчивость этих видов в русской литературе, конечно, в первую очередь объясняется тем, что устойчивыми были самые тре-

бования христианского культа, побуждавшие создавать все новые и новые произведения одного и того же типа.

Как бы, однако, ни были единообразны требования христианского культа в Византии, в Болгарии и на Руси, русские произведения отчетливо воспринимали воздействие русской действительности, служили ей, становясь русскими не только по содержанию, но и в видоизменениях своей формы. В отношении древнейших русских житий это отчетливо показано их знатоком — С. А. Бугославским. Резюмируя большое число своих наблюдений над русскими древнейшими житиями, С. А. Бугославский писал: «Из византийских житий русские авторы XI—XII вв. заимствовали лишь общие тенденции. Они понимали, что требуется нарисовать тип идеального, христиански выдержанного героя-святого, окружить его имя традиционным панегириком. Сделать же из князя, чья военная, политическая, придворная деятельность была хорошо известна и рассказана в других не житийных статьях той же летописи, идеального праведника по типу византийских житий, было невозможно, и это спасло русских агиографов от слепого подражания византийским литературным образцам. Перед русским автором неизбежно вставала трудная задача — примирить в житийных опытах идеальные образы и стилистику византийских житий с тенденциозным, живым публицистическим изложением событий современности, а нередко и с укоренившимися народно-поэтическими мотивами (например в рассказах о княгине Ольге, о Владимире)».[1]

*

Значение переводной литературы для литературы русской может быть наглядно показано еще на одном произведении: на «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона.

Внешне «Слово о законе и благодати» построено по типу византийских церковных ораторских произведений. Кроме того, оно насыщено богословской символикой общехристианского характера, оно насыщено богословскими темами, оно обращено к «избранной» аудитории, к верхам феодального общества: «Не к неведущим бо пишет, но преизлиха насыщьшемся сладости книжныа».[2]

«Слово» отличается исключительной конструктивной ясностью. Оно распадается на три части, причем каждая часть логически вытекает из другой. «Слово» построено по законам логи-

[1] История русской литературы, т. I. Институт литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 316.

[2] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. I, под ред. А. И. Пономарева, СПб., 1894, стр. 60.

ческой дедукции, как известно, чаще всего применявшейся в средневековом богословии. Из общего положения выводятся все частности. Из богословской «истины» выводятся конкретные, частные утверждения. Это богословское мышление резко противоположно научному мышлению, идущему индуктивным путем: от частностей к общему, от опыта к общим научным положениям.

«Слово» построено по богословской дедуктивной схеме. Оно полно богословских тем, богословских символов. По своей форме — это типичная церковная проповедь, очень искусно построенная и отнюдь не уступающая аналогичным произведениям византийской церковной литературы. Однако по своему содержанию «Слово о законе и благодати» — речь политическая, отражающая запросы и нужды русской политической действительности времени княжения Ярослава Мудрого, написанная с искренним патриотизмом, пронизанная острой историософской мыслью. В форму общехристианской церковной проповеди в «Слове» влиты оригинальные русские идеи, — идеи, порожденные политической борьбой Руси за свою церковную и культурную самостоятельность.

Идеи «Слова» нельзя рассматривать вне политической деятельности их автора — митрополита Илариона, вне основных политических конфликтов своей эпохи.

Иларион, названный в летописи «мужем книжным», был попом загородной дворцовой церкви Ярослава Мудрого в Берестове. В 1051 г. Ярослав поставил Илариона киевским митрополитом без согласия на то Константинополя собором только русских епископов. Это было очень смелым шагом церковной политики Ярослава, стремившегося к утверждению равноправия русской церкви — церкви греческой. Эта политика отчетливо проявилась в попытках Ярослава создать собственные русские церковные святыни, — канонизировать первых русских святых (Ярослав пытался канонизировать Ольгу, варягов-мучеников, Владимира, Бориса и Глеба, добившись канонизации двух последних). Эта политика живо ощущается и в том, с какою пышностью Ярослав обстраивает Киев новыми зданиями. Военное размирие с Константинополем 1044 г. было наиболее резким выражением этой политики. Эту политику постепенного освобождения русской церкви от слишком мелочной опеки Константинополя практически проводил в своей деятельности и ставленник Ярослава — Иларион. Он же богословски обосновал ее в своем «Слове о законе и благодати».

Первая часть «Слова» посвящена богословскому вопросу: взаимоотношению двух «заветов» — Ветхого и Нового. Эти два «завета» противопоставляются друг другу. Все символические

богословские схемы этой части традиционны. Некоторые символы взяты из византийской богословской литературы. В частности неоднократно отмечалась близость этой части к «Слову» Ефрема Сирина на Преображение.[1]

Однако эта первая часть — не пустое богословское упражнение. Иларион противопоставляет Новый завет Старому, чтобы подчеркнуть преимущества свободы над рабством, равноправия народов над их неравенством, свободы распространения религии среди всех народов над ее замкнутостью только в одном народе. Это нужно Илариону, чтобы богословски обосновать затем прославление Русской земли как равноправной всем странам в делах религии.

Иларион настойчиво выдвигает «вселенский» характер Нового завета, христианства, сравнительно с ограниченностью и замкнутостью в одном народе Ветхого завета, — иудейства. Взаимоотношения людей с богом раньше, в эпоху Ветхого завета устанавливались началом рабства, подчинения, «закона», теперь же, во времена Нового завета, они определяются началом свободы, «благодати». Эта тема развивается в «Слове» подробно и обстоятельно. Она отнюдь не случайна. Иларион не случайно говорит, что для новой религии нужны новые народы, как для нового вина нужны новые мехи. Вся эта первая часть нужна Илариону как общее, философское обоснование для перехода ко второй части, в которой он говорит о распространении христианства по всей Русской земле. Русь равноправна со всеми странами и не нуждается ни в чьей опеке: «Вся страны благый бог помилова, и на нас не презре, въсхоте и спасе ны и в разум истиный приведе».[2]

В третьей части Иларион еще более сужает свою тему, переходя к прославлению главного инициатора крещения Руси — князя Владимира Святославича. Логическим переходом от второй части к третьей служило изложение средневековой богословской идеи, что каждая из стран мира имела своим просветителем одного из апостолов. Есть на Руси кого восхвалять, кого признавать своим просветителем: «Похвалим же и мы, по силе нашей, малыми похвалами великая и дивная сътворшаго, нашего учителя и наставника, великаго кагана нашея земля Владимера, внука стараго Игоря, сына же славнаго Святослава».[3] Здесь

---

[1] Впервые установлено С. Шевыревым в «Истории русской словесности» (ч. 2, М., 1860, стр. 26).

[2] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. I, стр. 67.

[3] Там же, стр. 69—70.

в этой части прославление церковных заслуг Владимира сочетается с прославлением его военного могущества, с прославлением всей Русской земли и ее прошлого.

Отец и дед Владимира — Святослав и Игорь «в своя лета владычествующа, мужьством же и храбрьством прослуша (т. е. прославились, — Д. Л.) в странах многих и поминаются ныне и словут».[1] Владимир — это «славный от славных», «благородный от благородных».[2] Он описывает силу и военное могущество Владимира, доказывает, что Владимир избрал христианство не по принуждению, а по свободному желанию, и подробно обосновывает необходимость его канонизации. Он описывает «дело» Владимира, новую Русь и «славный град» Киев.

Завершается эта третья часть молитвой о сохранении Русью независимости.

Итак, все «Слово о законе и благодати» — это подробное, очень четкое и архитектоничное обоснование равноправности Руси всем другим христианским народам. Иларион создал своеобразное учение о равноправности всех народов в делах религии, о постепенном и равном распространении христианства среди всех народов.

Таким образом, «Слово о законе и благодати», построенное по схеме византийских проповедей, пользующееся общехристианской, неоригинальной символикой, посвящено большой и очень важной для своего времени теме.

«Русь использует взятое у Византии для борьбы с ней, для укрепления своей независимости от „восточного Рима“».[3] «За образец древнейшего русского чекана столь же демонстративно берутся монеты византийских императоров, но на них изображается глава Киевской державы — князь, и подпись гласит: „Владимир на столе, а се его серебро“».[4] «Пышные византийские ткани входят в обиход княжеско-дружинной знати, но из них шьют традиционные русские богатые одежды».[5]

Так обстоит дело, отчасти, и с переводной литературой.

Рассмотрение вопроса о роли переводной литературы в формировании литературы собственно русской мы начали с утверждения, что роль этой переводной литературы была огромна и бесспорна. Теперь мы имеем право повторить это утверждение с полным основанием. Если бы русская сторона пассивно усваи-

---

[1] Памятники древнерусской церковно-учительной литературы, вып. I, стр. 70.
[2] Там же.
[3] История культуры древней Руси, т. II. М.—Л., 1951, стр. 514.
[4] Там же, стр. 515.
[5] Там же.

вала элементы византийской культуры, если бы ей нечего было бы противопоставлять этой византийской культуре, — значение ее не могло бы быть так велико. Византийская культура не могла бы быть творчески усвоена. Роль византийской культуры была бы чисто внешней, поверхностной и. . . ничтожной.

Перенесенная в жизненно крепкую среду, столкнувшись с интенсивнейшей потребностью в собственной литературе, вступив в борьбу с многовековыми местными традициями устного народного творчества, переводная литература приобрела важное значение в развитии русской литературы не как образец для пассивного подражания, а в ее творческом поступательном движении.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ОРИГИНАЛЬНЫХ РУССКИХ ВИДОВ ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ

Переводная литература принесла на Русь несколько видов литературных произведений. Часть этих видов оказалась очень устойчивой на русской почве. Немало самостоятельных русских произведений писалось по их типу, только иногда видоизменяя их характер.

Чем же объясняется устойчивость этих видов на русской почве? Устойчивыми были прежде всего те виды литературных произведений, которые были тесно связаны с относительно мало меняющимся церковным обиходом: различные типы житий, проповеди и пр. Требования культа предписывали создание новых житий русских святых только определенного типа. Поэтому-то и появлялись жития проложные и минейные, описания чудес от мощей этих новых святых, похвалы им и различного рода церковные песнопения. Церковный же обиход требовал создания новых проповедей — торжественных или учительных — в тех формах, какие требовались культом.

Однако светская литература на Руси не была связана косными формами церковных или каких-либо иных перенесенных из Византии обычаев. Вот почему светская литература на Руси, тесно примыкавшая к русской действительности, оказалась вполне самостоятельной не только по содержанию, но и по своей форме.

Отдельные виды светской литературы складывались под влиянием требований русской жизни, менялись вместе с русской жизнью, впитывали в себя элементы реалистичности значительно быстрее, чем церковные виды.

Наиболее значительный вид светской литературы древней Руси — летописание.

*

Развитие летописания связано с двумя различными патриотическими потребностями, смешивать которые отнюдь не следует:

с одной стороны, с потребностью у я с н и т ь с е б е п р о ш л о е, у я с н и т ь с е б е п р о и с х о ж д е н и е различных явлений, а с другой — потребностью ф и к с и р о в а т ь н а с т о я щ е е, предохранить его от исчезновения в памяти потомства.

В летописях различных областей эти потребности сказывались далеко не равномерно. В Киеве по преимуществу была представлена первая. Летопись там возникает из исторических произведений о прошлом, которые дополняются записями о настоящем. Своевременное записывание событий настоящего, в основном, в Киеве начинает вестись позднее. Прошлое интересует русских уже несомненно при Владимире I Святославиче, но попыток фиксировать события настоящего при Владимире не было — разве что они были при Ярополке.[1] Иное дело в Новгороде. Попытки систематически обозреть прошлое Руси исчерпывались там в первое время обращением к соответствующим произведениям киевской исторической литературы — к «Повести временных лет» и предшествующему ей Начальному своду и некоторым другим летописям. Зато в Новгороде уже в XI в. своевременно записывались события с указанием точных дат. Эти записи ведутся как своего рода деловые документы: кратко, деловито, систематично.

Замечательно, что оба отношения к родной истории, — возникшее на основе стремления заглянуть в собственное прошлое как можно глубже и возникшее из стремления фиксировать настоящее — потребовали для своего осуществления различных литературных манер. Потребность в обзоре своей истории удовлетворялась сравнительно сложной литературной работой, заключавшей в себе значительные элементы художественности. Потребность же в записи фактов настоящего удовлетворялась более простыми средствами и записи эти стояли на грани письменности чисто деловой.

По существу, различие между киевским летописанием и новгородским, в основном, заключалось в том, что киевское летописание было в большей мере р а с с к а з о м о прошлом, а новгородское — д о к у м е н т о м, фиксировавшим настоящее для будущего.

С течением времени записи событий настоящего становились документами прошлого. Поэтому киевское летописание, которое было по преимуществу рассказом о прошлом, легко воспринимало в свой состав отдельные записи, а новгородское летописание,

---

[1] См. предположения М. Н. Тихомирова: Происхождение названий «Русь» и «Русская земля». Советская этнография, VI—VII, М.—Л., 1947, стр. 63 и сл.

которое преимущественно ставило себе задачу документально фиксировать настоящее для будущего, с течением времени становилось записями прошлого и включало в свой текст цельные литературно обработанные рассказы о прошлом. Различие двух типов исторических сочинений постепенно стиралось, хотя продолжало давать себя чувствовать и в XII и в XIII вв.

Итак, летописание возникло независимо друг от друга по крайней мере в двух центрах Руси: летописание в Киеве родилось из сложных повествований о прошлом, к которым присоединились летописные записи. Летописание же в Новгороде возникло из постепенно накапливавшихся летописных записей, во главе которых было затем поставлено стройное повествование о начале Русской земли, перенесенное из Киева в Новгород.

Почему же произошло такое различие? Ответ на этот вопрос лежит в особенностях русской действительности в каждом из этих центров.

В X—XI вв. Киев был центром Русского государства. Интерес к русской истории возник в русском обществе очень давно: это видно из наличия древних устных исторических преданий отдельных племен, впоследствии занесенных в летопись. Однако история эта в отдельных преданиях не представляла собой единства. Предания фиксировали отдельные события, не связывая их в единое повествовательное целое, не давая представления об историческом развитии Руси в целом.

Построение единой Русской истории стало возможным только с образованием относительно единого же древнерусского государства. Только наличие реального, государственного единства русской действительности сделало возможным рассматривать эту русскую действительность как некое единство, имеющее общие корни в прошлом.

Вместе с тем, обстоятельства благоприятствовали возникновению первых исторических произведений о всей Руси в целом именно в Киеве. Киев со времен Олега осознавался столицей — «матерью городов Русских». Здесь был ее религиозный (сперва языческий, а затем христианский) центр. В Киеве находился правительственный центр Руси с князем во главе. Киев представительствовал Русь: сюда приезжали греки для утверждения договоров (в 911 г., в 944 г.). Обилие разнохарактерного русского населения, в котором были представители различных местностей, — все это заставляло осознавать Киев центром Руси.

Естественно, что именно в Киеве и в Киевской области, где и самое общественное развитие шло быстрее, чем в других местах Руси, где быстрее складывался феодализм, историческое самосознание достигло особенного напряжения.

Однако все это были лишь благоприятные условия для появления первых исторических произведений о прошлом Руси. Родились же эти произведения под влиянием конкретных потребностей русской действительности.

Записи отдельных событий могли появиться на русской почве еще в X в., однако первое историческое сочинение по русской истории появилось только при Ярославе Мудром. Оно было вызвано к жизни борьбой Руси за свою культурную и церковную самостоятельность.

Возникновение первого русского сочинения по родной истории прослежено мною в другой работе,[1] поэтому здесь мне остается только пересказать ее основные выводы.

Принятие христианства Русью поставило ее в особое положение по отношению к Византии. Глава православной церкви — константинопольский патриарх — рассматривался в самой Византии как ближайший помощник византийского императора в делах церкви. Светским же главой церкви полуофициально считался и был им фактически византийский император.

По словам биографа Константина Великого — Евсевия, Константин назвал себя однажды епископом: «Только — вы епископы внутренних дел церкви, а меня можно назвать поставленным от бога епископом дел внешних».[2]

Основываясь на преданиях о Константине, Вселенский IV собор в Халкидоне провозгласил византийскому императору многолетие как архиерею. Императоры имели право каждения в церкви, благославляли народ, принимали некоторое участие в богослужении, произносили поучения народу как духовные лица и имели звание защитников церкви. Мало этого, за византийскими императорами укрепился титул «святой». Грамоты константинопольских патриархов к русским князьям постоянно называют императоров «святыми».[3]

Император Михаил VIII Палеолог разгневался на бывшего патриарха Иосифа за то, что тот в своей духовной не назвал его святым: «Около того времени, — пишет Георгий Пахимер, — Иосиф, ожидая скорой смерти, сделал духовное завещание. В завещании нужно было упомянуть и о царе и написать молитву за него. Иосиф действительно упомянул и молился, но не прибавил названия ἅγιος (святой), которое обыкновенно носили цари миропомазанные. Когда завещание в такой форме

[1] Д. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 35 и сл.

[2] Русская историческая библиотека, т. VI, СПб., 1880, стр. 4, прилож., стр. 66, 268.

[3] Сочинения Евсевия Памфила, русск. перевод, т. I, СПб., 1858, стр. 90.

было прислано, царь, увидев его и выразив негодование, тотчас написал и патриарху, написал и начальнику города, чтобы он спросил и узнал, как это сталось, что от царского его титула отнято слово ἅγιος».[1]

Таким образом, император ромеев занимал особое положение в самой византийской церкви. Распорядительная власть его во внешних делах церкви была иногда даже выше власти константинопольского патриарха. Александрийский патриарх XII в. Вальсамон считает власть императора выше власти патриарха во всех церковных вопросах, «так как содействие самодержцев простирается на просвещение и укрепление как души, так и тела, авторитет же патриархов ограничен исключительно пользою душевною (ибо забота патриархов о благосостоянии телесном незначительна)».[2] При таких условиях византийская идея императорской власти лучше всего мирилась со старой римской теорией, делавшей из императора главу jures sacrum, поскольку последнее являлось частью jures publicum.

Византийские императоры назывались «владыками вселенной». Так их называли в песнопениях и возгласах, которыми партии Ипподрома приветствовали императоров.

Из всего вышеизложенного понятно, что церковная организация легко могла стать на Руси проводником светского византийского влияния — и политического, и культурного.

Вот почему уже при Ярославе мы наблюдаем в русской политике по отношению к Византии проявления настороженности, а в некоторых случаях и открытой враждебности.

Ярослав Мудрый высоко поднимает престиж русской церкви и делает попытку установить ее самостоятельность. В 1037 г. Ярослав добился учреждения в Киеве особой митрополии константинопольского патриархата и затрачивает огромные государственные средства на строительство центра этой митрополии — храма Софии. Он настаивает на признании святыми княгини Ольги, варягов-христиан (отца и сына), убитых язычниками при Владимире, и своих братьев Бориса и Глеба. Канонизации последних Ярославу удалось добиться и тем самым увенчать ореолом святости и свою собственную княжескую власть, но в канонизации остальных ему было отказано.

Кроме того, Ярослав ставит на митрополию собором русских епископов митрополита Илариона — «русина» (т. е. русского) родом. Тем самым Ярослав пытается сделать русскую церковь независимой от греческой.

---

[1] Георгия Пахимера история, русск. перевод, кн. I, СПб., 1862, стр. 468.
[2] П. Соколов. Русский архиерей из Византии. Киев, 1913, стр. 14.

Какой остроты достигли при Ярославе русско-византийские отношения, показывает поход на Византию 1044 г., предпринятый сыном Ярослава — Владимиром.

В обстановке этих напряженных церковно-политических отношений Руси и Византии и родилось первое произведение по русской истории. Им я считаю «Сказание о первоначальном распространении христианства на Руси», где были собраны материалы для доказательства равноправности русской церкви греческой в духе идей, изложенных Иларионом в его знаменитом «Слове о законе и благодати».

Это первое историческое произведение было, повидимому, составлено в чисто «деловых», практических целях политики Ярослава. Это было сочинение, вызванное не столько общеисторическим интересом, сколько политическими соображениями. Это был документ, задача которого заключалась в том, чтобы свидетельствовать высокое призвание русской церкви, наличие в ней собственных святынь, собственной религиозной традиции. Оно не было враждебно грекам, относясь к ним с полным уважением, но оно было проникнуто тем же духом соперничества с Византией, каким было проникнуто все бурное строительство времени Ярослава, позволившее Адаму Бременскому назвать Киев «соперником Константинополя».

Впоследствии это первое сочинение по русской истории под влиянием интереса к истории Руси стало пополняться отдельными летописными записями и вставками целых связных исторических повествований и приобрело характер светской истории Руси.

В начале XII в. на основе этого сочинения и разнородных материалов была составлена «Повесть временных лет», замечательною особенностью которой явилась крепкая связь, установленная в ней между русской историей и историей мировой в ее тогдашнем, христианском понимании.

Эта связь русской истории с мировой явственно ощущалась уже во времена Ярослава и была проведена уже в первом произведении по русской истории, будучи теперь, в «Повести временных лет», наиболее полно и обстоятельно развернута и обоснована.

Два исторических обстоятельства натолкнули летописца на необходимость связать русскую историю с историей мировой. Прежде всего этому способствовало вхождение Русского государства в тесные отношения с соседними государствами и, прежде всего, с наиболее передовым государством Европы — Византией. Во-вторых, этому способствовало принятие Русью христианства, поднявшее ее значение как равноправного другим

странам государства. Вот почему древнейшая часть «Повести временных лет» уделяет основное внимание походам Руси на Византию и принятию Русью христианства.

Христианская литература дала возможность связать летописцу русскую историю с мировой, она дала летописцу общую схему этой мировой истории, известную по Библии и хронографам. Однако самый замысел ввести русскую историю в историю христианства, и те искусные приемы, которыми это было сделано, — принадлежат исключительно летописцу. Мы не касались сейчас вопроса о том, был ли этот летописец один или их было несколько. Для нас важны не детали, а самые условия и факторы возникновения киевского летописания.

Но летописание в Киеве возникло не только под влиянием необходимости идейно подкрепить внешнеполитические задачи древнерусского государства — обосновать его равноправие другим государствам Европы. Внутренняя функция государства — «держать эксплоатируемое большинство в узде»[1] сказалась в создании киевского летописания прежде всего. Классовый характер летописания был выражен очень резко.

Изложение внутренней истории Руси было подчинено задаче доказать законность единой и единственной, как хотелось утверждать летописцам, княжеской династии «рюриковичей».

Династия эта была якобы призвана всем народом с единственной целью — установить на Руси порядок: «Реша русь, чюдь, словени, и кривичи, и вси: „Земля наша, велика и обилна, а наряда в ней нет. Да поидете княжит и володети нами“».[2]

Кроме призванного легендарного Рюрика — летописец слышал по легендам, что были еще Синеус и Трувор, но эти князья, по мысли летописца, были братьями Рюрика, явившимися на Русь вместе с ним, они не оставили по себе потомства; следовательно, единственно «законные» князья, призванные на Русь всеми племенами, — «рюриковичи».

В Киеве, летописец слышал, сидели до Олега — Аскольд и Дир, но это, рассуждает он, незаконченные князья. Они даже не родственники Рюрика, а всего лишь его бояре: «И бяста у него (у Рюрика, — *Д. Л.*) 2 мужа, не племени его, но боярина, и та испросистася ко Царюгороду с родом своим».[3] По пути в Царьград эти два боярина захватили власть в Киеве, но они погибли, будучи разоблачены Олегом: «И рече Олег Аскольду и Дирови: „Вы неста князя, ни рода княжа, но аз есмь роду

---

[1] И. В. Сталин. Вопросы ленинизма. Изд. 11-е, 1939, стр. 604.
[2] Повесть временных лет, ч. I, стр. 18, под 862 г.
[3] Там же.

княжа", и вынесоша Игоря: „А се есть сын Рюриков". И убиша Асколда и Дира...».[1]

Сам Олег в древнейших сводах киевского летописания также не князь, а лишь воевода Рюрика. Законный князь лишь Игорь — сын Рюрика. Однако в более позднем киевском своде — в «Повести временных лет» — Олег сделан все же князем. Произошло эта так потому, что составитель «Повести временных лет», Нестор, использовал в своей работе договоры греков и русских, где Олег был засвидетельствован как князь. Он и признал его князем, но одновременно сделал его родственником Рюрика и утвердил его права на княжение завещательным распоряжением самого Рюрика: «Умершю Рюрикови предасть княженье свое Олгови, от рода ему суща, въдав ему сын свой на руце, Игоря, бе бо детеск вельми».[2] Таким образом, и здесь летописец заботливо восстанавливает права единой княжеской династии.

Утвердить права княжеской династии, хотя бы с помощью фантастической легенды о призвании трех братьев-варягов, освятить княжескую власть Ярослава Мудрого и его потомства прославлением его как брата святых Бориса и Глеба, как распространителя христианского просвещения — таковы ясно определимые тенденции киевского летописания.

Классовое лицо киевского летописания этим отнюдь не ограничивается. Летописцы использовали в своих произведениях некоторые элементы идеологии дружинной, монашеской и наряду с этим даже элементы идеологии эксплоатируемого народа, — в частности, ремесленников,[3] подчинив эти элементы «чужой» идеологии своим задачам. Однако детали нам не важны. Важны же те общие причины, которые вызвали появление в Киеве летописания, — потребности в нем господствующего класса, в своих классовых целях нуждавшегося в освящении существующей власти, в историческом обосновании блестящего внешнеполитического положения древнерусской раннефеодальной державы, использовавшего для осуществления своих целей подъем исторического самосознания русского народа и его исторический эпос.

Как мы уже видели выше (в главе «Особенности устного народного творчества X—XI вв.»), «Повесть временных лет» широко использовала исторический эпос русского народа в воссоздании прошлого Руси. В последующее время летописи ни-

---

[1] Там же, стр. 20, под 882 г.
[2] Там же, стр. 19, под 879 г.
[3] Там же, ч. II, стр. 41—49.

когда уже не будут в такой широкой мере пользоваться устным народным творчеством как историческим источником. Влияние народного творчества на развитие летописи будет по большей части скрытым, подспудным, трудно уловимым, идущим порой вопреки воле летописца. Народное творчество будет формировать язык летописи, но не непосредственно, а через устную речь своего времени. Народное творчество будет учить летописца простоте и лаконизму в выражении своих мыслей, последовательности изложения, спокойной уверенности рассказа, всегда точного и хронологически выдержанного, но идеологического воздействия народное творчество на летописца оказывать уже не будет. Летописец редко будет заимствовать у народного творчества отдельные сюжеты, почти не будет упоминать героев народного творчества. Только в XV—XVI вв., в пору образования и укрепления русского централизованного государства, летописание вновь обратится к былевому эпосу.

*

Итак, киевское летописание возникло на основе потребностей господствующего класса раннефеодального Русского государства. В Киеве, как центре Русской земли, осознавалось ее единство, особенно сильно выросло патриотическое и историческое самосознание. Необходимость утверждения внешнего и внутреннего авторитета государства вызвала возникновение первого произведения по русской истории.

Иными были условия возникновения летописания в Новгороде. Характерно, что наиболее древние достоверные погодные записи велись именно в Новгороде.[1]

Повидимому, ни в X, ни в начале XI в. в Киеве систематически летописные записи не велись. Их не дошло ни от времени Владимира I Святославича, ни от времени Ярослава Мудрого. Возможно, как мы указали выше, что кое-какие записи были сделаны при брате Владимира — Ярополке Святославиче, но это не более чем гипотеза.

В Новгороде положение иное. Там уже с 1015 г. несомненно начали вестись погодные записи. Первая новгородская запись, сделанная, без сомнения, современником, рассказывает о новгородских событиях, предшествовавших походу Ярослава Мудрого на Святополка: об отказе Ярослава давать «урок» Владимиру Святославичу, о насилиях варягов в Новгороде, о восстании против них на «Паромони дворе», где варяги были перебиты,

[1] А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 183 и сл.

о мести Ярослава новгородцам на Ракоме и о походе против Святополка, и т. д. Дальнейшие достоверно новгородские записи кратки и касаются по преимуществу узко новгородских событий; здесь — пожары, обратное движение воды в Волхове, битва с Всеславом на Гзени, ограбление им Софии и т. д. Характерно содержание новгородских записей за XII в.: голод, недород, высокий подъем воды в Волхове, мор на коней, поздно стоящая дождливая погода, ранний гром, городские события не слишком большого значения, события церковной жизни Новгорода, погребение без отпевания двух утонувших попов, небесные знамения, и т. д., и т. п.

Анализ содержания этих записей показывает, что летописцем двигал в первую очередь не исторический интерес, а своеобразное желание зафиксировать все более или менее необычное, с тем чтобы передать последующим поколениям свой житейский опыт. Летописец записывает «прецеденты»; день освящения той или иной церкви надо знать для совершения в ней соответствующих служб; отпевание утонувших попов — своеобразный «канонический случай», поздно стоящая дождливая погода — любопытный «природоведческий случай», может быть важный в хозяйственной жизни, и т. д. Одним словом, летописец в своих записях фиксирует прежде всего свой жизненный опыт. С течением времени эти записи, накапливаясь, получали исторический интерес. Они соединялись в своды и здесь уже становились «историей».

Важно отметить, когда именно происходило это соединение отдельных записей в своды. Один такой случай мы знаем достоверно. После восстания 1136 г., когда Новгород добивается относительной независимости от Киева, когда в Новгороде устанавливаются оригинальные собственные формы правления — строй своеобразной феодальной республики, — тогда-то боярско-купеческое правительство Новгорода берет на себя заботу о составлении нового свода. Этот свод был историей Руси с особым, центральным интересом к истории Новгорода. В начале своем он имел киевское летописание и продолжался сводом новгородских записей.

Классовый характер новгородского летописания определяется не сразу и менее четко, чем классовый характер киевского летописания. Это происходит потому, что официальный характер новгородского летописания все время сталкивается с частной инициативой. Погодные записи велись первоначально по частной инициативе. Эти отдельные записи накапливались за прошлые годы в значительном количестве и соединялись в обширные своды по инициативе правительственных кругов Новгорода. В подборе и соединении отдельных записей главным образом и

отражалась та или иная политическая концепция феодальных верхов.

*

Итак, летописание возникло на Руси в обстановке повышенного интереса к своей истории всего русского народа. Этот повышенный интерес отразился в создании исторического эпоса в X—XI вв., частично использованного в летописании. И исторический эпос, и летописание выросли на основе общего роста исторического самосознания, типичного для X—XI вв. (см. главу «Особенности устного народного творчества X—XI вв.»).

Повидимому, летопись самостоятельно возникла в нескольких русских центрах — в двух, по крайней мере: в Киеве и в Новгороде.

Отсюда ясно, что летопись — самобытный русский вид исторической литературы. Между тем, происхождение русского летописания и самый характер его долгое время было принято объяснять влиянием византийских хроник. Создавая свои летописи, русские якобы подражали византийским хроникам. Вопрос об исторических предпосылках возникновения летописания в самой русской действительности даже и не ставился. Мысль о византийском происхождении русских летописей была тесно связана с тем общим представлением о культуре древней Руси, в особенности ее начального периода, которое господствовало в дворянской и буржуазной науке прошлого столетия. Дворянские и буржуазные ученые выводили всю русскую культуру из Византии — архитектуру, живопись, прикладное искусство, письменность и литературу. Этот взгляд на русскую летопись был выдвинут еще в конце XVIII в. А. Шлецером.

А. Шлецер писал: «Весь временник Нестора сделан на покрой византийский»; целые места внесены в его творение «слово в слово» из хроник Кедрина, Скилиция, Ксифилина, Зонары.[1]

Взгляд этот без критического исследования легко вошел в дворянскую и буржуазную науку о русском летописании, поскольку ни анализа летописания как литературного явления, ни анализа исторических предпосылок возникновения летописания в старой науке, в сущности, не производилось.

Защитники этого взгляда пытались опереться на то обстоятельство, что в «Повести временных лет» помещены отрывки из византийских произведений: из Хроники Амартола и его продолжателя, из «Летописца вкратце» патриарха Никифора, Жития — Василия Нового и других, указываемых при этом иногда неверно (например, ошибочно указывалось, что в «Повести» помещены

[1] А. Шлецер. Нестор, т. I. СПб., 1809, стр. 17, 18 и др.

фрагменты из Кедрина, Скилиция, Ксифилина, Зонары, которых «Повесть временных лет» на самом деле не использовала).

Однако цитирование византийских хроник не означает подражания им. «Повесть временных лет» пользовалась, в числе прочих, византийскими историческими источниками, но самое изложение в «Повести» по годам осталось глубоко отличным от изложения византийских хроник по царствованиям императоров. Самая концепция русской истории, как мы уже видели, была создана на Руси.

Зависимость русского летописания от византийской хронографии заново пытался аргументировать М. Д. Приселков. В своей книге «Очерки по церковно-политической истории Киевской Руси X—XII вв.» (СПб., 1913) М. Д. Приселков высказал предположение, что составление первого летописного свода 1039 г. принадлежало инициативе киевского митрополита-грека Феопемпта, который, «вступив в управление новой митрополии цареградского патриархата, задался целью составить летопись, где изложить возникновение Киевской державы и историю установления своей митрополии» (стр. 82). Эту же мысль высказывает М. Д. Приселков в своей «Истории русского летописания XI—XV вв.» (Л., 1940), но уже с полной определенностью: «Обычай византийской церковной администрации требовал при открытии новой кафедры, епископской или митрополичьей, составлять по этому случаю записку исторического характера о причинах, месте и лицах этого события для делопроизводства патриаршего синода в Константинополе. Несомненно, новому „русскому“ митрополиту, прибывшему в Киев из Византии, и пришлось озаботиться составлением такого рода записки, которая, поскольку дело шло о новой митрополии Империи у народа, имевшего свой политический уклад и только вступившего в военный союз и „игемонию“ Империи, должна была превратиться в краткий исторический очерк исторических судеб этого молодого политического образования» (стр. 26).

Все это предположение М. Д. Приселкова, затем ставшее у него уверенностью, лишено какого бы то ни было конкретного обоснования. Оно выросло из вопроса, попутно брошенного А. А. Шахматовым еще в 1908 г.: «Мы видели в главе IX, — писал А. А. Шахматов в своих «Разысканиях», — что возведение новгородского владычества в архиепископию вызвало появление новой, распространенной редакции владычного свода. Мы говорили в главе X о митрополичьих сводах северо-восточной Руси, время от времени возобновлявшихся и дававших направление всему современному им летописанию. Ставим вопрос: не перешла ли к нам в Россию из Греции эта связь епископских и митрополичьих

кафедр с летописным делом? Не следовал ли митрополит Феопемпт освященному на родине своей примеру, когда, сделавшись первым русским митрополитом, побудил кого-либо из своих причетников составить первую русскую летопись?».[1]

Так из одного только предположения А. А. Шахматова без всякой аргументации, без приведения каких-либо подтверждающих материалов родилась теория, еще в 1940 г. излагавшаяся как последнее слово науки.

Между тем совершенно ясно, что первая русская летопись по своей форме и по своему содержанию никак не могла быть «запиской», предназначенной митрополитом-греком Феопемптом для отсылки в канцелярию константинопольской патриархии. Самый выбор языка — русского, а не греческого — находится в вопиющем противоречии с «теорией» М. Д. Приселкова.

С предположениями о византийском происхождении русской летописи спорил акад. Н. К. Никольский. Он писал: «Вопреки установившемуся мнению о начале русского летописания, образцами для утраченных „повестей“ о поляно-Руси не могли послужить греческие хроники. Несмотря на присутствие во вводных статьях отрывков (вставок) из греческой письменности, ни по своему содержанию, ни по своей конструктивной форме, ни по подробностям излагаемых эпизодов и основной тенденции, начальная часть нашей летописи не примыкает к памятникам византийской хронографии, среди которой до сих пор не открыто н и о д н о г о произведения, которое могло бы быть признано литературным прототипом не только для вводных статей, но и их продолжения».[2]

Правильно отвергая «византийскую теорию» происхождения русского летописания, Н. К. Никольский заменил ее теорией зависимости историографической схемы начальной русской летописи от предполагаемой им западнославянской хронографии.[3] Однако Н. К. Никольский не заметил, что и здесь в западнославянской хронографии, как и в византийской, «до сих пор не открыто н и о д н о г о произведения, которое могло бы быть признано литературным прототипом не только для вводных статей, но и их продолжения». Больше того, от западнославянской хронографии этого времени вообще не дошло до нас ни одного памятника...

---

[1] А. А. Ш а х м а т о в. Разыскания о древнейших русских летописных сводах, стр. 416—417.

[2] Н. К. Н и к о л ь с к и й. Повесть временных лет как источник для истории начального периода русской письменности и культуры, вып. I. Л., 1930, стр. 45, 46 и сл.

[3] Там же, стр. 47 и сл.

Неудивительно, что гипотеза Н. К. Никольского не встретила сочувствия.

Русская летопись приобрела свой типичный облик под влиянием властных требований самой русской жизни. Ее истоки в социально-политической действительности, а не в чужеземных образцах.

*

Возникнув под влиянием властных требований русской действительности, летопись в дальнейшем не оставалась неизменной по своей форме и содержанию. Под влиянием меняющейся действительности менялась и летопись.

Содержание и самая форма летописи менялись в зависимости от того, каким задачам было подчинено летописание. Летописи княжеские, посвященные восхвалению княжеской власти и личности самого князя (галицкая летопись, отчасти ранняя владимирская), выработали особую форму княжеских биографий, иногда соединяемых в единую цепь. Княжеские центры летописания стремились к иллюстрированию летописей миниатюрами (владимирский свод 1212 г., отразившийся своими миниатюрами в Радзивиловской летописи, а впоследствии Лицевой свод XVI в.), но иллюстрирования не допускали летописи городские или монастырские. Потребности отдельных феодальных дворов вызывают появление личных, семейных и родовых княжеских летописцев. Летописание «уличанской» церкви в Новгороде отличается демократизмом языка, стиля, тем. Свои формы дает летописание владимирского Успенского собора (летопись как собрание чудес богоматери — покровительницы Владимира). Впоследствии свои формы летописания выработает Москва в XVI в. в связи с теми новыми задачами, которые встанут перед нею. Свои формы летописания с торжественным предисловием, восхваляющим князя, выработаются в Твери. И т. д.

Таким образом, вопреки установившемуся мнению, следует признать, что летопись не обладает прочной, неизменяемой формой. Под общим понятием летописи кроются иногда различные явления. Формы летописания текучи и изменчивы, исходят из различных корней. Сама «погодность» изложения далеко не обязательна в летописи. Сильно колеблется и ее стиль: иногда летописец не смущается стилистическим разнобоем, пользуется разнохарактерными стилистическими трафаретами, выработанными в других жанрах средневековой литературы (в житиях, в проповедях, в воинских повестях); иногда же, напротив, летописец стремится установить единство стиля и исправляет все предшествующее изложение летописи целиком (так, например, поступил летописец — составитель владимирского свода 1212 г.). Отсюда

мы должны сделать заключение, что в противоположность многим другим видам средневековой литературы (особенно — близким к церкви: житиям, проповедям и т. д.) летопись — гибко меняла свою форму. Она чутко отражала воздействие действительности, — определялась действительностью в большей мере, чем литературной традицией. В меньшей мере, чем в других жанрах раннефеодальной литературы, в ней сказывалось стремление к застойности форм и содержания, к трафаретным стилистическим приемам.

В характерной для феодализма борьбе богословской «системы» с действительностью, априорных богословских положений с непосредственным опытом, косных, малоподвижных трафаретов феодальной литературы с постоянно меняющимися потребностями читателей — летопись практически по большей части стояла на стороне действительности, опыта читателей. Она была целиком втянута в социальную борьбу своего времени, и именно это обстоятельство благотворно отразилось на ее развитии и позволило ей занять важное место в русской жизни. Именно в этом смысле мы можем говорить о летописи как об одном из ведущих (двигающих вперед) жанров русской литературы раннего и развитого периода феодализма.

*

Особая форма живых и, по-своему, очень реалистических рассказов выработалась в древней Руси в связи с особенностями русского посольского обычая XI—XIII вв.

Самые переговоры, как это мною было показано в другом месте,[1] велись в древней Руси устно. Русские князья исключительно редко пересылались между собой грамотами. Они посылали послов не с грамотами, а с «речами». Когда переговаривающиеся стороны взаимно посылают друг к другу послов, летопись обычно применяет выражение «сослаться речьми». Впоследствии в XVI—XVII вв. такие речи, изустно передававшиеся послами, назывались «наказными речами». Как показывает позднейшая практика, эти «речи» произносились послами вовсе не наизусть. Повидимому, точными и дословными были только некоторые формулировки.

Русский обычай «ссылаться речьми», а не грамотами, был очень устойчивым. Однако это не значит, что весь посольский обычай древней Руси, XI—XIII вв., был устным и не требовал применения письменности. Наоборот, большинство русских послов

[1] Д. С. Лихачев. Русский посольский обычай XI—XIII вв. Исторические записки, № 18, 1946.

были людьми хорошо грамотными, а некоторые из них и незаурядными писателями, как, например, поп Василий при Мономахе, Петр Бориславич — посол Изяслава Мстиславича, Кузьмище Киянин, составивший рассказ об убийстве Андрея Боголюбского, и др. Вернувшись к посылавшему его, посол, обычно, составлял письменный отчет о выполнении им поручения, о всем виденном и слышанном, о событиях, свидетелем которых он был.

Впоследствии эти посольские повести значительно изменили свой характер, и те из них, которые приобрели официальный характер, в известном сочинении XVII в. дьяка Григория Котошихина упомянуты под далеко не точным названием «статейных списков». Под этим неточным названием эти посольские повести и вошли в научную терминологию.

Само собой разумеется, что не все повести-отчеты послов получали какое-то общее значение, выходя за рамки только выполнения послом его поручения. В тех случаях, когда посольская повесть охватывала своим повествованием события, имевшие более или менее общее значение, касавшиеся княжеских клятвонарушений, убийств, положивших начало распре и т. п., такая посольская повесть переписывалась, читалась и даже заносилась в летопись.

Конечно, такие повести получали особенное распространение в тех случаях, когда они предназначались для того, чтобы служить для одних из враждующих князей своего рода обличительными документами против других. Вот почему эти повести приобрели особенную живость и, я бы сказал, «активность» в период феодальной раздробленности Руси. Эти повести предназначались одной из враждующих сторон служить своего рода обвинительными актами против другой. Это были своеобразные документы злодеяний, но документы, составленные в живой манере, подробные, с точно переданными речами действующих лиц. Повести эти должны были убеждать читателя фактами, верностью всей нарисованной картины в целом в виновности одной стороны и в правоте другой. Поэтому они избегают стилистических средневековых трафаретов (хотя и не лишены их), они точны в своих реалиях, убедительны психологически. Они нередко далеки от средневекового схематизма в изложении фактов и стремятся как можно ближе следовать действительности, оставаясь в то же время крайне тенденциозными.

Сообразно цели этих повестей — убедить читателя в верности той или иной версии преступления — составление их обычно поручалось авторитетным свидетелям, часто участникам дипломатических переговоров. Составитель повести, участник дела,

свидетель его, рассказывает о себе, о своем вмешательстве в ход событий, что в других случаях средневекового повествования могло бы показаться грубым и греховным самовосхвалением. С протокольной точностью в повестях этого типа передаются речи действующих лиц, как имеющие особенную документальную ценность.

Как своеобразные дипломатические отчеты, эти повести полны юридической, военной и феодальной терминологии своего времени. Это чисто светская литература, иногда только подвергавшаяся позднейшему оцерковлению.

Замечательною особенностью этих повестей является то, что они возникали из непосредственных потребностей политической борьбы, они стояли необычайно близко к жизни, писались почти тотчас же после событий, которым посвящены, и сами как бы были продолжением той борьбы, которую отражали. Хронология их существования тесно связана с хронологией политических преступлений феодалов времени феодальной раздробленности. Время распространения этого жанра совпадает со временем феодальных распрей. Можно предполагать, что уже первое политическое убийство, которым сопровождалось на Руси начало феодального дробления «империи» Владимира, — убийство Бориса и Глеба, — вызвало появление, произведения, отчасти близкого к этому жанру. Последняя (или одна из последних) повестей о преступлениях князей читается в московском своде 1463 г. под 1425 г.: это повесть об ослеплении Василия Темного Дмитрием Шемякой и Иваном Можайским.

На протяжении всех этих веков жанр повестей о политических преступлениях князей имеет все черты композиционной устойчивости, но особенного развития и особой типичности этот жанр достигает в конце XI—XII вв.

Первым дошедшим до нас произведением, типичным для этого жанра — жанра посольских повестей, посвященных княжеским преступлениям, — является повесть посла Василия об ослеплении Василька Теребовльского. Повесть эта была включена в «Повесть временных лет» под 1097 г. с целью возвеличения Владимира Мономаха как защитника интересов всей Русской земли и как борца за ее единство против княжеских распрей.

Повесть посла Василия об ослеплении Василька Теребовльского важна для нас и тем, что она живо и конкретно рисует нам самый посольский обычай XI—XII вв., особенности которого породили этот род полуделовых-полулитературных произведений.

В то время, когда ослепленного Василька Теребовльского держали под стражею во Владимире Волынском, там находился

и Василий. В одну ночь, — говорит Василий, — прислал за мной князь Давыд. Я пришел к нему и застал около него сидящую дружину. Князь посадил меня и начал говорить: «Се молвил Василко си ночи к Уланови и Колчи, рекл тако: „Се слышю, оже идеть Володимер и Святополк на Давыда; да же бы мене Давыд послушал, да бых послал мужь свой к Володимеру воротиться, веде бо ся с ним что молвил, и не поидеть. Да се, Василю, шлю тя, иди к Василкови, тезу своему, с сима отрокома, и молви ему тако: Оже хощеши послати мужь свой, и воротится Володимер, то вдам ти которой ти город люб, любо Всеволожь, любо Шеполь, любо Перемиль“». Я пошел к Васильку, — продолжает Василий, — и поведал ему все речи Давыдовы. Он же сказал: «Сего есм не молвил; но надеюся на бог. Пошлю к Володимеру, да быша не прольяли мене ради крови. Но сему ми дивно, дает ми город свой, а мой Теребовль, моя власть, и ныне и пождавше».[1]

Так оно и случилось, — добавляет Василий, — так как вскоре получил он свою волость. Затем, — говорит Василий, — обратился Василько ко мне со словами: «Иди к Давыдови и рци ему: „Пришли ми Кульмея, а ти пошлю к Володимеру“. И не послуша его Давыд, и посла мя пакы река: „Не ту Кулмея“. И рече ми Василко: „Поседи мало“, и повеле слузе своему ити вон, и седе со мною и нача ми глаголати. . .».[2]

Из самой повести Василия, выясняется, что он вскоре же, очевидно, составил подробный отчет о тех событиях, участником и свидетелем которых он был.

Эти события охватывали целый период: с осени 1097 г. до 30 августа 1100 г.

Повесть посвящена одному из самых вероломных преступлений в междоусобной борьбе XI—XII вв. Кровавые события грозили сорвать все дело Владимира Мономаха, боровшегося за установление мира между князьями. В 1097 г. Мономах созвал первый княжеский съезд в Любече, на котором князья должны были договориться о своих взаимоотношениях и положить конец усобицам. Съезд признал, что каждый князь должен держаться своей вотчины и не покушаться на чужую. Князья целовали крест, что если кто-нибудь из них поднимется на другого, то все должны встать на зачинщика. Но только закончился съезд, как Давыд Игоревич Владимиро-Волынский и Святополк Изяславич заманили к себе Василька Теребовльского и ослепили его. Встревоженный Мономах был заинтересован в том, чтобы все обстоя-

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 175—176, под 1097 г.
[2] Там же, стр. 176, под 1097 г.

тельства этого вероломства стали широко известны всем и всеми осуждены.

Автор повести — поп Василий — выполнял дипломатические поручения Мономаха и был причастен к Выдубецкому монастырю Мономаха. События описаны Василием как свидетелем.

Множество бытовых подробностей и реалий делает рассказ Василия одним из самых живых в летописи раннефеодального периода. Подробно и не торопясь повествует Василий, как заманили Василька на именины, как постепенно оставили его одного в комнате, как схватили и схваченного везли затем на телеге в Белгород, где бросили в «истобку малу». Оглядевшись, Василько догадался, что хотят с ним сделать, стал кричать и плакать. Вошли конюхи, разостлали ковер и хотели повалить на него Василька. Василько отчаянно отбивался. Конюхи позвали подмогу, Василька схватили и связали, а затем сняли с печи доску, положили ему на грудь и сели по концам. Но Василько и тут сопротивлялся так отчаянно, что сняли с печи и вторую доску и придавили его «яко персем троскотати». Кончив точить нож, овчарь Святополка подошел и ударил им в глаз Василька, но сначала промахнулся и перерезал ему лицо: «И есть рана та на Василке и ныне».[1] «И посем удари и в око, и изя зеницю, и посем в другое око, и изя другую зеницю».[2]

Ослепленного, едва живого Василька снова взвалили на телегу и повезли во Владимир Волынский. Трогателен путевой эпизод с окровавленной сорочкой Василька, которую ослепители, остановясь для обеда в Воздвиженске, дали постирать попадье. Попадья, приняв князя за мертвого, оплакивает его.

«Сего не бывало есть в Русьскей земьли ни при дедех наших, ни при отцих наших, сякого зла»,[3] — сказал ужаснувшийся при известии об ослеплении Василька Владимир Мономах и послал к Давыду и Олегу Святославичам сказать: «Придета к Городцю, да поправим сего зла, еже ся створи се в Русьскей земьли и в нас, в братьи, оже вверженъ в ны ножь. Да аще сего не правим, то болшее зло встанеть в нас, и начнеть брат брата закалати, и погыбнеть земля Руская, и врази наши, половци, пришедше возмуть землю Русьскую».[4]

Правота Василька и преступление Святополка, нарушившего свою клятву на кресте, подтверждаются патетической картиною чуда. Тот самый крест, клятву на котором нарушил Святополк,

---

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 173, под 1097 г.
[2] Там же.
[3] Там же, стр. 174, под 1097 г.
[4] Там же.

обращает на него поражение. Перед боем со Святополком Василько, «възвыси крест», и говорит: «Сего еси целовал, се перьвее взял еси зрак очью моею, а се ныне хощеши взяти душю мою. Да буди межи нами крест сь».[1] Полки соступились, и вот многие люди увидели над полками Василька тот самый крест, на котором была дана нарушенная клятва. Клятвопреступник Святополк был побежден.

Тот же характер носили и другие повести этого жанра. Все они отличались детальностью описаний, точной передачей всего сказанного, до известной степени «натурализмом», вызывавшимся стремлением точно передать все подробности преступления.

Повести эти были лишены, однако, широкого литературного обобщения. Они говорили о единичных фактах и предназначались как обличение противников в конкретной феодальной борьбе. Однако обличения этих повестей, самым тесным образом связанные с конкретными лицами и приуроченные к определенным событиям, с течением времени теряли свою «злободневность», переосмыслялись, обобщались и воспринимались как обличения княжеских усобиц в целом. Частные обвинения против тех или иных князей выростали в обобщающие картины феодальных неурядиц. Примеры этого недалеки: поп Василий составлял свою повесть об ослеплении Василька Теребовльского не для обличения княжеских преступлений вообще, а только одного — того, которое было совершено Давыдом и Святополком. Но уже Сильвестр, включая ее в свою переработку «Повести временных лет», видел в ней более обобщенную картину: он усматривал в ней лишь одну из тех княжеских усобиц, с которыми боролся Мономах. Спустя три столетия составитель повести о нашествии Эдигея (1409 г.) видел в ней вообще обличения княжеских усобиц и приводил Сильвестра как образец летописца, умевшего без лести, «не украшая», говорить правду о княжеских усобицах.[2]

Так само время доделывало то, чего недоставало повествованию. Отрываясь от слишком конкретных деталей, понятных только современникам, повествование переосмыслялось, воспринималось как обобщенная картина феодальных раздоров.

Конечно, доделывало литературную сторону этих повестей не время. Мы только условно так выразились. Доделывали люди. Здесь, как и во многих других случаях, приведенных нами в предшествующих главах, мы отчетливо видим, что лите-

---

[1] Там же, стр. 178, под 1097 г.
[2] Повесть 1409 г. Симеоновская летопись под 1409 г.

ратурное творчество коллективно, что литература создается не только писателями, а коллективными усилиями всего общества, ставящего новые задачи литературным произведениям и по-новому понимающего старые.

*

Если посольские повести о княжеских преступлениях служили целям борьбы между князьями, то другой жанр исторических повестей, которые мы условно можем назвать «княжескими жизнеописаниями», служил целям борьбы князей со своими внутриклассовыми противниками — главным образом боярством. Этот жанр «княжеских жизнеописаний» также возник совершенно самостоятельно на русской почве, на почве русской действительности, из ее потребностей.

Этому жанру «княжеских жизнеописаний» я также посвятил особую главу в другой работе.[1] Сейчас повторю лишь то, что представляется необходимым для полноты картины возникновения новых самостоятельных видов литературных произведений на русской почве.

Впервые особый вид княжеских жизнеописаний был установлен Л. В. Черепниным. В составе Ипатьевской летописи за XIII в. Л. В. Черепнин искусно выделил особое повествование о Даниле Романовиче Галицком,[2] назвав его «Летописцем Даниила Галицкого», хотя «летописец» этот не имел погодной сети[3] и поэтому не мог быть, собственно, назван летописцем, представляя собой, по существу, связную биографию Даниила.[4]

Это жизнеописание Даниила целиком посвящено прославлению его самого и его дела. Оно начинается с общего прославления могущества отца Даниила — Романа Мстиславича. Сам Даниил был «дерз и храбор, от главы и до ногу его не бе на немь порока».[5] Даниил «спешаше и тосняшеся на войну», стремился углубиться в землю врага и обогатиться полоном и добычей. Его деяния сравниваются с деяниями Святослава Храброго и Владимира Святого.[6] Даниил был первым русским князем, повоевавшим «Землю чешскую»; никто, кроме Владимира Святого, не

[1] Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 247—267.

[2] Л. В. Черепнин. Летописец Даниила Галицкого. Исторические записки, № 12, М., 1941.

[3] М. Грушевский. Хронологія подій Галицько-волинської літописи. Записки Науков. товар. ім. Шевченко, т. XLI, кн. III, Львів, 1901.

[4] Дальнейшие наблюдения над летописанием галицким и волынским см.: В. Т. Пашуто. Очерки по истории галицко-волынской Руси. М., 1950.

[5] Ипатьевская летопись под 1254 г.

[6] Там же.

входил «толь глубоко» в Польскую землю. Он «измлада» не давал себе покоя в борьбе с внешними врагами Руси — поляками, венграми, чехами, литовцами, ятвягами. Его войско одним своим видом вызывало удивление иноземцев.[1] Описание войска, «соколов-стрельцов», блестящего оружия русских не раз встречается в жизнеописании Даниила.[2] В таких необычно приподнятых красках описывает автор галицкую пехоту с едущим впереди нее Даниилом.

Автор жизнеописания подробно следит за деятельностью своего князя, дает развернутые картины его строительства, всюду подчеркивает любовь к нему населения. Жители Галича устремляются к Даниилу «яко дети ко отчю (отцу), яко пчелы к матце, яко жажющи воды ко источнику», они называют его «держатель нашь, богом даный».[3]

Подробно приводит автор воинские речи Даниила, полные высокого рыцарского представления о чести воина и чести родины, многие из которых представляют собою прекрасные образцы ораторского искусства. Автор следит за ратными подвигами Даниила, описывает его личное участие в боевых схватках. Не раз обнажает меч Даниил, не раз ломает свое копье, не раз оказывается он на волосок от смерти. В сражении на Калке Даниил в пылу битвы «не чуял» на себе ран, и только вода, которую он выпил, заставила его почувствовать их боль. Другой раз конь вынес его из смертельной опасности, конец вражеского меча успел отхватить кусок шерсти на «стегне» у его коня.

Особое внимание уделяет автор борьбе Даниила с боярами. В этом — идейный смысл всего повествования. Он находит живые краски для того, чтобы сатирически изобразить их. У льстивого боярина Семьюна лицо было красное, как у лисицы; [4] боярин Доброслав, когда ехал на коне, то в гордости не смотрел на землю; малодушные изменники бояре, которые вынуждены были сдать Галич Даниилу, выходят к нему со слезами на глазах, с осклабленными лицами, облизывая губы, и т. д.[5]

Кроме жизнеописания Даниила, повидимому, существовало светское жизнеописание Александра Невского, затем переработанное в житие.[6] В Лаврентьевской летописи сохранились элементы светского жизнеописания Андрея Боголюбского, начатого

[1] Там же под 1252 г.
[2] Там же под 1251 г.
[3] Там же под 1235 г.
[4] Там же под 1229 г.
[5] Там же под 1235 г.
[6] Н. Серебрянский. Древне-русские княжеские жития. М., 1915, стр. 200 и сл.

еще при его жизни. В Ипатьевской летописи за XII в. не раз обращали на себя внимание части, которые, повидимому, восходили к какому-то жизнеописанию Изяслава Мстиславича.[1]

*

Из всего вышеизложенного становится ясной одна очень важная особенность русской литературы древнейшего периода. Каждый новый вид литературных произведений несет определенную «деловую» функцию в жизни. Жанры церковной литературы — жития разных видов, проповеди разных видов, гимнографические сочинения и пр. — выполняли строго определенные функции в церковном ритуале. Вполне светские сочинения были теснейшим образом связаны с политическим бытом своего времени.

Летописи, «Поучение» Владимира Мономаха, повести о княжеских преступлениях — все это «деловые» сочинения, рассчитанные на определенного читателя, преследующие строго определенные политические цели в конкретных условиях политической борьбы своего времени. «Поучение» Мономаха — это его «духовная», политическое завещание. Повесть Василия об ослеплении Василька Теребовльского или повесть Петра Бориславича о клятвопреступлении Владимирки Галицкого рассчитаны были служить своего рода обвинительными документами для одних и оправдательными для других. Летописи княжеские, семейные были «деловыми» записями прежде всего, — записями конкретно необходимыми в конкретной княжеской борьбе XII—XIII вв.

Литературные задачи во всех этих произведениях соединялись с задачами «деловыми».

[1] История русской литературы, т. I. Институт литературы (Пушкинский Дом) АН СССР, М.—Л., 1940, стр. 311.

«СЛОВО О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ» В СТАНОВЛЕНИИ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«Слово о полку Игореве» принадлежит к произведениям, в которых становление специфики литературы, как творчества художественного, достигло полной отчетливости. В нем не было никакого «служебного» назначения, церковного или светского, которое оттесняло бы в нем его художественные задачи на второй план. Оно не предназначалось для чтения в церкви или в трапезной, как слова, поучения и жития. Оно не предназначалось для исторических справок, как летопись, или для доказательств правоты одной из сторон и виновности другой в дипломатической борьбе между князьями, как повести о княжеских преступлениях. Оно не носило естественно-научного характера, подобно космографиям, физиологам, азбуковникам, и не должно было удовлетворять любознательность географическую и религиозную, вроде «Хождения» игумена Даниила или апокрифов. «Слово о полку Игореве» было лишено узкой служебной или познавательной предназначенности, оно не было написано для какого-то определенного узкого круга читателей или слушателей: все свое идейное содержание, все свои политические идеи оно безраздельно вкладывало в художественную образность. «Повесть временных лет», «Поучение» Владимира Мономаха или «Слово» Илариона и многие другие произведения XI—XII вв. отличались очень высокими художественными достоинствами. Однако, наряду с художественностью, эти произведения ставили себе и чисто «деловые» цели. Художественное познание действительности сочеталось в них с прямым, «ученым» ее познанием. Это были произведения художественные и «ученые» одновременно.

В литературе шел интенсивнейший процесс накопления художественного опыта, эстетических ценностей, постепенной кристаллизации специфики литературного творчества. «Слово о полку Игореве» — яркое свидетельство того, что к XII в. этот процесс привел к ощутимым результатам.

В «Слове» содержание его получило единое адэкватное выражение в единой художественной, образной форме. «Прозаизмы», элементы «деловой» письменности в «Слове» не только отсутствуют — они в нем немыслимы. Оно все от начала и до конца написано как бы на одной поэтической волне, — пронизано поэтическим, лирическим отношением к действительности. С этой точки зрения оно знаменует собой новый этап в развитии русской литературы — этап, когда литература по-настоящему становится литературой, когда падают первые принципиальные различия между литературой древней и литературой нового времени.

В дальнейшем мы остановимся только на этой стороне «Слова», особенно необходимой для понимания места «Слова» в процессе становления русской литературы, и не будем касаться всей многообразной идейной и художественной значимости этого «благоуханного цветка» (В. Г. Белинский) русской словесности.

*

Форма и идейное содержание слиты в «Слове» в нерасторжимое единство; для того чтобы понять первое, надо проанализировать второе. Второе же, т. е. идейное содержание, органически связано с наиболее передовыми устремлениями эпохи.

«Слово о полку Игореве» — призыв к единению, к прекращению княжеских усобиц перед лицом страшной внешней опасности. К. Маркс писал: «Смысл поэмы — призыв русских князей к единению как раз перед нашествием монголов».[1]

С XII по XV век длится в истории Руси период феодальной политической раздробленности. В XII в. относительно единое раннефеодальное древнерусское государство расчленилось на множество самостоятельных феодальных «полугосударств». Это расчленение явилось результатом дальнейшего развития феодального способа производства. Феодальная раздробленность явилась прогрессивным этапом в развитии феодального способа производства, она была связана с дальнейшим ростом производительных сил, но по своим политическим последствиям она была очень неблагоприятна, в значительной мере ослабив внешнеполитическое могущество Руси.

Землевладельцы-феодалы принудили работать на себя значительную часть прежде свободного крестьянства и вынуждены были постоянно прибегать к внеэкономическому принуждению со стороны местной княжеской власти, отныне организующей свой суд, управление и войско. Киев постепенно теряет свою власть

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XXII, стр. 122.

над отдельными княжествами, не будучи в силах удержать князей в повиновении и утвердить среди них свой авторитет, оказывая им помощь против подчиненного им крестьянства.

Феодальное дробление, позволив крепче «держать в узде» трудовое население Руси, резко ослабило зато ее внешнее могущество. Половцы нападали на Русь и разоряли, в первую очередь, крестьян, массами угоняя их в плен.

Феодальное дробление было, следовательно, на руку только боярам-землевладельцам, мелким князьям, осуществлявшим классовое угнетение крестьянства.

Однако, наряду с этой реакционной тенденцией к дроблению Руси на множество феодальных «полугосударств», существовала и другая тенденция — к объединению, тенденция прогрессивная, встречавшая поддержку трудового населения — крестьянства.

Наряду с тенденцией к феодальному дроблению очень рано, еще в XII в., определилась тенденция к феодальной централизации. Эта тенденция олицетворялась сильной княжеской властью, опиравшейся на содействие средней и низшей феодальной прослойки — «служащих бояр» и городских торгово-ремесленных верхов.

Князья наиболее крупных феодальных «полугосударств» — Киевского княжества, Галицкого княжества, Владимиро-Суздальского княжества и некоторых других выступают претендентами на объединение Руси на развитой феодальной основе.

Эта тенденция к феодальной централизации пользовалась активной поддержкой крестьянства и городских низов, более всего страдавших от княжеских усобиц и набегов половцев. При этом надо с самого начала оговориться, что трудовое население Руси поддерживало централизацию, поддерживало сильную княжескую власть, поскольку только она могла дать надежную защиту от внешних врагов, но сама по себе государственная власть оставалась резко враждебной, способствовавшей эксплоатации трудовых масс.

До известной степени, хотя все же и очень незначительно, сохраняется общерусское значение власти киевского князя. Последний очень часто стремится выступать от лица всей Русской земли — в дипломатических сношениях с иноземными государствами, в церковных вопросах, в организации общерусских, объединенных походов против половцев.

Великокняжеская власть Киева и некоторых других наиболее крупных княжеств представляет собой до известной степени феодальную монархию, и к ней вполне применимы уже в XII в. указания Ф. Энгельса о прогрессивной роли королевской власти как носительницы «порядка» в феодальном беспорядке.

Ф. Энгельс отмечает, что королевская власть вступает в союз с «революционными» элементами города и деревни, и датирует начало тенденций к этому союзу в Западной Европе еще X веком. Союз этот креп очень медленно.

Ф. Энгельс утверждает, что союз королевской власти с «революционными» элементами города и деревни нередко «нарушался в результате конфликтов; далеко не всегда в течение всех средних веков дело шло этим путем объединения, все же этот союз возобновлялся все тверже, все могущественнее, пока, наконец, он не помог королевской власти одержать окончательную победу, и королевская власть в благодарность за это поработила и ограбила своего союзника».[1]

На Руси этот союз уже заметен в XII в. во Владимирско-Суздальском княжестве. Его мы можем подозревать в Галицко-Волынском княжестве и в Киевском. О поддержке населением сильного князя, именно потому что он сильный и мог, следовательно, дать ему защиту, прямо говорят летописи. Так, например, черные клобуки, а с ними вместе и киевляне, говорили Изяславу Мстиславичу во время его борьбы с Юрием Долгоруким: «Ты нашь князь, коли сильнь будеши, а мы с тобою, а ныне не твое веремя, поеди прочь».[2]

Итак, в XII в. на базе развития феодального способа производства, на базе развития основного классового противоречия феодального общества — между феодалами-землевладельцами и закрепощаемыми крестьянами — происходит борьба сил раздробленности и централизации.

В этой характерной для XII в. борьбе центростремительных и центробежных тенденций автор «Слова о полку Игореве» был на стороне первой. Он на стороне прогрессивных союзников сильной княжеской власти, на стороне объединительных тенденций.

Знаменательно, что междоусобицы князей автор «Слова» расценивает по преимуществу с точки зрения народной — как народное бедствие прежде всего. Два главных представителя княжеских «котор» — Олег «Гориславич» и Всеслав Полоцкий — своими бесконечными войнами разоряли крестьянские хозяйства. При Олеге «по Руской земли рѣтко ратаевѣ кикахуть, нъ часто врани граяхуть, трупиа себѣ дѣляче». При Всеславе же «Немизѣ кровави, брезѣ не бологомъ бяхуть посѣяни, посѣяни костьми русскихъ сыновъ».

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 445.
[2] Ипатьевская летопись под 1150 г.

В «Слове» постоянно говорится о дружине, о «русичах», о «русских сынах» и «женах русских», о храбрых полках Игоря, о достоянии «Даждьбожа внука», т. е. русского народа, о горе, которое простерлось по всей Русской земле и которым «восстонали» Киев и Чернигов, о дани, которую брали половцы «по бѣлѣ отъ двора» — от двора, конечно, крестьянского, и т. д., и т. п. Ясно, что автор «Слова о полку Игореве» страдает страданиями и радуется радостями всего русского народа. Ни в одной летописи мы не встретим такого отношения к народу, такого обилия упоминаний о людях и при этом с неизменным лирическим сочувствием.

Автор «Слова», конечно, не крестьянин, но он без сомнения выразитель крестьянских интересов и интересов наиболее прогрессивной части феодального класса — нарождающегося дворянства — княжеских «милостников».

Народность идейного содержания «Слова» определяет собой и народность его художественной формы. «Связь „Слова“ с лучшей частью народной поэзии, — пишет В. П. Адрианова-Перетц, — не ограничивалась прямым перенесением в литературное произведение некоторых ее изобразительных средств. В самом мировоззрении автора „Слова“ были такие черты, которые сближали его с творцами устного исторического эпоса прежде всего в оценке изображаемых событий, в задачах ее художественного отражения... Прямым результатом этой общности задач и метода явилось и усвоение писателем устно-поэтической фразеологии. „Фольклорность“ „Слова“, понимаемая в таком широком плане, опирается прежде всего на его подлинно народную идейную сущность».[1]

Мы говорили выше, что «Слово» — одно из первых известных произведений русской литературы, которое является прежде всего произведением «художественным» в широком и глубоком понимании этого слова. Его идейная и политическая насыщенность целиком, без остатка, властно претворена в образную, художественную форму. Это произведение зрелой литературы. И именно этим своим качеством «Слово о полку Игореве» прежде всего обязано устной народной поэзии. Чтобы понять это, следует присмотреться к некоторым характерным и весьма значительным изменениям, которые претерпевало устное народное творчество в годы феодальной раздробленности.

В годы раннего феодализма и в годы феодальной раздробленности народное творчество в ряде областей опережало развитие

[1] В. П. Адрианова-Перетц. «Слово о полку Игореве» и устная народная поэзия. Слово о полку Игореве. Серия «Литературные памятники». Изд. АН СССР, М.—Л., 1950, стр. 294.

«письменной литературы». Было бы совершенно неправильным думать, что одно из двух творчеств — письменное или устное — всегда занимало передовые позиции. Положение, в действительности, было очень сложным. Письменному художественному творчеству принадлежало будущее в ряде таких областей, куда устное творчество не проникало. Литературный язык принадлежал, в основном, литературе, а не фольклору. Прогрессивные идеи высказывались не только в фольклоре, но и в литературе. Литература развивала жанры, которых не было в устном творчестве. Она накапливала художественный опыт в таких размерах, которые были совершенно не под силу вечно текучему и меняющемуся устному творчеству. Однако в основании многих успехов литературы лежит в XI—XII вв. прочный и свободно располагающийся фундамент устного народного творчества. Устное творчество позволяло художественной письменности одерживать победы в таких областях, в которых оно само было бессильно добиться значительных и прочных результатов.

Успехи литературного языка в значительной мере объяснялись успехами его фольклорной подосновы.

Прогрессивные идеи в литературе отражали прежде всего интересы народа, отчасти выраженные в его устном творчестве. Литература осваивала и развивала опыт фольклора, в котором, конечно, были разные стороны и разные явления — более прогрессивные и менее прогрессивные, но без которого не мог бы в целом совершаться прогресс литературы.

Вместе с тем, как это мы уже неоднократно отмечали, народное творчество отнюдь не было косным и неподвижным. Оно развивалось, и само это движение создавало благоприятные условия для развития литературы.

Сейчас мы должны будем обратить внимание вот на какую очень важную сторону в развитии устного народного творчества XII в.: устное творчество в наиболее прогрессивной своей части становится в это время художественным в собственном смысле этого слова. «Слово о полку Игореве», также становясь первым в русской литературе произведением собственно художественным, во многом опиралось в этом на опыт устной народной поэзии. В этом отношении оно было ближе к народному творчеству, чем к литературе господствующих классов, по большей части несшей «деловую нагрузку».

*

Мы уже говорили выше, в главе, посвященной устному народному творчеству X—XI вв., что устная поэзия постепенно освобождается от той частичной связи с языческой религией, ко-

торая имелась в доклассовом обществе. Это был процесс длительный и неровный. Спустя столетие или два после официального принятия христианства как государственной религии, он достиг стадии, которая характеризуется сильным развитием так называемого «двоеверия».

Что такое это «двоеверие»? Простое соединение «двух вер» вряд ли вообще возможно, тем более что христианство в XII в., как и в последующие века, активно боролось с языческой религией, с ее остатками в народе. Элементы язычества приходили в соединение с христианскими верованнями только тогда, когда они не осознавались в народе как языческие. Язычество как с и с т е м а верований враждебная христианству должна была исчезнуть прежде, чем могло появиться двоеверие. Это могло совершиться только спустя известное время после победы христианства.

Просматривая церковные обличения язычества с XII по XVII в., мы заметим, что осуждается н е в е р а в языческих богов, а исполнение языческих о б р я д о в. И это далеко не случайно. Языческий обряд не только в XII в., но и гораздо позднее продолжает жить независимо от самого язычества: он приобретает игровую функцию, обрядовая песнь становится фактом эстетического сознания в гораздо большей степени, чем религиозного. Именно этим «переключением» языческого обряда в сферу эстетики и народного развлечения объясняется, с одной стороны, его живучесть (в отдельных случаях вплоть до XX в.) а с другой, — легкость, с которой он вступает в связь с обрядовой стороной христианской религии. Это «переключение» языческой обрядности не могло совершиться в конце X—XI вв., когда связь между языческим обрядом и языческой религией ощущалась еще слишком сильно. Оно стало реальным фактом только с периода феодальной раздробленности, когда христианизация населения сделала особенно большие успехи.

Конечно, речь может итти лишь об отмирании веры по преимуществу в главных языческих богов (в Перуна, в Волоса, в Хорса, в Даждьбога и т. д.), воспринимавшихся как главные противники христианства. «Низшая» же мифология язычества — вера в домовых, в род, в рожаниц и мн. др. — еще долго остается в сознании людей, утратив, впрочем, в значительной мере свою силу. Однако сознание е д и н с т в а совокупности отдельных верований, неизбежно присутствующее в каждой религии, если только она осознается как религия, утрачено уже навсегда. Никто из выполнявших в XII—XIII вв. языческие обряды и веривших в «рожаниц» не противопоставлял их христианству как нечто равноправное ему, и в этом было одно из главных условий прочности так называемого «двоеверия».

Густынская летопись, говоря о Коляде, сообщает: «Сему бесу в память простая чадь сходятся в навечерие Рождества Христова, а поют песни некия, в них же аще о Рождестве Христовом поминают, а болие коляду беса величают».[1] Конечно, «беса» и языческого бога распознал в Коляде летописец, «простая» же «чадь» пела Коляде «песни некии», выполняя веселый, традиционный обряд, не осознавая в полной мере его языческого характера, — потому-то и «поминала» в этих песнях о Рождестве Христове.

Память о главных языческих русских богах все более и более становилась достоянием людей грамотных, «ученых», разбиравшихся с христианской точки зрения в явлениях мира. Иной раз сведения, даваемые книжником о языческих богах, были не менее «учеными», чем сведения о богах античных, и могли взаимозаменяться. Русские боги назывались именами античных богов и наоборот. Так, в одном из постановлений собора 1274 г. значилось: «И се слышахом: в суботу вечер сбираются вкупь мужи и жены и играють и пляшуть бестудно и скверну деють в ноць святого воскресения, яко Д и о н у с о в праздник празднують нечествии едини, вкупе мужи и жены, яко и кони вискають и ржуть и скверну деють».[2] Само собой разумеется, что собравшиеся вместе («вкупь») плясать, петь и играть русские мужчины и женщины меньше всего думали о том, что они совершают праздник античного бога Диониса. Эта интерпретация должна быть оставлена на совести ученого книжника, так же как и сравнение веселящихся мужчин и женщин с «вискающими» и «ржущими» конями.

Язычество как с и с т е м а верований отошло в прошлое. Главные языческие боги (Перун, Волос и т. д.) уже не служат предметом организованного культа. Остались отдельные верования, отдельные обряды, остались разрозненные пережитки. Эти пережитки начинают совмещаться с христианством именно потому, что они не осознаются как враждебные христианству. Лишь ученые книжники признавали эти пережитки за враждебные, несовместимые с христианством.

Вот почему и сам летописец, несмотря на весь свой христианский ригоризм, не прочь определить время описываемых им событий то языческим Корочуном (самый короткий день в году — солнцеповорот, сопровождавшийся языческими обрядами),[3] то языческой Радуницей (время поминовения умер-

[1] M a n s i k k a. Die Religion der Ostslaven. Helsinki, 1922, стр. 115.
[2] Русская историческая библиотека, т. VI. СПб., 1880, стр. 100.
[3] Новгородская I летопись по Синодальному списку под 1143 г.

ших),[1] то языческой Русальной неделей (также праздник поминовения умерших).[2]

Таким образом, «двоеверие» не могло возникнуть сразу после официального принятия христианства Русью. Должно было пройти некоторое время, чтобы острота противопоставления язычества и христианства в известной мере притупилась, чтобы элементы старого язычества перестали в народе осознаваться в полной мере как языческие.

Нет поэтому ничего удивительного в том, что языческий обряд, переставший в народе осознаваться как языческий, вступал в соединение с обрядом христианским — сперва в прямой последовательности: один за другим, а затем и в полном смешении.

В «Уставе» XII в. митрополита Георгия значится: «Аще кто крестить вторую трапезу роду и рожаницам тропарем святыя богородица, и то ясть и пиеть, да будеть проклят».[3] «Первая трапеза» — это конечно христианский обряд поминовения умерших с положенной раздачей кутьи. Вторая трапеза — народный обряд, потерявший свою связь с язычеством, «освященный» пением тропаря богородицы. Название этого обряда «второй трапезой» ясно указывает на то, что он совершался теми же людьми после «первой трапезы» — христианской.

Приблизительно такое же чередование «языческих» обрядов с христианскими видим мы в обрядовой стороне народной свадьбы и во многих других случаях.

Отсюда ясно, что обрядовая поэзия, как п о э з и я в собственном смысле этого слова, получала новый толчок к жизни: в недрах так называемого «д в о е в е р и я» начинала постепенно сама освобождаться от веры, становилась явлением художественного творчества по преимуществу. В ней развивался элемент развлекательный и эстетический. Этот процесс, начавшийся еще в эпоху раннефеодального государства, особенно усилился в период феодальной раздробленности.

Отсюда ясно, что народное творчество смогло развернуться в обрядовой поэзии во всю ширь, приобрело творческие импульсы, становилось явлением х у д о ж е с т в е н н ы м в полном смысле этого слова, только начав постепенно приобретать свободу от религии. Примером перехода языческой обрядовой поэзии в область одного только художественного творчества может служить судьба плачей в XII в.

---

[1] Новгородская IV летопись под 1372 г.
[2] Ипатьевская летопись под 1174, 1177 и 1195 гг.
[3] M a n s i k k a, ук. соч., стр. 247.

О наличии устойчивой образности в плачах свидетельствуют и летописные и житийные данные. «Уже бо солнце наше зайде ны и в обиде всим остахом», — плачут новгородцы в 1178 г., погребая князя Мстислава.[1] В тех же словах плачут владимиро-волынцы в 1288 г. на похоронах князя Владимира Василько-вича.[2] С зашедшим солнцем сравнивал Александра Невского в своем погребальном слове митрополит Кирилл.[3]

Наличие традиционной образности не отменяло, однако, в плачах творческого элемента. Плачи подчеркивали индивидуальные качества умершего. Плачи по князьям включали в себя элементы оценки их государственной деятельности. Перед нами тот же процесс отхода от языческого культа, который мы отмечали в плачах и в предшествующем периоде. Характерную форму плача по Андрее Боголюбском сохранила Ипатьевская летопись под 1175 г. Летописец пишет, что люди так громко плакали, что «вопль далече бе слышати», и приводит самые слова плача: «Уже ли Киеву поеха, господине, в ту церковь, теми Золотыми вороты, их же делать послал бяше той церкви на велицемь дворе на Ярославле, а река: „Хочю создати церковь таку же, ака же ворота си Золота, да будеть память всему отечьству моему".

Из этого отрывка видно, что в плаче оценивалась строительная деятельность Андрея Боголюбского. Форма этого плача была настолько развита, что могла включать в себя своеобразные цитаты — выдержки из прямой речи покойного. Вместе с тем вопросная форма плача, выражающая как бы недоумение пораженных горем плачущих, типичная и для причитаний XIX—XX вв., определилась, очевидно, уже вполне отчетливо и для XII в.

Слава пелась князьям при возвращении из походов, при поставлении князей на стол и в некоторых других случаях. Трудно сказать, насколько это было народным искусством, но что оно в какой-то мере было и народным — сомневаться нельзя.

В самом деле, в 1068 г. восставшие киевляне прогнали князя Изяслава Ярославича из Киева и поставили киевским князем освобожденного из поруба Всеслава Полоцкого. «Повесть временных лет» передает, что восставшие привели его на «княжь двор» и здесь «прославиша и среде двора къняжа».[4]

---

[1] Ипатьевская летопись под 1178 г.
[2] Там же под 1288 г.
[3] Памятники древней письменности. СПб., 1882, стр. 11.
[4] Повесть временных лет, ч. I, стр. 115, под 1068 г.

Так же точно, возможно по собственному почину, народ пел славы князьям, когда последние возвращались из победоносного похода на внешних врагов. Народ, всегда стоящий на страже интересов Родины, мог, конечно, благожелательно оценить подвиги князей-защитников Родины. Не случайно, думается, о пении славы князьям летопись упоминает в XIII в. только тогда, когда эти князья возвращались из победоносных походов на внешних врагов Руси, и никогда не упоминает о пении славы князьям при их возвращении из походов междоусобных.

Так было в 1241 г., когда псковичи встречали Александра Невского при возвращении с Ледового побоища, «поюще песнь и славу государю, великому князю Александру Ярославичу».[1] Так было в 1251 г. при возвращении из победоносного похода на ятвягов Даниила Галицкого и его брата Василька: «И песнь славну пояху има, богу помогшу има, и придоста со славою на землю свою, наследивши путь отца своего великаго Романа. . .».[2]

Содержание одной из таких «слав», сложенных в честь Мстислава Удалого, приводит на латинском языке польский историк XV в. Ян Длугош. Последний говорит, что славу эту в честь Мстислава сложила Русь тотчас же после его победы в 1209 г. над поляками и венграми под Галичем:

> О великий княже и победитель, Мстислав Мстиславич!
> и войска их, посланный богом!
> Пусть перестанут гордиться те, кто мнили,
> победив тебя, себе присвоить победу,
> ибо все они посрамлены и разбиты тобою,
> великолепным и славным господином нашим.[3]

С произведениями народного творчества «Слово» роднит еще и то, что оно не было рассчитано ни для какого узко «делового» употребления. Нет нужды опровергать искусственное и бездоказательное утверждение М. Д. Приселкова, что «Слово» — это агитационное произведение византийской политики на Руси.[4] Не предназначалось «Слово» и для отсылки тем или иным князьям, для какого-нибудь определенного употребления в дипломатической практике или в качестве исторической справки.

---

[1] Житие Александра Невского в псковской редакции.

[2] Ипатьевская летопись под 1251 г.

[3] Цитирую в переводе А. В. Соловьева (Политический кругозор автора «Слова о полку Игореве». Истор. зап., № 25, М.—Л., 1948, стр. 98).

[4] М. Д. Приселков. «Слово о полку Игореве» как исторический источник. Историк-марксист, 1938, № 6.

Автор «Слова» ведет свое изложение от своего собственного лица, а не от лица какого-либо князя, не представительствует интересы того или иного княжества. «Слово» — произведение неофициальное и в этом его глубокое отличие от летописи и от очень многих других произведений русской литературы XI—XII вв.

Зато такую же непосредственность творческой целенаправленности найдем мы в произведениях устной народной словесности, обращенных к слушателям так же, как «Слово» обращено к читателям без какого-либо конкретного, «делового» повода. «Слово» было обращено к общественному мнению в бóльшей мере, чем к тому или иному определенному князю. Да и самые обращения к русским князьям вслед за «золотым словом» Святослава Киевского — не были ли они больше литературным приемом, чем конкретным обращением к конкретным лицам? Ведь обращается же автор к Бояну «соловью старого времени» — лицу, умершему гораздо более полустолетия назад. Обращается же автор к буютуру Всеволоду в момент своего рассказа о битве с половцами — как бы собираясь предостеречь его? Обращается же автор и к Игорю, идущему в поход на половцев, как бы желая остановить его от дальнейшего гибельного углубления в Половецкую степь? Не есть ли, следовательно, и обращение автора «Слова» к русским князьям — обращением наполовину литературным, вроде обращения Ярославны к ветру, Днепру и Солнцу?

Ясно, что литературность «Слова» и его политическая целеустремленность, широта политической оценки современного «Слову» положения Руси только увеличивались от отсутствия узкой «деловой» предназначенности «Слова».

Вместе с тем и языческие элементы, элементы анимизма, претворены в «Слове» в явление художественного порядка.

Когда автор «Слова о полку Игореве» передает беседу Игоря с Донцом, он, конечно, не предполагает, что эта беседа имела место в действительной жизни. Эта беседа — художественное обобщение, она символизирует в широком смысле дружественное отношение русской природы к Игорю. Природа *поэтически*, а отнюдь не реально оживает в «Слове».

Это поэтическое одухотворение природы только *генетически* восходит к первобытному анимизму, но само по себе этим анимизмом не является.

Автор «Слова» только поэтически одухотворяет природу и только поэтически видит в ней живое существо, сочувствующее русским. Нельзя себе представить, чтобы автор «Слова» на самом деле верил в то, что деревья реально оплакивают юношу Ростислава, «съ тугою» приклоняясь до земли, что дева Обида реально

плескалась на синем море у Дона, что печаль действительно «текла» «средь земли Русскыи». Не может подлежать сомнению, что и языческие боги, упоминаемые в «Слове», — это художественные образы, обладающие для автора сильной поэтической окраской, а не реальные культовые понятия. Автор «Слова» христианин, а не язычник. Он не верит в языческих богов, как не верит в реальность разговора Игоря с Донцом.

Языческие боги — художественные образы, поэтические понятия. Автор «Слова» называет ветры «Стрибожьими внуками», говорит о русском народе как о «Дажьбожьем внуке». «Велесовым внуком» он называет Бояна. Перед нами поэтические перифразы. Языческие образы приобрели для автора «Слова» лишь поэтическое значение. Он пользуется этими языческими понятиями наряду с одушевлением природы — рек, деревьев, ветра, солнца. Вернее, языческие боги для автора «Слова» — это часть одушевленной природы. Это одухотворение чисто художественное и отнюдь не культовое.

«Слово о полку Игореве» написано поэтом христианином, не слишком, впрочем, проявившим свое христианство. Языческие же элементы, отчетливо сказывающиеся в «Слове», — это лишь художественные обобщения, без всякой веры в их реальность.

Таким образом, в «Слове», как и в народном творчестве его времени, — налицо отход от язычества; языческие элементы осознаются как элементы чисто поэтические. В этом отношении «Слово о полку Игореве» отражает процесс разложения язычества и перехода его к «двоеверию», о котором мы говорили выше.

Связь «Слова» с произведениями устной народной поэзии яснее всего ощущается в пределах двух жанров, чаще всего упоминаемых в «Слове», — плачей и песенных слав, хотя отнюдь не ограничивается только ими. «Плачи» и «славы» автор «Слова» буквально приводит в своем произведении. Их эмоциональная противоположность дает ему тот обширный диапазон чувств и смен настроений, который так характерен для «Слова» и который сам по себе отделяет его от произведений устной народной словесности, где каждое произведение подчинено, в основном, одному жанру и одному настроению.

«Плачи» автор «Слова» упоминает не менее пяти раз: плач Ярославны, плач жен русских воинов, падших в походе Игоря, плач матери Ростислава. Плачи же имеет в виду автор «Слова» тогда, когда говорит о стонах Киева и Чернигова, и всей Русской земли после похода Игоря.

Дважды приводит автор «Слова» и самые плачи: плач Ярославны и плач русских жен. Многократно он отвлекается от повествования, прибегая к лирическим восклицаниям, столь харак-

терным для плачей: «О, Руская земле! Уже за шеломянемъ еси!»; «То было въ ты рати и въ ты плъкы, а сицей рати не слышано!»; «Что ми шумить, что ми звенить далече рано предъ зорями?»; «А Игорева храбраго плъку не кресити?».

Близко к плачам и «золотое слово» Святослава, если принимать за «золотое слово» только тот текст «Слова», который заключается упоминанием Владимира Глебовича: «Туга и тоска сыну Глѣбову». «Золотое слово» «съ слезами смѣшено», и Святослав говорит его, обращаясь, как и Ярославна, к отсутствующим, — к Игорю и Всеволоду Святославичам.

Автор «Слова» как бы следует мысленно за полком Игоря и мысленно его оплакивает, прерывая свое повествование близкими к плачам лирическими отступлениями. «Дремлетъ въ полѣ Ольгово хороброе гнѣздо. Далече залетѣло! Не было оно обидѣ порождено, ни соколу, ни кречету, ни тебѣ, чрънный воронъ, поганый половчине!».

Связь плачей с лирической песнью особенно сильна в так называемом плаче Ярославны из «Слова о полку Игореве». Автор «Слова» как бы «цитирует» плач Ярославны — приводит его в более или менее большом отрывке или сочиняет его за Ярославну, но в таких формах, которые она действительно могла употребить. В этом плаче особенно отчетливо переключение элементов язычества в чисто поэтический план. Различные исследователи пытались найти в плаче элементы анимизма, элементы заговоров и т. д. На самом деле «одухотворение» природы в плаче Ярославны — чисто поэтическое. Ее обращения к Днепру, к солнцу, к ветру — не более как изъявление ее личных чувств. В старую, подчас, форму плача автор «Слова» вкладывает новое содержание. Плач Ярославны переходит в лирическую песнь. Сам по себе он непререкаемое свидетельство наличия в XII в. сильной лирической струи в народной поэзии.

Плач по воинам Игоря автор воспринимает не только как лирическое произведение, но старается воспроизвести перед воображением читателя и сопровождающее его языческое действо: «За нимъ кликну Карна и Жля, поскочи по Руской земли, смагу людемъ мычючи въ пламянѣ розѣ». Однако не может быть сомнения в том, что автор «Слова» не придает этой картине реального значения. Скачущие по Русской земле Карна и Жля служат автору «Слова» только образами горя. Именно таким обобщением горя-«обиды» служит автору и другая картина, приводимая им перед тем: «Въстала обида въ силахъ Дажьдбожа внука, вступила дѣвою на землю Трояню, въсплескала лебедиными крылы на синѣмъ море у Дону; плещучи, упуди жирня времена».

Не менее активно, чем плачи, участвуют в «Слове» стоящие в нем на противоположном конце сложной шкалы настроений песенные славы. С упоминания о славах, которые пел Боян, «Слово» начинается. Славой Игорю, Всеволоду, Владимиру и дружине «Слово» заключается. Ее поют Святославу немцы и венедици, греки и морова. Слава звенит в Киеве, ее поют девицы на Дунае. Она вьется через море, пробегает пространство от Дуная до Киева.

Отдельные отрывки из «слав» как бы звучат в «Слове»: и там, где автор его говорит о Бояне, и там, где он слагает примерную песнь в честь похода Игоря, и в конце «Слова», где он провозглашает здравицу князьям и дружине. Слова славы то тут, то там слышатся в обращениях автора «Слова» к русским князьям, в диалоге Игоря с Донцом («Княже Игорю, не мало ти величия. . .», «О, Донче! не мало ти величия. . .»). Наконец, они прямо приводятся в его заключительной части: «Солнце свѣтится на небесѣ, — Игорь князь в Руской земли».

Славы, в противоположность плачам, повидимому, и не были связаны с культом, зато они были очень тесно связаны с княжеским бытом, и эта связь их с княжеским бытом постоянно заметна в «Слове». Славу поет князьям Боян, под звон какого-то струнного инструмента (повидимому гуслей); славу поют князьям жители дунайских городов и иноземцы. Славы, повидимому, исполнялись по-разному, но пелись они всегда в определенной обстановке (пир в гриднице, возвращение князя в родной город и т. п.).

Как бы, однако, ни были реальны в княжеском быту пения славы князьям, — в «Слове» реально изображенное пение славы князьям также лишь художественный образ, художественное обобщение. Что бы ни имел в виду автор «Слова», когда говорит «ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю», — поющих ли иноземцев в самой гриднице Святослава или иноземцев, поющих славу в своих землях, — это, конечно, только художественный образ. Разноязычный хор иноземцев в гриднице Святослава также не реален, как и одновременное исполнение слав Святославу в Венеции, в Германии, в Византии и в Чехии. Перед нами художественный образ, которым передается слава Святослава, реющая далеко за пределами Киева.

Так же точно не что иное, как художественный образ пение девиц на Дунае или пение красных готских дев на берегу синего моря. Все это — лишь художественные предположения автора. В них не больше достоверности, чем в воображаемом разговоре Игоря с Донцом. Там также Игорь и Донец величают друг друга.

Если мы вглядимся в эту манеру автора «Слова» приводить воображаемые диалоги, воображаемое пение славы, воображаемые плачи, то для нас станет ясным разительное различие «Слова» как произведения литературного, в первую очередь, от исторического повествования летописи, где все излагаемые факты имели место, совершились, были отобраны летописцем в зависимости от их реального, а не художественного значения.

В данном случае — с плачами и славами — для нас особенно важно и другое. Плачи в реальной жизни народа и славы в княжеском быту имели прежде всего значение обрядовое, хотя уже и не культовое. Их художественная функция была очень сильна, но она стояла все же еще на втором месте. В «Слове» же именно она — художественная функция — стоит на первом месте. Значит, «Слово» не просто следует народной поэзии, не просто заимствует от нее, а выделяет и подчеркивает в ней эстетический момент. Идейно-художественная сторона устной поэзии усилена в «Слове».

Вместе с тем, в «Слове» народная поэзия не просто используется, а как бы «цитируется», она присутствует как таковая; плачи и песни названы, упомянуты, упомянуты поющие (Боян, Ярославна, «девицы на Дунае», готские красные девы и др.). Следовательно, «Слово» вводит читателя в самую атмосферу народной поэзии. Эти народные плачи и славы, в первую очередь, составляют тот мир поэзии, которой живет автор вместе с читателями. Чтобы заставить поэтически жить то или иное событие в сознании читателя, автор «Слова» заставляет на него откликнуться народных исполнителей.

Зачин «Слова», в котором автор делает различные предположения о том, как бы отозвался на событие похода Игоря певец Боян, имеет огромное художественное значение, так как сразу же вводит читателя в обстановку поэтической интерпретации похода Игоря. Затем эти поэтические отклики продолжаются то в пении русских жен, то готских красных дев, то девиц на Дунае, то в образе фантастических реплик Донца и т. д. Этим создается атмосфера поэзии. Этим подчеркивается поэтичность откликов на события Игорева похода. В поэзии XIX—XX вв. эту функцию «поэтизатора» будет выполнять личность самого поэта, его «лирическое я». В XII в. перед нами в значительной мере предстает еще «коллективный поэт», поэт народный. Автор «Слова» как бы объединяет и собирает поэтические отклики на события похода Игоря. Здесь и Боян, и девицы, и жены русских воинов и т. д. Он подчеркивает широкий поэтический отклик в народе на события похода Игоря. Вот почему так часто упоминается в «Слове» о плачах, о пении слав, о древнем певце

Бояне; вот почему так обильно приводятся в «Слове» слова этих песен, плачей и слав.

*

Формулируя различие между ученым сочинением и литературным, Н. Г. Чернышевский писал: «Главная цель ученых сочинений... та, чтобы сообщать точные сведения по какой-нибудь науке, а сущность произведений изящной словесности — в том, что они действуют на воображение и должны возбуждать в читателе благородные понятия и чувства. Другое различие состоит в том, что в ученых сочинениях излагаются события, происходившие на самом деле, и описываются предметы, также на самом деле существующие или существовавшие; а произведения изящной словесности описывают и рассказывают нам в живых примерах, как чувствуют и как поступают люди в различных обстоятельствах, и примеры эти большею частью создаются воображением самого писателя. Коротко можно выразить это различие в следующих словах: ученое сочинение рассказывает, что было или есть, а произведение изящной литературы рассказывает, как всегда или обыкновенно бывает на свете».[1]

Определение Н. Г. Чернышевского вскрывает коренное различие между научным произведением и литературным. Основная особенность литературы — в создании образных обобщений, в выявлении типичного. Но средства художественного обобщения в древней русской литературе были еще очень ограниченными. Древнерусские литературные произведения (летописи, исторические повести, жития и др.) были в основном посвящены историческим, единичным событиям. Действие древнерусских литературных произведений всегда происходило в точно определенной исторической обстановке, или, еще чаще, произведения древнерусской литературы рассказывали непосредственно о самих исторических событиях — только что случившихся или давних. Главные герои древней русской литературы (в пределах до середины XVII в.) — это деятели русской истории (князья Владимир Святославич, Владимир Мономах, Александр Невский, или русские святые — Борис и Глеб, Феодосий и Антоний Печерские и т. д.). Даже жития русских святых по преимуществу историчны. Фантастика, чудеса вводятся в древнерусские произведения только под знаком чего-то исторически верного, реально случившегося. Писатель и читатель были по большей части уверены в том, что все, о чем пишется в житии или в летописи, действительно произошло. Интерес древнерусского читателя был

[1] Н. Г. Чернышевский. Александр Сергеевич Пушкин, его жизнь и сочинения. Сб. «Н. Г. Чернышевский об искусстве», М., 1950, стр. 214.

прикован к истории. Древнерусский читатель не интересовался бы произведением, если бы знал, что сюжет его вымышлен, а герои его никогда не существовали.

Этот историзм древнерусской литературы был соединен в ней с глубоким (хотя и очень своеобразным) патриотизмом. Древнерусская литература в лучших своих произведениях стремилась к разрешению важных насущных задач народной жизни и государственного строительства. Однако, вместе с тем, историзм ограничивал художественное обобщение древнерусского автора. Типизированных обобщенно-вымышленных героев с вымышленными именами древнерусская литература не знает. Художественное обобщение в ней всегда опиралось на конкретные исторические имена, подавалось через описание исторических событий.

Свои художественные обобщения древнерусские авторы строили главным образом на основе конкретных исторических фактов. Расширение средств художественного обобщения происходило в течение нескольких веков. Литература далеко не сразу научилась рассказывать о том «как всегда или обыкновенно бывает на свете», и создавать свои примеры «воображением самого писателя».

«Слово о полку Игореве» не выходит за пределы художественных возможностей своего времени, но эти возможности оно использует в полной мере, до предела. Оно создает обобщение, типичные образы, на основе разнообразного исторического материала. Эти обобщения «Слово о полку Игореве» создает с такой степенью интенсивности, с какой не создавало их ни одно другое литературное произведение XI—XVI вв. С этой точки зрения «Слово о полку Игореве» также является по существу первым настоящим литературным произведением.

Знаменательно, что и в создании своих художественных обобщений автор «Слова о полку Игореве» шел по пути, проложенному устной народной поэзией. Мы уже частично говорили об этом выше.

Сейчас прежде всего отметим, что «Слово о полку Игореве» широко вводит фантастический элемент в характеристику действующих лиц своего повествования. Это по преимуществу относится к лицам, представляющим историческое прошлое Руси: к Бояну и Всеславу Полоцкому. Вымысел играет существенную роль в создании этих образов. При этом автор и не выдает своего вымысла за действительность. Вымысел опять-таки носит чисто литературный характер. Описывая литературную манеру Бояна, растекавшегося мыслью по древу, серым волком по земле и сизым орлом под облаками, автор «Слова» вовсе не подозревает в Бояне действительной способности перевоплощаться в раз-

личных зверей, оборотничества. Так же точно он не считает, что пальцы Бояна и в самом деле превращались в соколов, а струны в лебедей.

Литературность вымысла как средства для создания образа выступает в полной мере и в ряде других случаев. Гиперболически описывая Ярослава Осмомысла, автор «Слова» вовсе не считает, что Ярослав и в самом деле метал тяжести через облака, стрелял с отнего золотого стола салтанов за землями и т. д. Это — образы, художественная условность которых была, конечно, понятна и автору, и читателю. Так же точно художественно условны гиперболы в обрисовке буй-тура Всеволода, Владимира Святославича, Всеволода Суздальского и др. Думаю, что «оборотничество» Всеслава Полоцкого — такая же литературная условность, необходимая для создания яркого образа князя вотчинника, как и «оборотничество» Бояна, необходимое для создания художественного образа искусного и вдохновенного певца-поэта. Всеслав сравнивается с лютым зверем, он волком рыскает ночью, перерыскивает путь великому Хорсу и т. д. Но все это не значит, что автор «Слова» действительно считал Всеслава волхвом, что он верил в его «оборотничество». Автор «Слова» также мало верил в способность Всеслава перевоплотиться в волка, как и в языческого бога Хорса, которому Всеслав якобы перерыскивал при этом путь, или в способность Бояна носиться серым волком и летать сизым орлом.

Автор «Слова» постоянно сравнивает героев своего произведения со зверями, но это не более как способ характеристики. Всеволод — «буй-тур», Игорь и его сыновья — соколы, Боян — сизый орел, серый волк, Всеслав Полоцкий — волк и «лютый зверь» (если только волк и «лютый зверь» не одно и то же) и т. д. Все эти сравнения определяют индивидуальные качества героев повествования.

Необходимо обратить внимание на то, что этот способ характеристики действующих лиц типичен именно для устного народного творчества. Сравнение людей с соколами, волками, турами, орлами — несомненно носит народно-поэтический характер. Особенно ясно определяется народно-поэтический характер образа Всеслава Полоцкого. Всеслав Полоцкий издавна вошел в народное сознание как князь кудесник. Так он запечатлен в «Повести временных лет» [1] и так он отразился в былинном образе Волха

[1] «Всеслав... седе на столе..., его же роди мати от вълхвованья. Матери бо родивши его, бысть ему язвено на главе его, рекоша бо волсви матери его: „Се язвено навяжи на нь, да носить ѐ до живота своего», еже носить Всеслав и до сего дне на собе, сего ради немилостив есть на кровьпролитье“» (Повесть временных лет, ч. I, стр. 104, под 1044 г.).

Всеславьевича.[1] Однако между народно-поэтическим образом Волха Всеслава и образом его же в «Слове о полку Игореве» есть существенная разница. В былине Волх Всеславьевич действительно оборотень, способный превращаться в действительного волка. В «Слове» — это только художественная условность Следовательно, и в данном случае «Слово» пользуется для создания художественного обобщения народными верованиями, не веря им, придавая им только поэтическое значение, к чему, в конечном счете, шли и сами народные верования, как это мы указали выше.

Еще один своеобразный прием художественного обобщения может быть отмечен в «Слове». Автору «Слова» надо было дать обобщение ольговичей и всеславичей, как двух групп князей крамольников. Ограниченный в средствах художественного обобщения законами художественного творчества эпохи развитого феодализма, — творчества, замкнутого в кругу исторических фактов весьма узкого ряда, автор «Слова» прибег к изображению родоначальников тех князей, обобщающую характеристику которых он собирался дать. Вот почему в «Слове» заняли такое большое место характеристики Олега «Гориславича» — родоначальника ольговичей и Всеслава Полоцкого — родоначальника полоцких всеславичей. Нельзя не видеть, что такая характеристика родоначальников князей, предложенная в качестве обобщающей характеристики их потомков, лежит в связи с очень сильным в русской политической жизни генеалогическим принципом. «Внук» того или иного князя считался естественным продолжателем его политики, наследником его притязаний, его «дедины». В русской междукняжеской политике боролись представители того или иного «гнезда», «племени»: Всеславичи полоцкие с Ярославичами, Ольговичи с Мономаховичами.

Новгородцы нередко приглашали к себе того или иного князя потому, что он был потомком любезного их сердцу Мстислава Удалого или Мономаха. Они соглашались принять сына по отцу, внука по деду. Так было и в других городах. Нет ничего удиви-

---

[1] «А и будет Волх десяти годов,
Втапоры поучился Волх ко премудростям:
А и первой мудрости учился
Обвертоваться ясным соколом;
Ко другой-то мудрости учился он, Волх,
Обвертоваться серым волком;
Ко третьей-то мудрости учился Волх
Обертоваться гнедым туром — золотые рога».

(К. Данилов. Древние российские стихотворения. М., 1938, стр. 33).

тельного и в том, что «Слово» характеризует внуков по деду. Образ множества внуков воплощался в одном деде. Это был прием простой и понятный для современников, но вызывавший недоумение исследователей «Слова» XIX и XX вв., предполагавших в характеристике Всеслава Полоцкого случайную вставку «песни о Всеславе», а в характеристике Олега «Гориславича» обусловленность ее какими-то особыми симпатиями автора «Слова» к черниговским «ольговичам».

В обобщающей характеристике «Ольговичей» через Олега «Гориславича» и в обобщающей характеристике полоцких «Всеславичей» через Всеслава Полоцкого автор «Слова» претворил в художественный прием, в средство художественного обобщения принцип, развившийся еще в политической жизни.

Факт этот очень характерен для «Слова о полку Игореве» как для произведения, стоящего в начале литературного развития Руси. В художественных образах еще чувствует связь с терминами, с символикой феодальной, военной и пр. Художественное обобщение еще только рождалось и в нем еще чувствуется связь с обобщениями не художественного порядка. Художественное творчество выделилось среди прочих видов творчества в устной поэзии раньше, чем в письменности, и в этом смысле устная поэзия в целом стояла более высоко, чем письменность. Однако перенесенная в письменность, она сразу дала такой памятник исключительной эстетической ценности, как «Слово».

Итак, «Слово о полку Игореве» написано в своеобразной поэтической системе, очень многим обязанной народной поэзии. Это не система народной поэзии, но система, как бы возникшая на почве народной поэзии. «Слово» написано не так, как составлены народные плачи или славы (хвалебные, величальные песни). Уже одно сочетание этих двух глубоко различных по обстоятельствам употребления жанров совершенно невозможно в народной поэзии. Однако «Слово» широко использует плачи и славы, цитирует, упоминает их для создания соответствующих лирических настроений. Оно, следовательно, использует народную поэзию, само не будучи произведением народной поэзии, и достигает через это использование самых вершин художественного творчества.

«Слово о полку Игореве» принадлежит уже вполне зрелой литературе. Это произведение законченно художественное и в его целом, и в частях.

Повидимому, в XII в. специфика литературного, художественного творчества проявлялась уже достаточно отчетливо и «Слово» использовало поэтическую систему, созданную его несохранившимися предшественниками.

Стремление опереться на поэтическую систему народной поэзии говорит, казалось бы, за то, что эта собственная система «Слова» была в письменности еще очень молодой, только что созданной, если не созданной самим автором «Слова». Зависимость от народной поэзии так сильна, что она как бы исключает возможность длительного и развитого существования системы, представленной «Словом» в предшествующей письменности. Однако в «Слове» есть ряд признаков, говорящих о том, что автор «Слова» считался с книжной традицией, вводил книжные и, вместе с тем, поэтические образы, что он имел предшественников поэтов и, притом, поэтов книжных, а не народных. В «Слове» имеется целый ряд искусственных книжных выражений. Эти выражения явно не созданы автором «Слова», а принадлежат литературной традиции. Назовем хотя бы такие: «растѣкашется мыслию по древу», «скача, славию, по мыслену древу», «истягну умь крѣпостию своею», «свивая славы оба пола сего времени, рища въ тропу Трояню», «спалъ князю умь похоти» и некоторые другие. Для части этих выражений в исследовательской литературе подысканы параллели из других книжных произведений; для части не подысканы, но книжное их происхождение не может вызывать сомнений.

«Слово о полку Игореве» отчетливо показывает, какую значительную роль играла устная народная поэзия в формировании литературы. Не только отдельные элементы народной поэзии переносятся в «Слово» — переносится в «Слово» самая атмосфера народной поэзии: «Слово» как бы намеренно насыщено многочисленными упоминаниями плачей и пений слав, чем создается лиричность овевающего «Слово» настроения.

Наконец, созданием жанра целиком литературного, художественного русская литература прежде всего обязана народной поэзии, где художественное слово раньше, чем в письменности определилось как художественное, в первую очередь.

Вместе с тем, «Слово» не просто связано с народной поэзией — оно связано с народной поэзией, стоящей уже на высоком уровне развития. Народная поэзия развивалась, двигалась вперед, как и литература, и увлекала на первых порах литературу вперед именно этим своим движением, причем увлекала так, что «Слово» и само, как это мы видели, кое в чем опережало народную поэзию.

*

Как определить: было ли «Слово» первым произведением в том поэтическом роде, в котором оно написано, или оно имело за собой уже какую-то давнюю традицию? Время ли не сохра-

нило нам его предшественников или их не было и вовсе? Этот вопрос очень существен для определения истинного положения «Слова» в процессе становления русской литературы.

К сожалению, мы очень мало можем сказать о самом жанре «Слова». От времени, предшествующего «Слову», до нас не дошло ни одного произведения, которое хотя бы отчасти напоминало «Слово» по своему характеру. Мы можем найти отдельные аналогии «Слову» в деталях, в отдельных приемах ораторской[1] или поэтической речи, но не в целом. Только после «Слова» мы найдем в древней русской литературе несколько произведений, в которых встретимся с тем же сочетанием плача и славы, с тем же дружинным духом, с тем же воинским патриотизмом, которые позволяют объединить их вместе с «Словом» в единый жанр и даже связать этот жанр со светской, княжеско-дружинной средой, где только он и мог возникнуть и развиваться. По-видимому, этот жанр существовал уже и до создания «Слова».

Мы имеем в виду следующие три произведения: «Похвалу Роману Мстиславичу Галицкому», читающуюся в Ипатьевской летописи под 1201 г., «Слово о погибели Русской земли» и «Похвалу роду рязанских князей», дошедшую до нас в составе повестей о Николе Заразском. Все эти три произведения обращены к прошлому, что составляет в них основу для сочетания плача и похвалы. Каждое из них сочетает книжное начало с духом народной поэзии плачей и слав. Каждое из них тесно связано с дружинной средой и дружинным духом воинской чести.

«Похвала Роману Мстиславичу» — это и плач по нем. Это одновременно плач по былому могуществу Русской земли и слава ей. В текст этой «жалости и похвалы» введен краткий рассказ о траве евшан и половецком хане Отроке. Она посвящена Роману и одновременно Владимиру Мономаху.

Однако «Похвала Роману» и «Слово» имеют и существенные различия. Эти различия не жанрового характера. Они касаются лишь самой авторской манеры. Так, например, автор «Похвалы Роману» сравнивает его со львом и с крокодилом («устремил бо ся бяше на поганыя яко и лев, сердит же бысть яко и рысь, и губяше яко и коркодил, и прехожаше землю их яко и орел, храбор бо бе яко и тур»).

Автор «Слова о полку Игореве» постоянно прибегает к образам животного мира, но никогда не вводит в свою поэтическую ткань зверей не русских. Он реально представляет себе все то, о чем рассказывает и с чем сравнивает. Он прибегает только

[1] И. П. Еремин. «Слово о полку Игореве» как памятник политического красноречия Киевской Руси. Сб. «Слово о полку Игореве», М.—Л., 1950.

к образам русской природы, избегает всяких сравнений, не прочувствованных им самим и не ясных для читателя. «Слово о погибели Русской земли» также — плач и слава, «жалость и похвала». Оно полно патриотического и одновременно поэтического раздумья над былой славой и могуществом Русской земли.

В сущности, и в «Похвале Роману» тема былого могущества Русской земли — центральная. Здесь в «Слове о погибели» эта тема не заслонена никакой другой. Как и «Похвала Роману», она насыщена воздухом широких просторов Родины. В «Похвале Роману» — это описание широких границ Русской земли, подвластной Мономаху. Здесь, в «Слове о погибели» это также, еще более детальное описание границ Руси, подвластной тому же Мономаху. «Отселе до угор и до ляхов, до чяхов, от чяхов до ятвязи, и от ятвязи до литвы, до немець; до корелы, до Устьюга, где бяху тамо тоимицы погании, и за дышючим морем, от моря до болгарь, от болгарь до буртас, от буртас до чермис, от чермис до мордви, то все покорено было богом христьяньскому языку поганьския страны великому князю Всеволоду, отцю его Юрью князю киевъскому, деду его Володимеру и Манамаху, которым то половицы дети своя ношаху в колыбели, а литва из болота на свет на выникиваху, а угры твердяху каменые городы железными вороты, абы на них великий Володимер тамо не вьехал, а немцы радовахуся, далече будуче за синим морем; буртаси, черемиси, вяда и моръдва бортничаху на князя Володимера, и иже Рамануил царьгородский опас имея, поне и великия дары посылаше к нему, абы под ним великий князь Володимер Царягород не взял».[1]

Не только поэтическая манера сливать похвалу и плач, не только характер темы сближает похвалу Роману со «Словом о погибели», но и самое политическое мировоззрение, одинаковая оценка прошлого Русской земли.

В «Слове о погибели» нет только того элемента рассказа, который есть в «Похвале Роману» и который сближает ее со «Словом о полку Игореве».

Наконец, тем же грустным воспоминанием о былом могуществе Родины, тою же похвалой и «жалостью» овеяно и третье произведение этого вида — «Похвала роду рязанских князей». Эта последняя восхваляет славные качества рода рязанских князей, их княжеские добродетели, но за этой похвалой старым рязанским князьям ощутимо стоит образ былого могущества Русской земли.

[1] В. И. Малышев. Житие Александра Невского. Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, т. V, М.—Л., 1947, стр. 188.

О Русской земле, о ее чести и могуществе думает автор «Похвалы», когда говорит о том, что рязанские князья были «к приезжим приветливы», «к посолником величавы», «ратным во бранях страшныи являшеся, многие враги востающи на них побежаше, и во всех странах славно имя имяше».[1] В этих и во многих других местах «Похвалы» рязанские князья рассматриваются как представители Русской земли, и именно ее чести, славе, силе и независимости и воздает похвалу автор. Настроение скорби о былой независимости родины пронизывает собой всю «Похвалу роду рязанских князей».

Следовательно, и здесь мы вновь встречаем то же сочетание славы и плача, которое мы отметили и в «Слове о полку Игореве». Это четвертое (включая и «Слово о полку Игореве») сочетание плача и славы окончательно убеждает нас в том, что оно отнюдь не случайно и в «Слове о полку Игореве», что оно было обычным в письменности, что это признак жанра, каждый раз патриотически приподнятого и насыщенного дружинной идеологией.

Следовательно, «Слово о полку Игореве» не одиноко в своем сочетании плача и славы. Оно, во всяком случае, имеет своих преемников и, очевидно, имело предшественников.

И вместе с тем, на фоне «похвалы Роману», «Похвалы роду рязанских князей», «Слова о погибели» — «Слово о полку Игореве» глубоко оригинально. От всех трех «Слово о полку Игореве» отличается глубиной идейного содержания. «Слово о полку Игореве» насыщено дружинными понятиями, но основная идея «Слова» не дружинная. Автор «Слова о полку Игореве» сумел подняться над ограниченностью дружинной идеологии, сумел стать выразителем народных взглядов, народного отношения к прошлому и настоящему Родины. Вместе с тем, и сочетание плача со славой во всех трех произведениях XIII в. несколько иное, чем в «Слове о полку Игореве». «Похвала Роману», «Похвала роду рязанских князей», «Слово о погибели» — это произведения, в основном, о славном прошлом Родины, — это славы ушедшему и плачи о настоящем. «Слово о полку Игореве» — это плач о настоящем и до известной степени слава будущему Руси.

В самом деле, вглядимся внимательнее в то, как распределяются в «Слове о полку Игореве» элементы плача и славы. В нем есть отдельные места, где сочетание плача и славы как раз такое же, как и во всех трех разбираемых нами произведениях

---

[1] Повести о Николе Заразском, Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, т. VII, 1949, стр. 300—301.

XIII в. Прежде всего мы должны отметить то место, где автор «Слова» говорит о былом единстве и могуществе Руси при Владимире I Святославиче: «О, стонати Руской земли, помянувше пръвую годину и пръвых князей! Того стараго Владимира нельзѣ бѣ пригвоздити къ горамъ киевьскымь: сего бо нынѣ сташа стязи Рюриковы, а друзии Давидовы, нъ разно ся имъ хоботы пашутъ».

Другое место этого типа касается прошлых успехов в борьбе со степью Святослава Киевского: «Тии бо два храбрая Святъславлича, Игорь и Всеволодъ уже лжу убудиста, которую ту бяше успилъ отецъ ихъ Святъславь грозный великый Киевский грозою: бяшеть притрепалъ своими сильными плъкы и харалужными мечи: наступи на землю Половецкую, притопта хлъми и яругы, взмути рѣкы и озеры, иссуши потокы и болота. А погаиаго Кобяка изъ луку моря отъ желѣзныхъ великыхъ плъковъ половецкыхъ яко вихръ, выторже: и падеся Кобякъ въ градѣ Киевѣ, въ гридницѣ Святъславлии. Ту нѣмци и венедици, ту греци и морава поютъ славу Святъславлю, кають князя Игоря. . .».

В этом месте «Слова» отчетливо выступает та же слава прошлому могуществу и «каяние» бессилия настоящего, которые именно в этом сочетании типичны, как основная идейная тональность для других произведений этого типа эпохи феодальной раздробленности: для «Похвалы Роману», для «Слова о погибели Русской земли» и для «Похвалы роду рязанских князей». Однако в «Слове» оба эти места и некоторые еще другие сходные имеют подчиненное значение. Основная тональность сочетания славы и плача в «Слове о полку Игореве» иная. В «Слове» «жалость» автора обращена к походу Игоря и к несчастным его последствиям для всей Русской земли. Это, конечно, ее настоящее. Слава же отчасти обращена к прошлому Русской земли — ко времени ее былого единства и могущества при Владимире «старом», однако в основном автор «Слова» славит князей современников: Святослава киевского грозного, Всеволода Суздальского, Ярослава Осмомысла, Рюрика и Давыда, Романа и Мстислава. Славой Игорю «Слово» заканчивается. За что славит автор «Слова» всех этих князей? Он славит их за то, что они м о г у т совершить, если только захотят. Он воздает похвалу их могуществу, которое они могут употребить для лучшего будущего Русской земли. В этом смысле мы и говорим о том, что автор «Слова», оплакивая настоящее, славит б у д у щ е е единой и мощной Руси.

«Великый княже Всеволоде! . . Ты бо м о ж е ш и Волгу веслы раскропити, а Донъ шеломы выльяти! А ж е б ы т ы б ы л ъ, то

была бы чага по ногатѣ, а кощей по резанѣ. Ты бо можеши посуху живыми шереширы стрѣляти, удалыми сыны Глѣбовы». Такова похвала Всеволоду, таковы похвалы и другим русским князьям.

В отличие от всех трех привлекаемых нами для сравнения произведений XIII в. «Слово о полку Игореве» хотя и скорбно в отдельных частях, но в сущности глубоко оптимистично. Оптимистично оно и заканчивается.

Громадное различие между «Словом о полку Игореве» и другими тремя произведениями состоит и в самой силе художественного воздействия на читателя, в самых размерах этих произведений и т. д. Однако при всем глубоком различии остается и нечто общее: они близки друг другу по жанру, по поэтическому настроению, по сочетанию эпического и лирического, по патриотичности тематики, обращенной ко всей Русской земле. Наконец, что самое главное, все четыре произведения объединяет то, что они являются по-настоящему литературными произведениями. Это произведения художественного творчества в собственном смысле этого слова. Их политическая, идейная сторона выражена прежде всего и больше всего в художественной форме. Они описывают и рассказывают нам положение Руси «в живых примерах» и «примеры эти большею частью создаются воображением самого писателя» в точном художественном соответствии с действительностью. Перед нами очень важный этап в становлении русской литературы.

КЛАССОВЫЙ ХАРАКТЕР РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XI—НАЧАЛА XIII вв. И ПРОБЛЕМА ЕЕ НАРОДНОСТИ

Рассмотрев ряд вопросов, связанных с проблемой возникновения русской литературы, и познакомившись с конкретным материалом ее истоков, возникновения и развития, мы вправе подойти к наиболее сложному вопросу нашей темы — к вопросу о классовом характере и народности русской литературы интересующего нас периода.

Учение И. В. Сталина о базисе и надстройке, указание на то, что феодальный строй общества имеет свою надстройку, облегчает нам изучение классовой сущности древнерусской литературы. Развитие феодального строя общества определяется, в основном, борьбой двух классов-антагонистов феодального общества: господствующего класса землевладельцев — феодалов и эксплоатируемого большинства — класса земледельцев. «Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя».[1]

Литература раннефеодального периода и периода феодальной раздробленности отражала в первую очередь идеологию господствующего класса, но и не только отражала: она явилась величайшей активной силой, способствовавшей укреплению феодального строя. Литература носила классовый характер и, в основном, служила интересам господствующего класса. Однако вопрос о классовом характере литературы феодализма не следует понимать упрощенно. Антагонистическое общество расколото на враждебные классы, но это не значит, что эти враждебные классы не связаны друг с другом в одном обществе. Об этом прямо говорит И. В. Сталин в своих работах по языкознанию: «Пока существует капитализм, буржуа и пролетарии будут связаны между собой всеми нитями экономики, как части единого капиталистического общества. Буржуа не могут жить и обогащаться, не имея,

[1] История ВКП(б). Краткий курс. 1946, стр. 120.

в своем распоряжении наемных рабочих, пролетарии не могут продолжать свое существование, не нанимаясь к капиталистам. Прекращение всяких экономических связей между ними означает прекращение всякого производства, прекращение же всякого производства ведет к гибели общества, к гибели самих классов. Понятно что ни один класс не захочет подвергнуть себя уничтожению. Поэтому классовая борьба, какая бы она ни была острая, не может привести к распаду общества».[1]

Эти указания И. В. Сталина имеют очень большое значение для изучения литературы. Неверно было бы думать, что литература создается только представителями господствующих классов. В создании литературы принимает участие и трудовой народ.

Литература, в основном, отвечала интересам господствующего класса. В связи с этим полезно напомнить слова Ф. Энгельса о том, что «мысли господствующего класса суть господствующие мысли».[2] Было бы неправильно понимать слова Энгельса о «господстве» слишком расширенно. Господство не есть поглощение. Господствующий класс господствует, но не уничтожает трудовой, эксплоатируемый класс, не уничтожает и его идеологию, хотя и стремится к ее уничтожению. Господствующий класс только господствует, но истинным создателем материальных и духовных ценностей в конечном счете выступает все же трудовой народ. Учение Ленина о двух культурах, развитое И. В. Сталиным в его работах по языкознанию, исключает вопрос о «поглощении».

В феодальном периоде церковная идеология господствовала, однако власть церкви не была абсолютной. Сама борьба церкви с ересями говорит об ограниченности ее господства. Художественное творчество в основном развивалось в о п р е к и господствующей церковной идеологии.

Литература эпохи феодализма, в основном, обслуживает господствующий класс феодального общества. Однако изменения в этой литературе господствующего класса происходили очень часто под влиянием тех новых задач, которые ставились ей классовой борьбой трудового народа против феодалов.

Крестьянство в XI—XIII вв. и позднее, вплоть до XVII в., не создало собственной письменной литературы. Только немногие отдельные произведения отразили идеи трудовых масс населения Руси и ответили их же интересам — как, например, «Слово

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 19.

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс. Немецкая идеология. Соч., т. IV, стр. 36.

о полку Игореве». Но, отразив интересы трудового народа, «Слово» не было созданием крестьянина или ремесленника. Крестьянской литературы как таковой не было. Это имело свои причины, лежащие прежде всего в темноте крестьянства и его неорганизованности как класса. Анализ классовой борьбы крестьянства при феодальном строе приводит к выводу, что в период феодализма крестьянские войны не могут привести к победе. Эта особенность крестьянских движений при феодализме вскрыта в работах В. И. Ленина и И. В. Сталина. И. В. Сталин, анализируя причины неудач восстаний Болотникова, Разина и Пугачева, пишет, что «отдельные крестьянские восстания... ни к чему серьезному не могут привести», что эти движения есть «отражение стихийного возмущения угнетенных классов, стихийного восстания крестьянства против феодального гнета».[1]

В. И. Ленин пишет: «Когда было крепостное право, — вся масса крестьян боролась со своими угнетателями, с классом помещиков, которых охраняло, защищало и поддерживало царское правительство. Крестьяне не могли объединиться, крестьяне были тогда совсем задавлены темнотой, у крестьян не было помощников и братьев среди городских рабочих, но крестьяне все же боролись, как умели и как могли».[2]

Не создав собственной письменной литературы, отражающей их интересы, крестьяне тем не менее создали при феодализме свою великую устную литературу. Здесь, в устном народном творчестве, проявления идеологии господствующих классов были значительно реже, чем проявления крестьянской идеологии в литературе письменной.

Вместе с тем, не заняв в письменной литературе господствующих позиций, трудовой народ постоянно воздействовал на эту письменную литературу, очень часто определяя этим своим воздействием ее движение вперед по пути исторического прогресса.

Мы не можем относить к устному народному творчеству дружинные песни, отразившиеся в составе «Повести временных лет», семейные предания какого-нибудь знатного рода,[3] монастырские легенды [4] и т. д. Устное творчество феодалов не следует смешивать с устным творчеством народа, с фольклором. Однако и подлинно народное устное творчество заключало в себе противоречивые элементы, в нем были произведения прогрессивные и

---

[1] И. В. Сталин. Беседа с немецким писателем Эмилем Людвигом. Партиздат, 1937, стр. 24.

[2] В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 384.

[3] См. об этом в статье: Д. Лихачев. Устные летописи в составе «Повести временных лет». Исторические записки, 1945, № 18.

[4] См. выше, стр. 143.

реакционные, появление которых было обусловлено некоторой ограниченностью крестьянской идеологии. Однако в целом устное творчество народа заключало в себе здоровые силы развития, было в основном прогрессивно, оказывало исключительно плодотворное влияние на литературу, обогащая ее идеями, средствами художественной выразительности, элементами реалистичности, элементами стихийного материализма и внося в литературу сильную национальную струю.

Борьба народного начала (обогащавшего литературу жизненным опытом, элементами реализма, фольклора) с господством малоподвижной феодальной церковной идеологии, в значительной мере связанной с традициями переводной литературы, на протяжении нескольких веков составляет затем самую суть историко-литературного процесса, являясь по существу частью общей борьбы классов.

Литература феодализма, в основном, отвечала интересам господствующего класса, но, занимая в литературе господствующие позиции, феодалы, как и в других областях творчества, не могли обойтись без народа. Творчество трудового народа разными путями сказывалось в литературе.

В каких формах выражалось воздействие трудовых масс населения на литературу письменную? Мы уже отметили одну такую форму воздействия: под влиянием борьбы трудящихся масс с господствующим классом последний вынужден усложнять и усиливать средства идеологического воздействия на массы, в том числе и средства литературы. Изменения этого «ответного» характера могли быть и прогрессивными и реакционными. Господствующий класс, в зависимости от политических обстоятельств, мог итти на уступки трудящимся массам, и тогда, в некоторых случаях, изменения в литературе могли носить прогрессивный характер. Так было, например, отчасти с политической и литературной деятельностью Владимира Мономаха.

Владимир Мономах был первым сильным князем на Руси, вступившим в союз с «революционными» элементами города и деревни для восстановления единства Руси. В его «Поучении» не случаен призыв «привечать» «гостей», т. е. купцов,[1] не случайны и меры к смягчению феодальной эксплоатации в его «Уставе о закупах».[2] Призванный на киевский стол в 1113 г. «киянами», Владимир Мономах вслед за тем во всей своей политической и литературной деятельности стремился к проведению по-

[1] Повесть временных лет, ч. I, стр. 158, под 1096 г.

[2] М. Н. Тихомиров. Исследование о Русской Правде. М.—Л., 1941, стр. 208 и сл. — Б. Д. Греков. Киевская Русь. М., 1944, стр. 497.

литики объединения. Пафосом объединения было проникнуто и его «Поучение к детям», и его письмо к Олегу, и выполненная при нем «Повесть временных лет».

Другой вид воздействия трудящихся масс на литературу письменную заключался в том, что господствующий класс использовал в своих целях творческие достижения трудящихся. Так было в ряде случаев, когда в литературу проникали элементы устного творчества трудового народа. Писатели — представители господствующего класса — стремились переосмыслить эти элементы устного творчества, но не всегда последовательно могли это сделать. Из устной поэзии в литературу проникало и ее содержание. Это особенно сказывалось в национально-патриотических темах. Здесь представители верхов феодального общества были иногда заинтересованы в патриотическом подъеме трудового народа, не могли без народа вести борьбу с внешним врагом, объединить государство, свергать чужеземное иго. В таких случаях в произведениях литературы сохранялось и самое содержание народной поэзии, ее патриотический подъем. «Повесть временных лет» дает очень яркий пример того, как господствующий класс брал на вооружение историческое устное творчество народа, используя его в произведении, обслуживавшем интересы феодалов.

Быстрому развитию летописания способствовало то обстоятельство, что в самом устном творчестве к X—XI вв. усилились элементы историчности. Интерес к истории отразился в топонимических легендах, в легендах о происхождении племен, городов и династий, в дружинных песнях о походах на Царьград и в родовых преданиях. Возникает былинный эпос и возникает летописание, на первых этапах своего развития широко пользующееся историческими данными фольклора.

Еще один путь воздействия трудящихся масс на литературу открывался там, где ослабевала идеологическая цензура господствующего класса. В письменную литературу проникали идеи, чуждые господствующим классам, проникали элементы народного творчества, возникали целые произведения вопреки интересам и вопреки воле феодалов. Так было, например, в новгородской летописи, ведшейся по инициативе господствующего класса, но в которой непосредственные выполнители заказов знати брали иногда сторону меньших людей.

В летопись проникают поговорки и загадки, проникает сюжет близкого к былинам народного предания о юноше-кожемяке, победившем печенежского богатыря (см. выше, стр. 55), с основной идеей превосходства мирного труда над профессиональным военным, превосходства простого ремесленника над дружинни-

ками князя. В летопись проникают обращения киевлян к Владимиру Мономаху с призывом: «постеречи земли Русские». В «Слове о полку Игореве» отражаются прогрессивные идеи, — идеи, соответствовавшие интересам народа. Широко проникают в письменность художественные особенности устного народного творчества. Эти особенности не всегда заметны, но исподволь, понемногу они вносят в литературу элементы реалистичности, разрушая устоявшиеся трафареты церковной письменности. Случаи такого проникновения народного творчества, народной идеологии в письменную литературу были далеко не редкими.

Наконец, как это мы отметим еще раз ниже, во внутриклассовой борьбе великокняжеская власть или нарождающееся дворянство (княжеские «милостники», приближенные, мелкое служилое боярство и т. д.) нередко использовали ярость народных масс против феодальной знати и прибегали в пропаганде своих взглядов к народному творчеству. «Милостник» Даниил Заточник в своем «Молении» к князю пользуется приемами народного балагурства, пользуется поговорками и пословицами. Впоследствии, в XVI в., «защитниками» народных интересов, — интересов крестьянства, выступят дворянские писатели — Иван Пересветов и Ермолай Ераэм.

Если мы суммируем все случаи воздействия трудового народа на литературу письменную, то убедимся в том, что движение литературы вперед, на путях ее прогрессивного развития, осуществлялось в конечном счете под влиянием этого воздействия. Это воздействие, однако, выступает в очень сложных формах, часто трудно определимо, используется представителями господствующего класса в своих классовых интересах, но воздействие это было в основном стихийным.

Господствующий класс сохранял в литературе господствующие позиции, но в ряде случаев народ, в конечном счете, давал культуре движение вперед, вносил элементы прогресса. Господствующий класс подчинял этот прилив творческих сил своей идеологии, вводил течение живых творческих сил в свое русло, и почти во всех отдельных случаях это ему удавалось. Идеи господствующего класса оставались господствующими идеями, однако течение постепенно размывало и изменяло русло. Отдельные произведения вырывались из этого русла, противопоставляя идеологии господствующего класса идеологию трудового русского народа. Мы не знаем, много ли было этих произведений, так как господствующий класс феодалов не только препятствовал их появлению, но и уничтожал их тогда, когда они возникали. Произведения, отражавшие народную идеологию, встречали препятствия к своему возникновению, а возникнув, уничтожались.

Почему же господствующие классы вынуждены были все же опираться на отдельные элементы народной культуры? Ответ на этот вопрос будет заключаться не только в том, что заказчикам для выполнения своих заказов трудно обойтись без исполнителей, и не только в том, что материальную базу для культуры создавал народ. Контроль феодалов мог бы свести до минимума широкое проникновение народных начал в культуру верхов феодального общества. Дело не в этом. Господствующие классы вынуждены были опираться на трудовые народные массы, так как без их участия не могло быть создано и самое Русское государство. Трудовой народ Руси и участвовал в создании летописи, русской истории, отчасти даже и идеологии. Он давал материал для этой истории как хранитель преданий, легенд, исторических песен. Он участвовал в создании патриотической концепции русской истории. В своем патриотизме господствующие феодальные верхи учитывали патриотизм общенародный, хотя патриотизм трудового народа и патриотизм феодалов были далеко неоднородными.[1]

Прослеживая развитие элементов реализма в литературе, мы можем установить, что эти элементы реализма определяются наиболее резко в те эпохи, когда трудящиеся массы действуют наиболее активно. Под влиянием народных масс, их идеологии, их борьбы складывается развитие реалистических элементов. Вместе с тем, и народное, национальное лицо литературы определялось главным образом живою связью письменных произведений с произведениями устного народного творчества. М. Горький утверждал: «Когда история культуры будет написана марксистами, — мы убедимся, что роль буржуазии в процессах культурного творчества сильно преувеличена, а в области литературы особенно сильно. . .».[2] Это утверждение М. Горького касается не только роли буржуазии, но и роли класса феодалов — применительно к русской литературе XI—XVII вв.

Значение народного творчества в формировании литературы в известной мере осознавалось уже некоторыми представителями старой буржуазной науки. Так, например, Ф. И. Буслаев писал: «. . . обыкновенно отказывают народу в его содействии к развитию собственно литературных идей, потому что привыкли думать, что книжное учение в древней Руси и процветание литературы в эпоху позднейшую есть область совершенно чуждая общей жизни народных масс, есть частное дело немногих, сосредо-

[1] См. ниже, стр. 221.

[2] М. Горький. Доклад на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. Сб. «Литературно-критические статьи», стр. 635.

точившихся в исключительной, им одним доступной сфере. На долю русского народа обыкновенно предоставляют только безыскусственную словесность, его песни и сказки, загадки и пословицы, а книжное ученье полагают привилегиею людей избранных, которые сообщали и сообщают неграмотной братии, от своего книжного просвещения столько, сколько ей потребно, только ради чисто практических целей внешнего благочиния и порядка. Если бы этот начальный взгляд на нашу литературу и народность нашел себе оправдание в действительности, то, без сомнения, ничтожна была бы и наша литература, отказавшаяся от жизни, и того ничтожнее была бы народность, которая в течение многовекового существования нашей письменности, не могла привиться к литературе и не умела стать с нею в уровень».[1]

Проникновению народного начала в литературу высших классов феодального общества способствовали особые формы литературного творчества XI—XVII вв. В литературном творчестве этого времени еще сохранились элементы коллективности, свойственные устному творчеству. При многочисленных переписках того или иного произведения переписчики очень часто вносили свое, подвергая произведение либо незначительным переделкам, дополняя его или сокращая, либо очень серьезным переработкам. Переписчик постоянно становился «соавтором».

Переписчик находился между автором и читателем. В случае различия в их вкусах и идеологии переписчик становился на сторону читателя, — перерабатывая произведение так, как нужно было читателю или же самому ему.

Только в тех случаях, когда произведение принадлежало церковному авторитету — «отцу церкви» — или было связано с богослужением, с его строго установленными формами, переписчик не вносил в него изменений. В других случаях, если только он чувствовал себя в силах «улучшить» произведение, он его и «улучшал» по своему разумению. Средневековье не знало «авторского права» в нашем смысле этого слова. Отсюда множественность редакций одного и того же произведения. Вплоть до XVIII в. письменное творчество обладает элементами коллективности и, следовательно, не может быть полностью контролируемо феодалами. Только распространение книгопечатания уничтожило эту особенность литературы XI—XVII вв.

Произведение не только перерабатывалось, постоянно изменялось, приспосабливалось к требованиям времени или требова-

---

[1] Ф. Буслаев. О народной поэзии в древнерусской литературе. Речь на торжественном собрании Московского университета 2 января 1859 г., отд. отт.

ниям той или иной читательской среды: оно постоянно вступало в соединение с другими произведениями. В произведение могли вноситься дополнительные эпизоды, дополнительные самостоятельные рассказы, либо произведения подбирались по какому-либо признаку в своеобразные «своды». Этот признак мог быть местный: например, вместе соединялись все повести, посвященные Новгороду, Рязани, Пскову, Мурому, Китежу; вместе соединялись в особые «патерики» все жития святых того или иного монастыря. Этот признак мог быть и какой-либо иной, обусловленный интересом переписчика или его читателей к истории, к церковно-учительной литературе, к устройству мира и т. п.

Оба эти явления литературы феодального периода — постоянные переделки произведений и постоянные их соединения с другим тематически однородным материалом — позволяли проникнуть в литературу элементам народной литературы, народной идеологии. То в повести, объединенные церковным интересом к иконе Николы Заразского, окажется внесенной переработка народной исторической песни о храбре Евпатии Коловрате, то в княжеской летописи окажется пересказ былины о победе юноши-кожемяки над печенежским богатырем, то в монастырской летописи окажутся следы дружинной идеологии, и т. д.

Особенно большие возможности для проникновения народной идеологии представляла летопись. И понятно, почему. Летопись по самой природе своей была «сводом» различного материала, объединенного исторической тематикой. Все, что повествовало о прошлом Руси, — все это включалось в летопись. Сюда летописец включал и записи своих предшественников, и повести, и тексты договоров, и жития русских святых, иногда те или иные грамоты, имевшие исторический интерес, и многое другое. Сама форма летописей, — изложение по годам, в строго хронологическом порядке, — позволяла вносить все новый и новый материал, беспредельно расширять изложение.

Как произведение, посвященное русской истории, летопись и должна была, особенно в воспроизведении далекого прошлого, опереться на народную традицию, на народные рассказы о прошлом Руси. Она по теме своей стояла далеко от церковной литературы, от традиции византийской хронографии.

Таким образом, русская литература эпохи раннего и развитого феодализма, в основном, обслуживала интересы класса феодалов-землевладельцев, подчинявшего ее себе, занявшего в ней господствующие позиции, вводившего ее в различные сферы церковно-феодальной идеологии. На раннем этапе развития феодализма класс феодалов как молодой и поднимающийся занимал прогрессивные позиции. Значительно позднее (приблизительно

с XVII в.), несмотря на наличие и прогрессивных и реакционных тенденций в классе феодалов, последний, в основном, занимает реакционные позиции. Прогрессивное же начало в этой литературе идет, в основном, от трудового народа — прямо или косвенно, путем самых различных форм воздействия народной идеологии и народного, крестьянского творчества.

Проблема народности литературы феодального периода не отделима от проблемы ее классового характера. Народность литературного произведения в классовом обществе теснейшим образом связана с классовой борьбой.

Такая постановка проблемы классового характера древнерусской литературы и ее народности отнюдь не позволяет делать вывода, что все, идущее от устного народного творчества, прогрессивно, а все специфически «письменное», «книжное» — реакционно. Мы должны со всею решительностью отмести такого рода скороспелые и неверные выводы о сущности классовой борьбы в литературе феодального периода.

Сама по себе письменность — величайшее завоевание человечества. Завоеванием русского народа являются и литературный русский язык и многие формы литературного творчества.

В устном народном творчестве не все и не всегда прогрессивно. Устное народное творчество отнюдь не едино. В нем есть стороны, связанные с отсталыми формами жизни. В нем есть такие жанры как заговоры, или духовные легенды — произведения, тесно примыкающие к культу языческому или христианскому.

Борьба шла не между письменным началом и устным, как это иногда представлялось некоторым литературоведам, а между идеологиями двух основных классов эпохи феодализма. Письменность обслуживала оба класса. Борьба шла между двумя культурами внутри одной русской культуры.

Понятие народности литературы эпохи феодализма следующим образом конкретизируется В. П. Адриановой-Перетц в работе «Историческая литература XI—начала XV в. и народная поэзия»:[1] «Понятие „народность древнерусской литературы“ определялось всем ходом исторического развития и на каждом этапе истории феодального строя имело свои характерные признаки. В это понятие прежде всего входило умение писателя уловить то новое в исторической действительности, что отвечало интересам трудового народа, и выразить это новое в художественной форме, стремящейся к реалистическому изображению, выразить средствами литературного языка, свободного от элементов, чуждых строю общенародного языка. Своеобразие самого по-

[1] Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы АН СССР, т. VIII, 1951, стр. 95—96.

нятия „народность“ в русской литературе феодального периода, отличающее его от объема этого понятия в новое время, заключалось в ограниченности его содержания: воспитывая активную любовь к Родине и сознание необходимости защищать свободу и независимость государства, а следовательно и трудового народа от внешних врагов, даже передовые писатели древней Руси не могли сколько-нибудь полно отразить основное противоречие феодального строя — классовый антагонизм между трудовым народом и феодалами-собственниками. Критика в литературе отдельных сторон феодально-крепостнического строя была лишь слабым отголоском стихийного протеста самого народа, протеста, не раз принимавшего форму вооруженного восстания. Вопрос об освобождении трудящихся от феодально-крепостнического гнета литературой еще не ставился. Но писатели, мировоззрение которых соответствовало хотя бы такому ограниченному содержанию понятия „народность“, знали жившую и развивавшуюся непрерывно рядом с книжной литературой устную поэзию трудового народа. В этой поэзии, несмотря на исторически закономерную для феодального периода ограниченность классового сознания трудящихся, выражалась оценка народом исторических лиц и событий, его трудовой опыт и мечта о лучшей жизни. Чем глубже проникал писатель в противоречия жизни, чем больше внимания уделял он тяжелому положению угнетенного народа, тем ближе ему становилось поэтическое творчество трудящихся, тем закономернее литературные оценки совпадали с „народным мнением об истории“ (М. Горький). Так создавалась почва для того, чтобы в художественной системе древнерусского писателя обнаруживалось развитие основ, идущих от поэзии народа. В таких случаях усваивались и элементы художественной формы народной поэзии. Однако внешнее усвоение устно-поэтической фразеологии не делало памятник „народным“. Для установления закономерностей литературно-фольклорных отношений в XV—XVII вв. поэтому особенно важно выяснение характера всех связей каждого отдельного литературного памятника с народной поэзией». Мы привели эту обширную выписку из работы В. П. Адриановой-Перетц потому, что в ней с достаточной ясностью показана вся сложность проблемы народности того или иного произведения древней русской литературы. Как видно, в каждом отдельном случае эта проблема должна решаться с учетом самых разнообразных сторон изучаемого произведения. «Фольклорность» того или иного памятника литературы, а тем более его народность, отнюдь не должна устанавливаться только наличием в нем отдельных элементов народного творчества. Произведение может быть насыщено народной стилистикой или быть написано на

основе народного сюжета и быть одновременно антинародным по своей сущности. В обоих случаях народные элементы окажутся совершенно механически (и в конечном счете антихудожественно) включенными в произведение, тем более что само народное творчество в известной мере противоречиво, заключая в себе подчас элементы консервативные, отсталые.

Классовая борьба эпохи феодализма — борьба между феодалами-землевладельцами и крестьянами — непосредственными производителями материальных благ — в конечном счете определяла собой и движение историко-литературного процесса. Это положение характеризует только самые основные, общие линии развития древней русской литературы. Борьба консервативного и реакционного начала в древней русской литературе, взятой в ее целом, в конечном счете определяется этой борьбой классов антагонистов.

Изучение русской литературы феодального периода должно исходить из анализа классовой борьбы двух основных антагонистических классов феодального общества — класса землевладельцев-феодалов и класса зависимых крестьян. В борьбе этой необходимо учитывать внутриклассовую борьбу феодалов. Эта внутриклассовая борьба отнюдь не является внеклассовой или надклассовой. Внутриклассовая борьба среди феодалов была теснейшим образом связана с классовой борьбой эпохи феодализма. Именно поэтому-то ей и принадлежит немалая роль в развитии древней русской литературы.

Конкретное рассмотрение историко-литературного развития показывает, что внутриклассовая борьба имела в ней очень большое значение. Дело в том, что внутри феодального класса в свою очередь боролись прогрессивные и реакционные социальные группы и борьба эта накладывала сильнейший отпечаток на литературу. Прогрессивно настроенные социальные группы внутри класса феодалов уже по одному тому, что они противостоят реакционным группам, вынуждены прибегать к идеям, которые не носят узко классового характера, вынуждены аппелировать к интересам «всего» общества, искать идей «всеобщей значимости», конечно, приспосабливая их к своим интересам. Вот почему в прогрессивных группах класса феодалов могли возникать идеи, которые отвечали интересам и этой группы, и народа. Борьба прогрессивных и реакционных групп позволяла проникать в литературу феодального класса идеям, отвечавшим интересам народа. Следовательно и в этой борьбе нельзя сбрасывать со счетов народ, его интересы. Таким образом, через внутриклассовую борьбу открывалась еще одна возможность для проникновения народного начала в литературу. Не следует также

забывать, что феодальный класс, взятый в его целом, пройдя многовековый путь развития, на каждом конкретном участке развития русской истории играл различную роль. В период раннего феодализма молодой поднимающийся класс феодалов был в основном прогрессивен. Вот почему и «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона — произведение, отражающее идеологию феодалов, — и прогрессивно и оптимистично. В дальнейшем внутри феодального класса борются прогрессивные и реакционные группы.

Говоря о борьбе внутри класса феодалов, мы должны остановиться на его особой структуре. Мы должны прежде всего учитывать следующее указание Ленина о классах рабовладельческого и феодального обществ: «Известно, что в рабском и феодальном обществе различие классов фиксировалось и в *сословном* делении населения, сопровождалось установлением особого *юридического* места в государстве для каждого класса. Поэтому классы рабского и феодального (а также и крепостного) общества были также и особыми сословиями. Напротив в капиталистическом, буржуазном обществе... классы перестали быть сословиями. Деление общества на классы обще и рабскому и феодальному и буржуазному обществам, но в первых двух существовали классы-сословия, а в последнем классы бессословные».[1]

Отсюда ясно, что положение господствующего, феодального класса в государстве было ю р и д и ч е с к и оформлено. Вместе с тем следует отметить, что в период развитого феодализма юридические нормы, оформившие положение класса феодалов, были отнюдь не однородны, отражая неоднородность и самого класса феодалов.

Основу феодализма составляли особые формы собственности на землю. Феодальный класс представлял собою пеструю картину различного отношения к земельной собственности. Земельные собственники были связаны между собой сложной цепью вассальных обязательств. Зависимое крестьянство несло на себе разветвленную иерархию господствующего класса — класса феодалов. Эта иерархия была юридически оформлена системой иммунитетных привилегий. Служебно-иерархическая система, которой были связаны между собой представители господствующего класса, соответствовала расчлененному характеру земельной собственности. Широкое развитие иммунитета, выросшего на основе расчлененного характера земельной собственности

[1] В. И. Ленин, Соч., т. 6, стр. 97, примечание.

при феодализме, в свою очередь способствовало политической децентрализации и раздроблению государственной власти между отдельными землевладельцами. Отсюда неоднородность феодального класса, отсюда постоянная борьба отдельных землевладельцев, отдельных групп землевладельцев, занимавших в обществе различное положение, пользовавшихся различными правами на землю, отсюда, по выражению Ф. Энгельса, те «неистовые битвы господствующего феодального дворянства», которые «заполняли средневековье своим шумом».[1]

Иерархическая структура земельной собственности была основой классовой эксплоатации феодалами непосредственных производителей материальных благ. Борьба между отдельными группами феодалов, борьба внутриклассовая, была борьбою прежде всего за земельную собственность и за непосредственных производителей материальных благ — за рабочие руки и за земельную ренту.

Сложная иерархическая структура феодального класса, основанная на расчлененной форме землевладения при феодализме, была основой, на которой вырастала внутриклассовая борьба, в которой были отчетливо представлены и прогрессивные и реакционные силы.

С начала феодальной раздробленности, еще в XI в., внутриклассовая борьба феодалов характеризуется борьбой отдельных княжеств и феодальных республик между собой. Однако эта борьба вовсе не носила характера только территориальной борьбы, как это представлялось буржуазным историкам литературы. Борьба идет не просто между отдельными областями, а между областями с различной расстановкой классовых сил. Следовательно и в этой феодальной борьбе были свои прогрессивные и реакционные силы.

В феодальной борьбе отдельных русских князей в XI—XIII вв. «революционные» слои города и деревни и в первую очередь те служилые элементы, из которых составится будущее дворянство, поддерживают сильную великокняжескую власть, представляющую прогрессивное начало в классе феодалов.

Уже тогда, в XII в., сильная власть великого князя определилась как представительница «порядка» и вступила в союзные отношения с прогрессивными силами, образовавшимися под поверхностью феодализма.[2] Роль сильной великокняжеской власти в данном случае соответствовала роли королевской власти,

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 440.

[2] В. Пашуто и Л. Черепнин. О периодизации истории России эпохи феодализма. Вопросы истории, 1951, № 2, стр. 60.

прогрессивная деятельность которой в Западной Европе, по указанию Ф. Энгельса, берет свое начало с X в. Говоря о союзе королевской власти с «революционными» элементами города и деревни, Ф. Энгельс вместе с тем отмечал, что нередко этот союз нарушался в результате конфликтов, но «все же этот союз возобновлялся все тверже, все могущественнее, пока, наконец, он не помог королевской власти одержать окончательную победу и королевская власть в благодарность за это поработила и ограбила своего союзника».[1]

Союз великокняжеской власти с «революционными» элементами города и деревни был в первую очередь направлен против боярства. Этот союз тянется на протяжении ряда столетий, то нарушаясь, то вновь возобновляясь, так как экономическая база его в первое время была еще слишком мала. Великокняжеская власть получает опору в трудовом народе, ибо только сильная власть князя могла дать народу защиту от внешних нашествий и ограничить борьбу феодалов. Стремясь найти опору в своей борьбе с боярством, великие князья нередко выступают в «защиту» «сирот и вдов», несколько смягчают феодальную эксплоатацию (Владимир Мономах), подчеркивают нелицеприятность своего суда и т. д. Страх восстаний и стремление получить в народных массах мощного союзника в равной мере сказывается во многих мероприятиях великокняжеской власти: во Владимиро-суздальском княжестве и в Галицко-волынском, отчасти в Киеве. «Защита» сирот постоянно сменялась жестокими подавлениями восстаний этих же самых «сирот», «нелицеприятный» суд оказывался на самом деле классово-лицеприятным. Союз с нарождающимся дворянством нарушался по другой причине: из среды «милостников», приближенных князя, постоянно выделялось сильное боярство, вступавшее в борьбу с князем. Так было во Владимиро-суздальском княжестве, так было и в других областях.

Представителями сильной великокняжеской власти с ее объединительными тенденциями были и Владимир Мономах, и Андрей Боголюбский, и Всеволод Большое Гнездо, и Даниил Галицкий. Это были представители прогрессивного начала внутри класса феодалов, хотя тенденция поработить и ограбить трудящиеся массы была свойственна им едва ли не в меньшей, если не в большей степени, чем другим князьям, другим представителям феодального класса.

Союз великокняжеской власти с «революционными» силами города и деревни был прогрессивен уже по одному тому, что

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. XVI, ч. I, стр. 445.

только он мог дать твердую оборону Русской земле. Идея этой обороны, проникая в литературу господствующего класса, составляла ее прогрессивную черту, делала ее народной, отвечающей народным интересам. Тема обороны Родины — основная тема всех лучших, всех прогрессивных произведений этой поры. Она составляет идейную основу «Повести временных лет», «Поучения» Владимира Мономаха, «Слова о полку Игореве», «Слова о погибели Русской земли», ряда местных летописей и т. д.

Многие из произведений русской литературы этой поры именно потому используют устную народную поэзию, что они прогрессивны. Прогрессивность же для периода феодальной раздробленности определялась и для верхов феодального общества, и для эксплоатируемых низов в первую очередь идеями объединения и обороны Русской земли.

В национальной борьбе, в сознании необходимости твердой обороны Родины могли объединяться наиболее прогрессивные представители феодалов и трудовой народ.

Патриотизм был свойствен обоим классам-антагонистам феодального общества, но патриотизм этот был различен, хотя и имел точки соприкосновения. Яркою патриотичностью окрашено «Слово о законе и благодати» митрополита Илариона. Это «Слово» создано автором-феодалом для феодалов, для читателей и слушателей, «преизлиха насытившихся сладости книжной». Иларион гордится русским государством, гордится успешным распространением в русском государстве христианства, гордится славными князьями этого государства: Владимир «славный из славных»; Русская земля «ведома есть и слышима всеми концы земли». Вне всякого сомнения, патриотичность «Слова» Илариона могла найти отклик и в народных массах, однако трудовой эксплоатируемый народ иначе бы выразил свои патриотические настроения. Народный патриотизм воплощен в «Слове о полку Игореве». «Слово о полку Игореве» написано феодалом, — повидимому, дружинником, но оно в значительной мере отразило интересы широких масс и овеяно патриотизмом, свойственным им же. «Слово о полку Игореве» говорит не об успехах христианства, не о внутреннем «устроении» государства. Оно говорит об обороне всей Русской земли, воспринимая Русскую землю как совокупность народа, «стран» (сельских местностей), городов, самой природы, как живое, страдающее и близкое существо. Оно призывает к защите Русской земли. С патриотическим подъемом оно говорит об отдельных сильных князьях, способных оборонить Русскую землю от врагов, о Ярославе Осмомысле, о Всеволоде Суздальском, о Святославе Киевском, а не о княжеской дина-

стии в целом, о которой говорило «Слово» Илариона. В этой идее защиты родины «Слово о полку Игореве» в значительной мере сходится с былинами.

Говоря о различии патриотизма «Слова о законе и благодати» и «Слова о полку Игореве», конечно, следует учитывать и различия в исторической обстановке, в которой возникли оба произведения. Между ними лежит около 130 лет («Слово о законе и благодати» Илариона относится к середине XI в., а «Слово о полку Игореве» написано, повидимому, в 1187 г.). За это время произошли крупные политические изменения, и тема защиты Родины стала особенно острой. Однако то же различие патриотизма характерно и для одновременных памятников, но возникших в различной социальной среде. «Повесть временных лет» сохранила в своем составе остатки дружинных песен. Их главная тема — смелые походы русских на Константинополь. Сохранила в своем составе «Повесть временных лет» и сюжет народного предания, близкого по типу к былинам. Тема этого предания — приход на Русскую землю печенегов и защита Русской земли от них юношей-кожемякой, вступившим в единоборство с печенежским богатырем. В походах на Константинополь были заинтересованы по преимуществу феодалы и только отчасти народ в связи с тем, что Византия захватила местности по северным берегам Черного моря. Защита Русской земли от набегов печенегов была народной задачей и задачей наиболее прогрессивных представителей класса феодалов. Таким образом, наиболее отличительная черта народного патриотизма заключалась в том, что патриотизм этот был по преимуществу связан с идеей защиты Родины и расходился с феодальными представлениями в оценке внутренней деятельности государства. Патриотизм феодального класса, отражая идеи внутреннего могущества государства, поднимался, вместе с тем, у наиболее прогрессивных представителей до осознания преимущественного значения общенародной защиты от внешних врагов, до осознания необходимости объединения Руси.

Таким образом, вопрос о борьбе прогрессивного начала с консервативным для эпохи феодализма и в особенности в его ранней стадии чрезвычайно сложен.

Подлинно художественное творчество органически связано с творчеством народа. Оно воплощает в себе национальную специфику, оно отражает в себе, — в своей наиболее передовой части, — стремления и чаяния народа, хотя далеко не в полной мере и не непосредственно. Авторы произведений, отражавших идеологию господствующих классов, вынуждены были «брать на вооружение» достижения народных трудовых масс, пользоваться

тем опытом и теми лучшими традициями художественного мастерства, которые вносил в свое искусство народ.

В эпоху раннего и развитого феодализма литературное творчество отнюдь не составляло достояния исключительно только представителей феодального класса. Значение народа в формировании литературы было очень велико. Однако это значение трудовых масс сказывается в литературе далеко не непосредственно. Творческое своеобразие литературы, ее движение вперед, нарастание в ней элементов реалистичности и т. д. — определялись народом лишь в конечном счете. Тем самым отнюдь не умаляется господствующая роль в литературе феодального класса. Не может отрицаться в литературе и творческая роль феодального класса, поскольку в самом феодальном классе борются прогрессивные и реакционные силы и эта внутриклассовая борьба, без учета которой невозможно понять многие явления древнерусской литературы, входит как часть в общую борьбу антагонистических классов феодальной формации. Прогрессивные силы внутри феодального класса прогрессивны постольку, поскольку они выставляют политические задачи, соответствующие общенародным интересам. Эти задачи для интересующего нас периода являются в основном задачами защиты Русской земли. Задачи эти объединяют и прогрессивную часть древнерусской литературы, и русский былевой эпос.

*

Русская литература возникла как литература древнерусской народности. Она была литературой всей народности в целом, а не какой-либо ее части, и обладала уже при самом своем возникновении некоторыми чертами, присущими ей как литературе именно древнерусской народности. На заре своего возникновения она заключала в себе уже некоторые черты будущей великорусской литературы, будущей украинской литературы, будущей белорусской литературы в их национальной специфике. Эта национальная специфика проявлялась еще очень неполно, но уже во вполне определенных чертах.

Прежде всего коснемся в самом сжатом виде вопроса об образовании русской или точнее древнерусской народности.[1]

[1] Термин «древнерусская народность» предложен В. В. Мавродиным в статье «Основные этапы этнического развития русского народа» (Вопросы истории, 1950, № 4; результаты обсуждения этой статьи см.: Вопросы истории, 1951, № 5, стр. 137—139) во избежание путаницы («русская народность» VIII—XIII вв. отнюдь не равнозначна «русской, великорусской народности» XIV—XVI вв.; первая развилась впоследствии в три народности — великорусскую или русскую, в собственном смысле этого слова, в украинскую и белорусскую).

И. В. Сталин в работе «Марксизм и вопросы языкознания» установил следующие этапы развития языка: «...от языков родовых к языкам племенным, от языков племенных к языкам народностей, и от языков народностей к языкам национальным».[1] Тем самым И. В. Сталиным установлены и основные этапы складывания наций: от рода к племени, от племени к народности и от народности к нации.

С развитием феодального строя и распадом отношений родового общества определился переход от восточнославянских племен к единой древнерусской народности, а затем к выделению в единой древнерусской народности трех братских народностей: великорусской, украинской и белорусской. С развитием капиталистического уклада, с распадом феодальных отношений происходит процесс развития народностей в нации; образуется русская нация. И. В. Сталин пишет: «Процесс ликвидации феодализма и развития капитализма является в то же время процессом складывания людей в нации».[2]

Итак, переход от бесклассового общества к обществу классовому — феодальному — был связан у восточнославянских племен с постепенным формированием древнерусской народности. Этот процесс образования древнерусской народности начался, повидимому, задолго до появления раннефеодального древнерусского государства. Внешним проявлением этого процесса складывания восточнославянских племен в древнерусскую народность являлось возникновение у них различных политических объединений, как, например, государственного объединения дулебов, и др.

В работе «Марксизм и национальный вопрос» И. В. Сталин дал следующее классическое определение нации: «Нация есть исторически сложившаяся устойчивая общность людей, возникшая на базе общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося в общности культуры».[3] Вместе с тем, И. В. Сталин отмечает, что «...элементы нации — язык, территория, культурная общность и т. д. — не с неба упали, а создавались исподволь, еще в период докапиталистический».[4]

Образование древнерусской народности было несомненно связано с некоторой общностью — языковой, экономической, территориальной, психического склада и культурной. Однако

---

[1] И. В. Сталин. Марксизм и вопросы языкознания. Госполитиздат, 1951, стр. 13.
[2] И. В. Сталин, Соч., т. 2, стр. 303.
[3] И. В. Сталин, Соч., т. 2, стр. 296.
[4] И. В. Сталин, Соч., т. 11 стр. 336.

в отличие от образования нации общность эта не была устойчивой. И. В. Сталин подчеркивает, что нация является исторически сложившейся — устойчивой общностью людей. Этой веками слагающейся устойчивой общностью древнерусская народность еще не обладала и не могла обладать. Племенные различия не успели еще стереться. Экономические связи были еще очень слабы. Раннефеодальное государство было только относительно едино. Тем не менее, относительное единство древнерусской народности имело огромное значение и в развитии устного народного творчества, и в развитии литературы. Кроме того, возникновение литературы и развитие народного творчества, уничтожение в этом последнем племенной изолированности сыграли значительную роль в формировании древнерусской народности, в складывании ее культурной общности.

Древнерусская литература возникла как литература всей древнерусской народности, а не как литература того или иного племени, не как литература местная. «Повесть временных лет» и предшествовавшие ей летописи всем своим замыслом показать историю Русской земли в ее целом основаны на идее единства Русской земли. В древнейших русских летописях дана история Руси, а не история Киева или Новгорода. Не случайно, что древнейшая киевская летопись быстро получила распространение далеко за пределами Киева: еще в XI в. известия ее влились в состав новгородской древнейшей летописи,[1] а известия новгородской летописи отразились в составе киевской «Повести временных лет».[2] В XII в. «Повесть временных лет» вновь проникла на далекий север — в Новгород,[3] а затем получила продолжение и в Киеве,[4] и в Переяславле Южном,[5] и во Владимире Залесском,[6] и в Чернигове.[7] В XIII в. она же переписывается в Ростове,[8] в Переяславле Залесском[9] и во многих других городах. Уже в конце XI в. галицко-волынская повесть об ослеплении Василька Теребовльского включается в состав

---

[1] А. А. Шахматов. Разыскания о древнейших русских летописных сводах. СПб., 1908, стр. 491 и сл.

[2] Там же.

[3] Д. Лихачев. Софийский временник и новгородский политический переворот 1136 г. Исторические записки, № 25, М.—Л., 1948.

[4] Д. Лихачев. Русские летописи. М.—Л., 1947, стр. 176 и сл.

[5] Там же, стр. 186, 273 и сл.

[6] Там же, стр. 268 и сл.

[7] Там же, стр. 185 и сл.

[8] Там же, стр. 282 и сл.

[9] М. Д. Приселков. Лаврентьевская летопись (история текста). Ученые записки Ленинградского университета, № 32, серия исторических наук, вып. 2, Л., 1939.

киевской «Повести временных лет».[1] «Поучение» киевского князя Владимира Мономаха, повидимому, переписывалось уже в XII в. на северо-востоке Руси.[2] Киево-печерский патерик возник из переписки начала XIII в. Симона и Поликарпа, живших в различных концах Русской земли. Различные концы Русской земли обнимала также переписка Кирилла Туровского и Андрея Боголюбского; Владимир Мономах обращался с письмом к Олегу Святославичу Черниговскому. Литературные связи существовали между Галицко-волынской землей и Владимиро-суздальской, а также Новгородской.[3]

Гордость за свою Родину, за Русскую землю, сознание ее единства явственно ощущаются и в летописи, и в «Слове о законе и благодати» митрополита Илариона, и в «Сказании о Борисе и Глебе», и в «Хождении» «игумена Русской земли» Даниила. В пору феодальной раздробленности — в XII и в XIII вв. — русская литература, в основном, в ее лучших произведениях продолжает сохранять свое единство. Общерусскими, а не узко местными, оказываются сочинения Кирилла из Турова, Климента из Смоленска, Серапиона из Владимира. Общерусским по идее и по своему распространению было «Слово о полку Игореве». «Безвестный автор „Слова", несомненно передовой человек своего времени, высоко поднял знамя национального объединения русского народа, прекрасно понимая, что в нем заключено спасение и процветание русской государственности»,— писала в передовой статье газета «Правда» (от 26 мая 1938 г.). Отдельные произведения, как, например, повесть о битве на Калке, обходят всю Русскую землю, отражаясь во многих местных русских летописях.

Вот почему неправильно говорить о литературе «киевского периода» применительно к русской литературе XI—XIII вв.: период XI—XIII вв. — период общерусский, принадлежащий всей древнерусской народности. Не следует считать, что в период феодальной раздробленности единство русской литературы отсутствует, что все произведения русской литературы подпадают под рубрику «областных», «местных». Конечно, местные интересы интенсивно сказываются в ряде летописей (например

---

[1] М. Д. Приселков. Летописание Западной Украины и Белоруссии. Ученые записки Ленинградского университета, № 67, серия исторических наук, вып. 7, 1940, стр. 5 и сл.

[2] История русской литературы, т. I. Институт литературы АН СССР, М.—Л., 1941, стр. 296—297.

[3] Д. Лихачев. Галицкая литературная традиция в житии Александра Невского. Труды Отдела древнерусской литературы Института литературы АН СССР, т. V, М.—Л., 1947.

новгородской), в ряде второстепенных произведений, но в основном русская литература продолжает оставаться русской (общерусской) по преимуществу. Единство русской литературы в XII—XIII вв. обусловлено тем, что и единство Русского государства в этот период также, в известной мере, продолжает сохраняться. Это убедительно подчеркнуто в статье В. Пашуто и Л. Черепнина «О периодизации истории России эпохи феодализма». Авторы этой статьи пишут: «В новой структуре государственной организации общерусская власть „великого князя" киевского, однако, не исчезла вовсе, но она свелась к минимуму: о ней вспоминали (вплоть до татаро-монгольского нашествия) лишь при решении некоторых дел, интересовавших правителей большинства „полугосударств" России (охрана южных торговых путей, оборона от степняков-кочевников, вопросы церковного управления, некоторые общерусские дипломатические вопросы и т. п.). Поэтому мы вправе говорить о монархии периода феодальной раздробленности. Что же произошло с раннефеодальным государством, с феодальной монархией? Товарищи И. В. Сталин, А. А. Жданов и С. М. Киров не случайно пишут о Р о с с и и в период феодальной раздробленности, подчеркивая тем самым то общее, что объединяло русские „полугосударства" и отличало их от нерусских стран. Государственный строй приобрел расчлененную форму, соответствующую расчлененной форме земельной собственности и более соответствующую классовым интересам феодалов, — форму, типичную для европейских государств изучаемого периода. Реальная государственная власть перешла к феодалам отдельных русских „полугосударств" (среди них были и городские феодальные республики); правители крупнейших из них (размерами не уступавших иным западноевропейским государствам) с течением времени все настойчивее выступают претендентами на объединение Руси на новой феодальной основе, объявляя себя „великими князьями" всей Руси, стремясь использовать в своих целях и захват киевского великого княжения».[1]

«Областные тенденции» являлись проявлениями идеологии местного боярства, иногда купечества, отдельных мелких князей и других представителей господствующего класса. «Областные, местные тенденции» представляли собой формы проявления классовой идеологии местных феодалов. Они отнюдь не были присущи той или иной областной литературе в ее целом.

Это объяснялось тем, что феодальное дробление было наруку феодальным верхам — господствующему классу землевладельцев,

[1] В. П а ш у т о и Л. Ч е р е п н и н. О периодизации истории России эпохи феодализма. Вопросы истории, 1951, № 2, стр. 58.

но не трудовому народу, который страдал больше всего от княжеских усобиц и усилившегося в условиях феодальной раздробленности классового гнета. Феодальное дробление, в первую очередь, отвечало классовым интересам землевладельцев. Н. Г. Чернышевский писал: «... распадение Руси на уделы было чисто следствием дележа между князьями..., но не следствием стремлений самого русского народа. Удельная разрозненность не оставила никаких следов в понятиях народа, потому что никогда не имела корней в его сердце: народ только подчинялся семейным распоряжениям князей».[1] Вот почему в литературе каждой из областей местные «областные» центробежные тенденции сказываются по преимуществу в тех произведениях, которые связаны своими идеями с господствующим классом феодалов-землевладельцев. Между тем, народное творчество в широком значении этого слова едино повсюду. Одинаков труд ремесленников, одинаков фольклор. Конечно, и здесь могут быть различия, главным образом количественные, обусловленные различиями в развитии производительных сил. Качественные различия (различные «областные стили» в архитектуре, в живописи, в литературе) возникают по преимуществу в культуре господствующего класса.

Вместе с тем, надо принять во внимание, что русский язык в XII—XIII вв. (при различии в диалектах) был един, было едино законодательство — светское (Русская Правда) и церковное, едина была денежная система (гривенная), едины были многие обычаи (как народные, так и господствующего класса), отдельные русские княжества связывало единство предшествующего исторического развития.

Итак, русская литература XI—XIII вв., в основном, не была литературой узко местной. Каждое значительное произведение русской литературы обходило весь горизонт Русской земли, распространялось по всему ее лицу. Каждое значительное произведение русской литературы отражало идею единства Руси; сознание общерусского единства было очень интенсивным в лучших произведениях русской литературы XI—XIII вв. Наконец, каждое значительное произведение русской литературы этого времени обладало уже некоторыми качественными особенностями, специфически присущими ему как произведению литературы древнерусской народности.

Национальная специфика древнерусской литературы, качественные особенности древнерусской народности проявились уже в древнейших русских литературных произведениях. Они есть

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. 3, М., 1947, стр. 570.

в древнейших русских летописях, в «Поучении» Владимира Мономаха, в «Молении Даниила Заточника» и, особенно, в «Слове о полку Игореве».

В чем же проявились национальные черты русской литературы XI—XIII вв.? Национальная специфика русской литературы теснейшим образом связана с своеобразием исторической жизни русского народа.

В XI—XIII вв. русскому народу приходилось вести беспрерывную изнурительную борьбу за свою независимость и за целостность своего государства со степными народами, вторгавшимися на Русь со стороны бескрайних, легко доступных южных и юго-восточных степей. Эта борьба требовала от русского народа напряжения всех сил.

Лучшие произведения древней русской литературы отразили в себе ясное осознание широких общенародных интересов, ясный взгляд на русскую историю, умение мужественно осознавать недостатки настоящего. Замечательным образцом такого рода произведения является «Повесть временных лет». Стойкий характер и мужественное терпение ярко сказались в «Слове о полку Игореве». Это произведение, описывая поражение русских, призывает к новой борьбе, оно с ясностью утверждает несгибаемую волю к победе русского народа. Оно мужественно по настроению, по идее, преисполнено смелого и ясного взгляда на русскую действительность XII в. К терпению и стойкости, к лишениям во имя блага родины призывает и «Поучение» Владимира Мономаха. Все эти национальные черты проявились далеко не полно и только в лучших, наиболее прогрессивных произведениях русской литературы XI—XIII вв. Однако именно этим чертам принадлежало будущее, именно им предстояло развиться и укрепиться.

Лучшие произведения русской литературы XI—XIII вв. народны, поскольку в своем горячем призыве к защите родины они ответили интересам не только прогрессивной части феодалов, но и интересам трудового народа. Патриотизм, народность и национальная специфика русской литературы XI—XIII вв. связаны между собой теснейшим образом.

Н. Г. Чернышевский отметил, что глубокий патриотизм, беззаветное служение народу, являются специфическими чертами русской культуры. Он отметил в русской культуре «страстное, беспредельное желание блага родине», «служение на пользу общую». Н. Г. Чернышевский пишет: «Понимая патриотизм в этом единственном истинном смысле, мы замечаем, что судьба России в отношении к задушевным чувствам, руководившим деятельностью людей, которыми наша родина может гордиться,

доселе отличалась от того, что представляет история многих других стран. Многие из великих людей Германии, Франции, Англии заслуживают свою славу, стремясь к целям, не имеющим прямой связи с благом их родины; например... многие из величайших ученых, поэтов, художников имели в виду служение чистой науке или чистому искусству, а не каким-нибудь исключительным потребностям своей родины... У нас не то: историческое значение каждого русского великого человека измеряется его заслугами родине, его человеческое достоинство — силою его патриотизма».[1] Н. Г. Чернышевский в этих строках имеет в виду новую русскую литературу, однако это обстоятельство не должно умалять для нас всю значительность его слов и для литературы древней. Преемственная связь русской литературы XVIII—XX вв. с литературой древнерусской недостаточно еще учтена в науке.

Русская литература XI—XIII вв. в своих лучших, наиболее прогрессивных произведениях посвящена одной теме — теме родины. Подлинным героем «Повести временных лет» или «Слова о полку Игореве» является не кто-либо из русских князей, но вся Русская земля, воспринимаемая с необычайной конкретностью, как живое, страдающее существо. Забота об интересах родины отчетливо выступает в «Сказании о Борисе и Глебе», в «Хождении» игумена Даниила, в «Поучении» Владимира Мономаха, в черниговском «Слове о князех», во владимирско-суздальском летописании, в летописании галицко-волынском, в отдельных воинских повестях или проповедях.

Русская литература XI—XIII вв. не знает развлекательных жанров, она не знает любовной лирики или манерности, столь свойственной литературе западного средневековья. Это литература целеустремленная; это литература мужественного патриотизма, мужественного и светлого раздумья над судьбами Русской земли. Общественная, гражданская струя в русской литературе, столь типичная для нее в XIX и XX вв., определилась в ней уже в XI—XIII вв.

Стойкость национальной специфики русской литературы на заре ее существования позволила ей творчески преодолеть все иноземные воздействия, взять из переводной литературы все то, что могло способствовать развитию в ней самобытных черт.

---

[1] Н. Г. Чернышевский. Очерки гоголевского периода русской литературы. Полн. собр. соч., т. III, М., 1947, стр. 136—137. См. об этой черте русской литературы: Д. Д. Благой. Национальные особенности русской литературы в свете трудов В. И. Ленина и И. В. Сталина. М. 1952, стр. 15—16.

Русская литература XI—XIII вв. не только возникла на единой основе древнерусской народности, но и сама, в свою очередь, способствовала сложению этой народности, создавая ту общность культуры, которая является одним из необходимых признаков образования народности, а затем и нации.

*

Мы рассмотрели выше проблему классового характера русской литературы XI—XIII вв., проблему ее народности и проблему ее национальной специфики. Все эти проблемы взаимосвязаны. Вопрос о прогрессивности той или иной тенденции в литературе может быть решен только в связи с решением вопроса о ее классовом характере, народности и национальной специфике. Все вместе дает материал для решения вопроса об общих путях развития русской литературы XI—XIII вв., о ее становлении как творчества художественного.

Затронутые нами вопросы чрезвычайно сложны и, как мы стремились показать, решаются только на основе точного, конкретного знания общеисторических процессов этого времени. История русской литературы есть часть истории русского народа.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Теперь, когда мы рассмотрели основные явления возникновения русской литературы, мы можем подвести некоторые итоги.

Усилиями советских историков, советских археологов решительно опровергнуто господствовавшее в буржуазной науке мнение о несамостоятельном характере и низком уровне древнерусской материальной и духовной культуры. Советские ученые доказали ее высокий уровень: высокий уровень грамотности, высокий уровень развития ремесла, зодчества, живописи, политической и дипломатической практики, юридической мысли, интенсивность культурных связей почти со всеми странами Европы. Высокое искусство может быть отмечено и в технике изготовления эмалей, черни, финифти, и в резьбе по камню, и в изготовлении книжных украшений, и в военном деле. Не подлежит никакому сомнению высокий уровень дошедших до нас произведений древней русской литературы. В достижении этого высокого уровня русская литература шла самостоятельным путем, обязана прежде всего собственным движущим силам развития.

Рождению русской литературы способствовал превосходный, гибкий и лаконичный русский язык, достигший ко времени возникновения русской литературы высокого уровня развития. Богатый и выразительный русский язык был отчетливо представлен в народном творчестве, в деловой письменности, в ораторских выступлениях на вече, в суде, перед битвами, на пирах и княжеских снемах. Это был язык с обширным словарным составом, с развитой терминологией — юридической, военной, феодальной, технической, обильный синонимами, способными отразить различные эмоциональные оттенки, допускавший многообразные формы словообразования. Изумительным богатством языка отличались уже первые переводы с греческого и первые оригинальные произведения русской литературы.

Русская литература с самого своего возникновения была тесно связана с русской исторической действительностью. Исто-

рия русской литературы есть часть истории русского народа. Этим в первую очередь и обусловлено ее творческое своеобразие. В. Г. Белинский писал: «Так как искусство со стороны своего содержания есть выражение исторической жизни народа, то эта жизнь и имеет на него великое влияние, находясь к нему в таком же отношении, как масло к огню, который оно поддерживает в лампе, или, еще более, как почва к растениям, которым она дает питание».[1]

Литература древней Руси возникла не из подражания чужеземным образцам под влиянием неизвестно откуда и почему взявшейся в этом необходимости. Русская литература XI—XIII вв. ответила, в первую очередь, потребностям исторического развития. Она явилась сильнейшим фактором, активно способствовавшим оформлению и укреплению феодального базиса.

Русская литература не нуждалась в стимулах извне для своего возникновения и развития. Она сложилась под влиянием внутренних потребностей русского феодального общества. Ее отношение к византийской литературе было отнюдь не пассивно воспринимающим. Из византийской литературы русские активно брали, а не пассивно получали, прежде всего то, что было нужно для потребностей создания своей литературы, — в первую очередь, ее классового лица.

На основе этих потребностей русского общества осуществлялось и «влияние» византийской и болгарской литературы на литературу русскую. Потребности русского общества создавали почву, на которой появлялись и «влияния», и приходили к нам отдельные заимствования. Почва для заимствований создавалась общностью идеологии — феодальной, общностью мировоззрения — христианского. Молодая русская литература молодого феодального общества Руси использовала классовый опыт старой византийской литературы византийского феодализма.

Огромное значение в развитии русской литературы имело то обстоятельство, что Русь пришла к феодализму, минуя рабовладельческую формацию. Феодальный класс Руси не смог поэтому воспользоваться опытом предшествующего господствующего класса рабовладельческого общества и обратился к классовому опыту соседних стран — Византии, Болгарии и др. В этом классовом опыте Византии, Болгарии и других стран были уже использованы достижения народного творчества, но народное творчество Византии и Болгарии находило себе, кроме того, самостоятельные пути для проникновения на Русь. В конечном счете принятие христианства, достижения культуры сосед-

[1] В. Г. Белинский, Полн. собр. соч., под ред. С. Венгерова, т. VIII, стр. 132.

них стран (Византии, Болгарии) нужны были не только феодалам, но и народу.

Русская литература XI—XIII вв. в основном обслуживала интересы господствующего класса древней Руси, но это отнюдь не значит, что она ничего, кроме классовых интересов, и не отражала, что она была созданием только господствующего класса феодалов. Литература Руси была созданием всего русского народа. Русская литература не была созданием только отдельных писателей, более или менее талантливых. Она явилась реальным воплощением гигантского опыта всего русского народа и, прежде всего, подлинного создателя материальных и духовных ценностей — народа трудового, эксплоатируемого.

Интересы господствующего класса лишь господствовали в литературе, но не поглощали и не вытесняли всех остальных.

В связи с этим полезно напомнить высказывание М. Горького о роли народа в образовании литературы церковников: «Позднее, когда я внимательно прочитал литературу церковников — „жития святых", мне стало ясно, что чудеса, о которых рассказывает церковь, заимствованы ею из мудрых древних сказок, так что и тут, — как везде и во всем, — церковники жили за счет здоровой, возбуждающей разум творческой силы трудового народа».[1]

Не случайно М. Горький называл «устную поэзию трудового народа» «родоначальницей книжной литературы».[2]

О решающей роли народного творчества в развитии культуры говорит М. И. Калинин: «Мы знаем, что самые даровитые поэты, самые талантливые композиторы становились гениями в своем творчестве только тогда, когда они соприкасались с народным творчеством, когда они обращались к его истокам».[3]

Устное творчество при переходе от доклассового общества к классовому — феодальному — претерпело значительные изменения. Эти изменения были различными в классе феодалов и в классе непосредственных производителей материальных благ — в трудовом народе. Устное творчество феодалов постепенно хирело, питалось достижениями устного творчества народных масс, было в основе своей паразитическим. Устное же народное творчество получало новые стимулы для своего развития, идеологически росло, выражало освободительные и патриотические идеи. Значительно меньшее место в устном народном творчестве

[1] М. Горький. О сказках. Сб. «О литературе». М., 1937, стр. 175.
[2] Там же, стр. 174.
[3] М. И. Калинин. О вопросах социалистической культуры. М., 1948, стр. 50.

занимали культовые мотивы; росла историчность народного творчества, его художественность.

Устное народное творчество непосредственно и через устное творчество феодалов благодаря своему идейному и художественному росту сделало возможным появление литературы, а в дальнейшем постоянно питало своими живительными соками литературу господствующего класса. В литературу проникали не только идеи, темы, мотивы, художественные приемы устного народного творчества, — в литературу проникали национальные черты, социальный опыт народа, элементы реалистичности, развившиеся в фольклоре в некоторых случаях раньше, чем в литературе. Литература «корректировалась» вкусами читателей и авторов, воспитанных на народном творчестве. В литературной традиции сохранялось по преимуществу то, что не противоречило поэтике фольклора и, наоборот, постепенно отмирало то, что вступало с ней в конфликт.

Господствующий класс древней Руси брал на вооружение многие из достижений многовековой народной русской культуры. В еще большей мере эта многовековая народная русская культура, культура устного народного творчества, проникает в литературу помимо и вопреки воле господствующего класса. Творческое народное начало может быть вскрыто в основе многих литературных произведений, даже, в известной мере, в основе некоторых произведений церковной литературы, поскольку и в них проявлялись элементы живой литературности.

Существенную роль в развитии литературы сыграли деловая письменность и ораторство древней Руси. В деловой письменности еще задолго до появления собственно литературных произведений рос, развивался, уточнялся и усложнялся письменный язык, развивалось умение обобщать жизненные положения, вырабатывались некоторые приемы и система изложения мыслей, которые затем использовались в летописи и в других произведениях исторической литературы. Художественная литература не сразу отделяется от деловой письменности и впоследствии сохраняет с ней связь вплоть до XVII в.

Ораторскую речь древней Руси мы можем представить себе отчасти по записям в летописи. Относительная точность воспроизведения некоторых речей в летописи может быть проверена путем сличения записей одной и той же речи в различных по происхождению источниках. Речи эти отличались лаконизмом, образностью, выработанностью формул. Даже речи, явно придуманные летописцем, воспроизводили особенности живого устного языка. Через эти речи, а также с помощью других каналов литературный язык постоянно обогащался формами и словами

устного языка, элементами художественности, политической терминологией своего времени и т. д.

Русская литература XI—XIII вв. развивалась в тесной связи с русской исторической действительностью. Появление новых, оригинально-русских жанров было обусловлено прежде всего конкретными потребностями в них исторической действительности, классовой, политической борьбы своего времени. Отсюда же, из русской действительности, черпала русская литература и свое идейное содержание.

И. В. Сталин выделяет как основную черту феодального строя классовую борьбу между эксплоататорами и эксплоатируемыми: «Классовая борьба между эксплуататорами и эксплуатируемыми составляет основную черту феодального строя».[1] Эта классовая борьба в литературе проявляется как борьба прогрессивных начал с реакционными.

Борьба внутри класса феодалов в основном была борьбой за земельную ренту, за обладание землей и непосредственными производителями материальных благ — зависимыми крестьянами. Поэтому внутриклассовая борьба феодалов была частью классовой борьбы, она была частью наступления феодалов на крестьян. В феодальном классе также были свои прогрессивные и реакционные силы, поэтому не все, исходившее от феодалов, было реакционным. И в литературе, явно отражавшей интересы господствующего класса, были прогрессивные черты. Их было особенно много в период раннего феодализма, когда класс феодалов в основном был прогрессивен, когда феодализм только развивался и ему принадлежало будущее.

Процесс классовой борьбы в литературе был вместе с тем длительным процессом постепенного выделения собственно литературных явлений. Литература художественная не сразу отделилась от обычной письменности.

В результате длительного процесса борьбы и развития литература древней Руси XI—XIII вв. входит органической частью в общую высокую древнерусскую культуру. Такие произведения, как «Повесть временных лет», «Слово о законе и благодати», «Поучение» Владимира Мономаха или бессмертное «Слово о полку Игореве» несомненно имеют мировое значение. Они составляют органическую часть древнерусской культуры XI—XIII вв., находятся в связи с общим высоким развитием производительных сил, обеспечившим расцвет в X—XIII вв. русской архитектуры, русской живописи, русского прикладного искусства.

---

[1] История ВКП(б). Краткий курс. 1946, стр. 120.

Дальнейшее развитие русской литературы шло путем длительной борьбы, — борьбы, в которой переменный успех имели то прогрессивные, то реакционные тенденции, но, в конечном счете, победителями оказывались тенденции прогрессивные. Развитие это приводило к нарастанию элементов реалистичности, художественности, высокой идейности. Своим расцветом великая русская литература XVIII—XX вв. обязана была отчасти этому титаническому семивековому процессу, теснейшим образом связанному с развитием русской истории.

Мировое значение русской литературы XI—XIII вв. обусловлено в первую очередь мировым значением русской истории этого периода. Русский народ сыграл выдающуюся роль во внешнеполитической жизни Европы XI—XIII вв. Создав крупнейшее в Европе государство — раннефеодальное древнерусское государство с центром в Киеве, — русский народ приостановил движение кочевых и полукочевых народов, устремлявшихся через «ворота народов» — между Каспийским морем и Уралом — на Запад и грозивших поработить Европу. В государственном объединении Руси, в выработке сознания необходимости единения перед лицом внешней опасности, в воспитании мужества, стойкости и терпения, в развитии патриотического мировоззрения и патриотических чувств русской литературе XI—XIII вв. принадлежала очень большая роль. Вместе с тем, русская литература этого периода противостояла попыткам Византии культурно поработить Русь.

Знакомство с русской историей было в значительной мере привито многочисленными летописями.[1] Идеи единения распространялись и через летописи, и через церковную проповедь (черниговское «Слово о князех», проповеди Серапиона Владимирского и др.), и через отдельные повествовательные произведения, и через житийную литературу (жития Бориса и Глеба). Общение литературы и жизни было многообразно и действенно для обеих. Воздействие литературы не ограничивалось только средой грамотных людей.

Русская литература XI—начала XIII вв. имела огромное значение и для последующих веков. Патриотические идеи «Слова о законе и благодати» митрополита Илариона, «Повести временных лет», «Слова о полку Игореве» и многих других произведений домонгольской Руси возрождаются в произведениях конца XIV—XV вв. в пору освободительной борьбы с татаро-монгольским игом. Идеи «Слова о полку Игореве» получают но-

[1] См. об этом: Д. Лихачев. Политический и исторический кругозор автора «Слова о полку Игореве». Сб. «Слово о полку Игореве» под ред. В. П. Адриановой-Перетц, М.—Л., 1950.

вое звучание в «Задонщине» — произведении, посвященном великой Куликовской битве; московские, нижегородские, тверские и ростовские летописные своды следуют традициям «Повести временных лет»; «Слово о законе и благодати» Илариона отражается в «Похвальном слове» инока Фомы тверскому князю Борису Александровичу, и т. д.[1]

Русская литература развивалась в общении с литературами других славянских стран — в первую очередь Болгарии и Сербии. Возникнув при деятельном участии литературы Болгарии эпохи ее расцвета (эпохи первого Болгарского царства), русская литература в дальнейшем сама оказала влияние на литературу Болгарии и на литературу Сербии, в особенности.[2]

«Слово о законе и благодати» митрополита Илариона было уже в 1264 г. использовано в литературе сербской автором житий Симеона Сербского (Немани) и Саввы Сербского монахом Доментианом.[3] Оказало влияние на сербскую литературу и приписываемое Илариону «Послание к брату-столпнику». Известны в сербской письменности и службы русским святым Борису и Глебу. В длинном ряду русских произведений, известных в болгарской, сербской и молдаво-влахийской письменности, мы можем назвать «Слово о вере варяжской» Феодосия Печерского (ум. 1074 г.), «Канонические ответы» русского митрополита Иоанна II (был на митрополичьем столе с 1080 по 1089 г.), «Житие Федосия Печерского» Нестора-летописца, «Притчу о белоризце» (иначе — «Повесть к печерскому игумену Василию») Кирилла Туровского, возможно его же «Притчу о слепце и хромце», русский «Пролог», русскую редакцию «Жития Николы», русскую «Пчелу» (сборник различных изречений) и т. д. Перешли на славянский юг и ряд других переводов с греческого (Кормчей, «Повести об Акире Премудром», «Хроники» Георгия Амартола[4] и т. д.).

Древнерусская литература положила начало литературам трех братских народов — литературе великорусской, украинской и белорусской. Идейная и художественная высота древнерусской

---

[1] См. об этом: Д. Лихачев. Национальное самосознание древней Руси. М.—Л., 1945; глава «Возрождение традиций времени национальной независимости в конце XIV—начале XV вв.».

[2] Обзор отношения славянских литератур к русской в свое время был сделан М. Н. Сперанским: К истории взаимоотношения русской и славянской литератур. Известия ОРЯС АН, т. XXVI (1921), стр. 143—206.

[3] М. П. Петровский. Иларион, митрополит киевский и Доментиан, иеромонах хиландарский. Известия ОРЯС АН, т. XIII (1908), стр. 81—133.

[4] В. М. Истрин. Хроника Георгия Амартола, т. II. Пгр., 1921.

литературы была в значительной мере обусловлена ее тесными связями с русской исторической действительностью, она была подготовлена интенсивным развитием устного народного творчества, ответила прогрессивным потребностям феодального общества Руси.